

КРИСТИНА ДАЛЧЕР

Г

О

Л

V

О

X

С

18+

Молчание может оглушить
для ПОКЛОННИКОВ «РАССКАЗА СЛУЖАНКИ»

Annotation

100 слов в день.

Такой лимит устанавливает государство для каждой женщины в США. Каждая женщина обязана носить браслет-счетчик, и, если лимит будет превышен, нарушительница получит электрический разряд.

Вскоре женщин лишают права работать. Девочек перестают учить читать и писать в школах. Их место теперь – у домашнего очага, где они молчаливо должны подчиняться мужчинам.

Такая же судьба ждет и доктора Джин Макклеллан, которая должна теперь оставить научную карьеру, лабораторию, важные эксперименты. Но случай заставит ее побороться за возвращение голоса – своего, своей дочери и всех остальных женщин.

- [Кристина Далчер](#)
 -
 -
 - [Слова благодарности](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)

- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)
- [Глава двадцать вторая](#)
- [Глава двадцать третья](#)
- [Глава двадцать четвертая](#)
- [Глава двадцать пятая](#)
- [Глава двадцать шестая](#)
- [Глава двадцать седьмая](#)
- [Глава двадцать восьмая](#)
- [Глава двадцать девятая](#)
- [Глава тридцатая](#)
- [Глава тридцать первая](#)
- [Глава тридцать вторая](#)
- [Глава тридцать третья](#)
- [Глава тридцать четвертая](#)
- [Глава тридцать пятая](#)
- [Глава тридцать шестая](#)
- [Глава тридцать седьмая](#)
- [Глава тридцать восьмая](#)
- [Глава тридцать девятая](#)
- [Глава сороковая](#)
- [Глава сорок первая](#)
- [Глава сорок вторая](#)
- [Глава сорок третья](#)
- [Глава сорок четвертая](#)
- [Глава сорок пятая](#)
- [Глава сорок шестая](#)
- [Глава сорок седьмая](#)
- [Глава сорок восьмая](#)
- [Глава сорок девятая](#)
- [Глава пятидесятая](#)
- [Глава пятьдесят первая](#)
- [Глава пятьдесят вторая](#)
- [Глава пятьдесят третья](#)
- [Глава пятьдесят четвертая](#)
- [Глава пятьдесят пятая](#)
- [Глава пятьдесят шестая](#)
- [Глава пятьдесят седьмая](#)

- [Глава пятьдесят восьмая](#)
- [Глава пятьдесят девятая](#)
- [Глава шестидесятая](#)
- [Глава шестьдесят первая](#)
- [Глава шестьдесят вторая](#)
- [Глава шестьдесят третья](#)
- [Глава шестьдесят четвертая](#)
- [Глава шестьдесят пятая](#)
- [Глава шестьдесят шестая](#)
- [Глава шестьдесят седьмая](#)
- [Глава шестьдесят восьмая](#)
- [Глава шестьдесят девятая](#)
- [Глава семидесятая](#)
- [Глава семьдесят первая](#)
- [Глава семьдесят вторая](#)
- [Глава семьдесят третья](#)
- [Глава семьдесят четвертая](#)
- [Глава семьдесят пятая](#)
- [Глава семьдесят шестая](#)
- [Глава семьдесят седьмая](#)
- [Глава семьдесят восьмая](#)
- [Глава семьдесят девятая](#)
- [Глава восьмидесятая](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)

- [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
-

Кристина Далчер

Голос

Christina Dalcher

VOX

Copyright © Christina Dalcher, 2018 This edition published by arrangement with Taryn Fagerness Agency and Synopsis Literary Agency

© Тогоева И., перевод на русский язык, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

*В память о Чарли
Джонсе, лингвисте,
профессоре, друге*

Слова благодарности

Один человек по имени Стивен Кинг как-то сказал: «Никто не пишет длинный роман в одиночку». Мне было лет десять, когда я впервые прочла эти слова в самом начале «*Salem's Lot*»^[1]. Но они и сегодня полностью соответствуют действительности.

Роман «Голос» родился при участии многочисленных матерей и отцов, и каждого из них я должна поблагодарить.

Во-первых, я благодарна своему литературному агенту Лоре Брэдфорд за честность, ясный ум, доброжелательность и постоянную готовность подбодрить. Ни один писатель не пожелал бы для своих творений лучшего защитника.

Я благодарна также: моему американскому издателю, Синди Хван из Беркли, а также моему британскому издателю, Шарлотте Мёрселл из штаб-квартиры «HarperCollins»; и обеим командам этих издательств за проявленный ими поистине свирепый энтузиазм.

Спасибо моим первым читателям, Стефании Хаттон и Калебу Эштерлинг, за то, что они с такой скоростью прочли этот роман, написанный всего за два месяца, и помогли ему по-настоящему засиять.

Спасибо Джоанне Мерриэм из «Upper Rubber Boot Books». Без ее личного звонка о приеме рукописи на рассмотрение в антологии «Broad Knowledge: 35 Women Up to No Good» история доктора Джин Макклеллан могла бы никогда не увидеть свет.

Я также благодарна Эллен Брайсон, Кайле Понграк и Софии ванн Льюин, которые подвергли эту историю внимательной и острой критике, а затем велели мне продолжить работу.

Спасибо многочисленным авторам флеш-фикшн и издателям, которые столько лет кричали о моей работе, чем и оказали мне неоценимую поддержку. Вы все знаете, кого я имею в виду.

Я благодарна и тебе, дорогой читатель, ибо ты последним оценишь эту историю. Я очень надеюсь, что тебе она понравится. Мало того, я надеюсь, что она немножко разозлит тебя. А еще я надеюсь, что она заставит тебя думать.

И, наконец, спасибо моему мужу Брюсу, который поддерживает меня почти во всем, что я делаю. И никогда, никогда не говорит, что я слишком много болтаю.

Глава первая

Если бы кто-то сказал мне, что я за какую-то неделю сумею свергнуть нашего президента, положить конец Движению Истинных, а также уничтожить такую бездарь и ничтожество, как Морган ЛеБрон, я бы ни за что не поверила. Но спорить не стала бы. Я бы вообще ничего не сказала.

Потому что с некоторых пор мне, женщине, разрешено произносить лишь несколько слов.

Вот и сегодня вечером за ужином, прежде чем я успеваю использовать последние из отпущенных мне на день слов, Патрик выразительным жестом стучит по тому проклятому серебряному устройству, что красуется у меня на левом запястье. Этим жестом он как бы говорит, что полностью разделяет мою беду, а может, просто хочет напомнить, чтобы я была осторожней и помолчала, пока ровно в полночь счетчик не обнулит показатели и не запустит новый отсчет слов. Обычно я уже сплю, когда осуществляется это магическое действие, так что и в этот раз вторник у меня начнется с девственно-чистого листа. То же самое произойдет и со счетчиком моей дочки Сони.

А вот мои сыновья счетчиков слов не носят.

И за обедом они обычно болтают без умолку, обсуждая всякие школьные дела.

Соня тоже учится в школе, но никогда не тратит драгоценные слова на разговоры о событиях минувшего дня. За ужином, поглощая приготовленное мною по памяти какое-нибудь примитивное рагу, Патрик задает Соне вопросы о том, каковы ее успехи на уроках домоводства, физкультуры и нового школьного предмета, который называется «Основы домашней бухгалтерии». Слушается ли она учителей? Будут ли у нее в этой четверти высокие оценки? Патрик точно знает, какие именно вопросы следует задавать девочке: очень понятные и требующие однозначного ответа – либо кивка, либо отрицательного качания головой.

Я наблюдаю за ними, слушаю и невольно так впиваюсь ногтями себе в ладони, что там остаются красные полумесяцы. Соня кивает или качает головой в зависимости от вопроса и недовольно морщит носик, когда ее братья, наши юные близнецы, не понимая, как важно задавать вопросы, требующие только да/нет или же максимально краткого ответа из одного-двух слов, пристают к ней с расспросами о том, хорошие ли у нее учителя, интересные ли уроки и какой школьный предмет ей нравится больше всего.

То есть обрушивают на нее лавину вопросов с открытым концом. Мне не хочется думать, что близнецы нарочно искушают сестренку, или дразнят ее, или пытаются поймать на крючок, заставляя произносить лишние слова. Но с другой стороны, им ведь уже одиннадцать лет, и они бы должны были все понимать, поскольку видели, что с нами бывает, если мы выходим за пределы отпущенного нам лимита слов.

У Сони начинают дрожать губы, она смотрит то на одного близнеца, то на другого, а ее розовый язычок, невольно высунувшись, начинает нервно облизывать пухлую нижнюю губу – ведь язык как бы обладает своим собственным разумом, не желающим подчиняться закону. И тогда Стивен, мой старший сын, протянув через стол руку, нежно касается указательным пальцем губ сестренки.

Я могла бы сформулировать близнецам то, чего они не понимают: все мужчины теперь выступают единым фронтом в том, что касается школьного обучения. Однонаправленная система. Учителя говорят. Ученики слушают. Это стоило бы мне восемнадцати слов.

А у меня осталось всего пять.

– Как у нее обстоят дела с запасом слов? – спрашивает Патрик, мотнув подбородком в мою сторону. И тут же перестраивает свой вопрос: – Она его расширяет?

Я только плечами пожимаю. К своим шести годам Соня должна была бы иметь в своем подчинении целую армию из десяти тысяч лексем, и это маленькое индивидуальное войско мгновенно строилось бы и вставало по стойке «смирно», подчиняясь приказам ее все еще очень гибкого и восприимчивого мозга. Должна была бы, если бы пресловутые школьные «три R»^[2] ныне не были сведены к одному: самой примитивной арифметике. В конце концов, как ожидается, в будущем моей подростковой дочери суждено всего лишь ходить в магазины и вести домашнее хозяйство, то есть играть роль преданной, послушной долгу жены. Для этого, разумеется, нужна какая-то самая примитивная математика, но отнюдь не умение читать и писать. Не знание литературы. Не собственный голос.

– Ты же специалист по когнитивной лингвистике, – говорит мне Патрик, собирая грязные тарелки и заставляя Стивена ему помогать.

– Была.

– И есть.

Вроде бы за целый год я должна была бы уже привыкнуть, но иной раз все же слова как бы сами собой вырываются наружу, прежде чем я успеваю

их остановить:

– *Нет! Больше уже нет.*

Напряженно слушая, как мой счетчик тиканьем отсчитывает еще четыре слова из последних пяти, Патрик хмурится. Это тиканье гулким эхом, точно зловещие звуки военного барабана, отдается у меня в ушах, а счетчик на запястье начинает неприятно пульсировать.

– Довольно, Джин, остановись, – предостерегает меня Патрик.

Мальчики тревожно переглядываются; их беспокойство понятно: они хорошо знают, ЧТО случается, когда мы, женщины, выходим за пределы разрешенного количества слов, обозначаемого тремя цифрами. Один, ноль, ноль. 100. И это неизбежно произойдет снова, когда я произнесу свои последние за этот понедельник слова – а я непременно скажу их своей маленькой дочери хотя бы шепотом. Но даже эти несчастные два слова – «спокойной ночи» – не успевают сорваться с моих губ, ибо я встречаюсь с умоляющим взглядом Патрика. *Умоляющим...*

Я молча хватаю Соню в охапку и несу в спальню. Она теперь уже довольно тяжеленькая и, пожалуй, великовата, чтобы носить ее на руках, но я все-таки несу, крепко прижимая ее к себе обеими руками.

Соня улыбается мне, когда я укладываю ее в постель, накрываю одеялом и подтыкаю его со всех сторон. Но, как и всегда теперь, никаких историй перед сном, никакой Доры-исследовательницы, никакого медвежонка Пуха, никакого Пятачка, никакого Кролика Питера и его неудачных приключений на грядке с латуком у мистера МакГрегора. Мне становится страшно при мысли о том, что Соня уже научилась воспринимать все это как норму.

Я без слов напеваю ей мелодию колыбельной, где вообще-то говорится о птичках-пересмешниках и козлятах, хотя я очень хорошо помню слова этой песенки, у меня и сейчас стоят перед глазами прелестные картинки из книжки, которую мы с Соней в прежние времена не раз читали.

Патрик застыл в дверях, глядя на нас. Его плечи, когда-то такие широкие и сильные, устало опущены и напоминают перевернутую букву «V»; и на лбу такие же опущенные книзу глубокие морщины. Такое ощущение, словно все в нем обвисло, устремилось вниз.

Глава вторая

Оказавшись в спальне я, как и во все предыдущие ночи, немедленно заворачиваюсь в некое невидимое одеяло из слов, воображаю, будто читаю книгу, разрешая своим глазам сколько угодно скользить в танце по возникающим перед глазами знакомым страницам Шекспира. Но иной раз, подчиняясь пришедшей в голову прихоти, я выбираю Данте, причем в оригинале, наслаждаясь его статичным итальянским. Язык Данте мало изменился за минувшие столетия, однако я сегодня с изумлением обнаруживаю, что порой лишь с трудом пробиваюсь сквозь знакомый, но подзабытый текст – похоже, я и родной язык несколько подзабыла. А интересно, думаю я, каково придется итальянцам, если наши новые порядки когда-нибудь станут международными?

Возможно, итальянки станут еще более активно прибегать к жестикуляции.

Однако шансы на то, что наша болезнь распространится и на заморские территории, не так уж велики. Пока наше телевидение еще не успело стать государственной монополией, а нашим женщинам еще не успели напялить на запястья эти чертовы счетчики, я всегда старалась смотреть разнообразные новостные программы. Аль-Джазира, Би-би-си и даже три канала итальянской общественной телекомпании RAI; да и на других каналах время от времени бывали различные интересные ток-шоу. Патрик, Стивен и я смотрели эти передачи, когда младшие уже спали.

– Неужели мы обязаны это смотреть? – стонал Стивен, развалившись в своем любимом кресле и держа в одной руке миску с попкорном, а в другой – телефон.

А я только прибавляла звук.

– Нет. Не обязаны. Но пока еще можем. – Никто ведь не знал, долго ли еще эти передачи будут доступны. Патрик уже поговаривал о преимуществах кабельного телевидения, хотя и эти телекомпании висели буквально на ниточке. – Кстати, Стивен, такая возможность есть уже далеко не у всех. – Я не стала прибавлять: *Вот и радуйся, что у тебя она пока есть.*

Хотя радоваться было особенно нечему.

Практически все эти ток-шоу были похожи друг на друга как две капли воды. И день за днем их участники над нами смеялись. Аль-Джазира, например, называла господствующий в нашей стране порядок «новым

экстремизмом». У меня это могло бы, пожалуй, вызвать улыбку, но я уже и сама понимала, как много в этом названии правды. А британские политические пандиты только головой качали и думали, явно не желая говорить этого вслух: *Ох уж эти сумасшедшие янки! А теперь-то они что творят?* Итальянские эксперты, отвечая на вопросы сексапильных интервьюерш – все эти девицы выглядели полуодетыми и чрезмерно размалеванными, – сразу начинали кричать, крутить пальцем у виска и смеяться. Да, они смеялись над нами. Говорили, что нам необходимо расслабиться, а то мы в итоге придем к тому, что наши женщины будут вынуждены носить головные платки и длинные бесформенные юбки. На одном из итальянских каналов показали весьма непристойный скетч о содомии, в котором двое мужчин в пуританской одежде занимались любовью. Неужели жизнь в Соединенных Штатах действительно представлялась им именно такой?

Не знаю. В Италию я в последний раз ездила еще до рождения Сони, а теперь у меня и вовсе нет никакой возможности туда поехать.

Наши загранпаспорта были аннулированы еще до того, как нам запретили говорить.

Тут, пожалуй, следует пояснить: паспорта аннулировали не у всех.

Я выяснила это в связи с самыми что ни на есть насущными обстоятельствами. В декабре я обнаружила, что у Стивена и близнецов истек срок загранпаспортов, и пошла в Интернет скачать заявки на три новых паспорта. Соне, у которой вообще еще не было никаких документов, кроме свидетельства о рождении и книжечки с отметками о сделанных прививках, требовалась иная форма.

Обновить паспорта мальчикам оказалось легко; все было точно так же, как и всегда с документами для Патрика и для меня. Когда же я кликнула заявку на новый паспорт для себя и на паспорт для Сони, то меня отослали на некую страницу, которой я никогда прежде не видела, и там был задан только один-единственный вопрос: **Является ли подающий заявку мужчиной или женщиной?**

Я глянула на Соню, игравшую с набором разноцветных кубиков на ковре в моем так называемом кабинете, и выбрала квадратик со словом **женщина**.

– Красный! – крикнула Соня, подняв глаза на экран.

– Да, дорогая, – сказала я. – Это красный цвет. Очень хорошо. А как еще можно сказать?

– Алый!

– Отлично.

И она тут же продолжила сыпать синонимами:

– Малиновый! Вишневый!

– Молодец! Ты все прекрасно поняла, детка. – И я, погладив ее по голове, бросила на ковер еще один набор кубиков. – А теперь попробуй подобрать оттенки синего цвета.

Вновь повернувшись к компьютеру, я поняла, что в самый первый раз Соня имела в виду не кубики; просто она правильно назвала цвет надписи на экране. Слова действительно были написаны ярко-красным. Красным, как гребаная кровь!

Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, указанному ниже. Или можете написать нам по адресу: applications.state.gov. Спасибо!

Я минимум раз десять пыталась дозвониться по указанному номеру, потом мне это надоело, и я отправила e-mail, но ответа мне пришлось ждать еще дней десять. Точнее, я получила нечто вроде ответа: в полученном мной через полторы недели электронном письме говорилось, что мне нужно посетить местный паспортный стол.

– Могу я вам чем-то помочь, мэм? – осведомился чиновник, когда я нарисовалась перед ним с Сониным свидетельством о рождении в руках.

– Можете, если именно вы занимаетесь оформлением загранпаспортов. – И я просунула все необходимые документы в щель под щитком из плексигласа.

Чиновник – на вид ему вряд ли было больше девятнадцати – тут же их схватил и попросил меня подождать.

– Ой, – торопливо сказал он, почти сразу вернувшись обратно, – мне же еще и ваш паспорт нужен. На минутку. Просто чтобы копию сделать.

Затем мне сказали, что Сонин паспорт будет готов лишь через несколько недель. Но так и не сообщили, что мой собственный паспорт уже недействителен.

Это я выяснила значительно позже. А Соня никакого паспорта так и не получила.

В самом начале кое-кому еще удавалось выбраться. Некоторые попросту переходили через канадскую границу; другие на лодках добирались до Кубы, Мексики, островов. Однако власти довольно быстро установили повсюду пункты проверки, ну а стена, отделявшая Южную Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико и Техас от Мексики, уже и так была давно построена, так что исход населения вскоре практически прекратился.

– Мы не можем допустить, чтобы наши граждане, наши матери и

отцы, целиком наши семьи бежали за границу, – заявил президент в одном из своих первых обращений к народу.

Я и сейчас думаю, что и мы вполне успели бы сбежать, если бы мы с Патриком были только вдвоем. Но когда у вас четверо детей и младшая девочка еще совсем не понимает, что при виде пограничников нельзя вертеться в автомобильном креслице и радостно щебетать «Канада!»... – нет, теперь это оказалось совершенно невозможно.

Так что сегодня никаких особо приятных фантазий на тему итальянского языка у меня не возникло – особенно после пробудившихся горьких мыслей о том, как легко они сумели заставить нас жить в собственной стране точно в тюрьме. А тут еще и Патрик лег рядом, обнял меня и сказал, чтобы я постаралась поменьше думать о том, как все было раньше.

Как все было раньше...

А ведь раньше мы частенько допоздна засиживались за разговорами. Раньше мы по выходным с утра долго валялись в постели, отложив домашние дела на потом и читая воскресные газеты. Раньше мы устраивали коктейли, званые обеды, а летом, если была хорошая погода, устраивали барбекю. Раньше мы играли в карты – сперва в «Spades» и бридж, а потом, когда дети достаточно подросли, чтобы отличать пятерку от шестерки, вместе с ними играли в «War and go fish».

Что же касается непосредственно меня, то у меня раньше были подружки, с которыми мы регулярно где-нибудь встречались и устраивали девичники, которые Патрик в шутку называл «праздник в курятнике». Но я знала, что это он говорит любя, просто мужчинам нравится пользоваться такими пренебрежительными выражениями. Во всяком случае, я себя убеждала, что это именно так.

Раньше у нас были книжные клубы, и мы встречались с друзьями в кофейнях и спорили о политике в винных барах, потом, правда, подобные споры переместились в подвалы – так сказать, наша версия того, как в Тегеране читали «Лолиту». И Патрик никогда, насколько я знаю, не возражал против моих еженедельных исчезновений, хотя порой и подшучивал над нашими политическими дебатами, но вскоре оказалось, что подшучивать больше не над чем. Хотя мы, по его словам, были именно теми голосами, которые невозможно заглушить.

Ну что ж. Пожалуй, хватит о надежности и непогрешимости Патрика.

Глава третья

Когда все это началось – но задолго до того, как кто-либо из нас сумел себе представить, что таит ближайшее будущее, – среди моих знакомых оказалась одна провидица из числа самых громкоголосых. Ее звали Джеки Хуарес.

Думать о Джеки мне сейчас не очень хочется, но память мне не подчиняется, и время вдруг словно поворачивает вспять, и я возвращаюсь года на полтора назад, в те дни, что наступили сразу после инаугурации. Я снова сижу у нас в гостиной и тщетно пытаюсь убедить мальчишек смеяться потише, чтобы не разбудить Соню, и Стивен, входя в гостиную с тремя тарелками с мороженым в руках, замечает:

– Между прочим, эта тетка в телевизоре – полная истеричка.

Истеричка. Я это слово ненавижу.

– Как ты сказал? – поворачиваюсь к нему я.

– Женщины вообще ненормальные, – продолжает он. – Это же давно известно, мам. Ты же сама знаешь эти поговорки насчет женских истерик и припадков в стиле «я-же-мать».

– Что-что? – еще больше удивляюсь я. – Где это ты такого наслушался?

– Сегодня в школе. А еще я читал книжку одного типа по фамилии то ли Кук, то ли Крук. Как-то так. – Стивен раздает тарелки с мороженым. – Черт! Одна порция меньше. Мам, ты хочешь поменьше или побольше?

– Поменьше. – Я еще не перестала сражаться с лишним весом, пополнев во время последней беременности.

Стивен удивленно округляет глаза, и я говорю:

– Да-да. погоди, вот стукнет тебе сорок с лишком, тогда посмотрим, какой у тебя будет метаболизм. И с чего это ты взялся за Крука?^[3] Я не предполагала, что «Описание человеческого тела» входит в обязательную программу старших классов. – Я сунула в рот первую ложку мороженого с миндалем «Роки роуд» – моей порции хватило бы, пожалуй, разве что мышонку укуса на три. – Даже если иметь в виду программу AP по литературе^[4].

– А ты посмотри программу AP по религиоведению, мам, – предлагает мне Стивен. – И потом, какая разница, Кук или Крук?

– Вся разница в букве «р», деточка. – И я снова поворачиваюсь к телевизору. Там на экране снова та разгневанная женщина.

Она и раньше не раз выступала по телевидению, гневно вещая насчет неравенства в оплате труда и неких прозрачных, но непроницаемых перегородок между мужчинами и женщинами, и постоянно цитировала свою последнюю книгу. Книга носила весьма «духподъемное», прямо-таки взывающее к Судному дню название: «Они заткнут нам рот». С подзаголовком: «Что вам необходимо знать о патриархате и вашем голосе». И на обложке множество разнообразных кукол, выполненных в роскошных цветах «Техниколор» – от целлулоидных голышей до Барби и «тряпичной Энни»^[5], – и все с выпученными глазами, и у каждой отфотошопленный рот заткнут мячиком-кляпом.

– Жуть какая, – говорю я Патрику.

– Да, это уж, пожалуй, чересчур, тебе не кажется? – Он с вождедением смотрит на мое почти растаявшее мороженое. – Ты будешь это есть?

Я тут же отдаю ему плошку, продолжая смотреть на экран телевизора. Что-то в этих мячиках-кляпах меня тревожит – тревожит, пожалуй, даже сильнее, чем «тряпичная Энни», у которой красный мячик приклеен к лицу полосками скотча. По-моему, все дело именно в этой букве «Х». Эти черные «иксы» с кроваво-красной сердцевинкой, пересекающие лицо каждой куклы, похожи на те покрывала, какие носят мусульманские женщины. Эти покрывала скрывают почти все лицо, кроме глаз. Что ж, возможно, цель именно такова.

Автор этой книги – Джеки Хуарес; у нее вышло и еще с полдюжины книг, и все с такими же пронзительными – железом по стеклу – названиями; например, «А ты заткнись и сядь, босая и беременная: Какой хотят тебя видеть религиозные правые», или – это самое любимое название Патрика и Стивена – «Ходячая матка». Рисунок на обложке последней книги просто чудовищен.

В данный момент я вижу, что Джеки сердито кричит на интервьюера, которому, видимо, не следовало произносить слово «феминаци».

– Вы хоть понимаете, что получится, если убрать корень слова «феминистка» из вашего «феминаци»? – И, не дожидаясь ответа, Джеки снова кричит: – «Наци»! Вот что у вас получается. Так вам нравится больше?

Интервьюер не отвечает, он совершенно растерялся.

А Джеки, не обращая на него внимания и уставившись своими безумными, сильно накрашенными глазами прямо в камеру, кричит, и мне кажется, что смотрит она прямо на меня.

– Дамы, вы понятия не имеете! Вы, черт возьми, даже не

задумываетесь о том, что мы уже ступили на скользкий склон, по которому очень скоро скатимся к совсем уж доисторическим временам и нравам. Ей-богу, девочки, вам стоит об этом подумать! Подумать о том, где окажетесь вы – и ваши дочери! – когда те, кто нами правят, запустят время вспять. Подумать о выражениях «с дозволения супруга» и «с согласия отца». Подумать о том, что, проснувшись однажды утром, вы обнаружите, что у вас ни в чем нет права голоса. – После каждого предложения Джеки делает выразительную маленькую паузу и крепко стискивает зубы.

Патрик целует меня, желая спокойной ночи.

– Я пойду, детка. Мне завтра вставать ни свет ни заря. Деловой завтрак с одним большим человеком сама знаешь где. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, милый.

– Господи, дали бы ей таблетку успокоительного, – бурчит Стивен, но на экран по-прежнему смотрит. Теперь у него на коленях пакет с чипсами «Дорито», и он прилежно ими хрустит, сует в рот по пять штук разом, а я, глядя на него, с завистью думаю, что быть подростком не так уж и плохо.

– Заедаешь мороженое чипсами, деточка? – издевательским тоном замечает я. – У тебя же вся физиономия прыщами пойдет.

– Десерт чемпионов, ма. Слушай, может, нам что-нибудь другое посмотреть, а? Меня эта тетка просто в тоску вгоняет.

– Да, конечно. – Я сую ему пульт, и Джеки Хуарес умолкает, сменившись всего лишь повтором сериала «Династия Дак».

– Ей-богу, Стив... – Я с отвращением вижу, как на экране один бородатый человек-гора в камуфляже сменяет другого, философически рассуждая о политике.

– Да-а. Они что там, совсем охренели?

– Лучше сказать «спятили», «сошли с ума». Следи за своим языком, пожалуйста.

– Да я же просто так, мам. Господи! Да ведь таких людей и на свете-то не бывает.

– А ты в Луизиане никогда не бывал? – Я отнимаю у него пакет с чипсами. – Отдай. Все мое мороженое твой папочка слопал.

– Мы же ездили в Новый Орлеан на Mardi Gras^[6] два года назад. Знаешь, мам, я начинаю тревожиться насчет твоей памяти.

– Новый Орлеан – это не Луизиана.

А может, и Луизиана, думаю я. Если хорошенько задуматься, то велика ли разница между каким-то мерзавцем из глубинки, советующим мужчинам жениться на девочках-подростках, и толпой костюмированных

пьяниц, готовых обвалить в перьях любую девушку или женщину, показавшуюся на Сент-Чарлз-авеню с недостаточно прикрытой грудью?

Да нет, пожалуй, разница не слишком велика.

А здесь, на экране, на расстоянии пятисекундного переключения, представлена вся страна: Джеки Хуарес в деловом костюме, но при боевой раскраске, проповедует страх; а эти люди в военной форме проповедуют ненависть. Или, может, наоборот? Но, по крайней мере, люди в военной форме не пялятся на меня с экрана и не бросают мне в лицо обвинения.

Стивен, приканчивая вторую банку колы и вторую плоску с мороженым – нет, не совсем так, потому что плоску он куда-то дел и теперь ложкой вычерпывает остатки мороженого прямо из ведерка, – объявляет, что идет спать.

– Завтра у нас на подготовительных занятиях тест по религиоведению.

Когда это было, чтобы второкурсников уже начинали готовить по программе для поступления в вузы? И почему Стивен не выбрал что-нибудь полезное вроде биологии или истории? Я задаю ему оба эти вопроса.

– Курс по религиоведению у нас только что ввели. Его предлагали всем, даже первогодкам. По-моему, его на будущий год введут в список основных дисциплин. Так или иначе, – продолжает он уже из кухни, – в этом году у меня уже не будет времени ни на биологию, ни на историю.

– Что же это все-таки за курс такой? Вы там сравнительной теологией занимаетесь? Это, на мой взгляд, было бы еще терпимо – даже в школе.

Стивен, уже успевший напялить ночную рубашку, снова плетется в гостиную – на этот раз с шоколадным печеньем.

– Не. Больше похоже... ну, я не знаю... на философию христианства, что ли. В общем, пока, мам, спокночи. Люблю тя. – Он запечатлевает на моей щеке поцелуй и исчезает в коридоре.

А я снова включаю Джеки Хуарес.

Вообще-то в жизни она раньше была куда более симпатичной, а сейчас просто невозможно понять, что с ней произошло: то ли она успела так пополнеть после института, то ли телекамера прибавляет ей пресловутые десять фунтов. Слой профессионального грима и тщательно уложенные волосы делают Джеки какой-то усталой, словно все эти минувшие двадцать лет гнева постепенно отпечатывались у нее на лице, прокладывая тут морщину, там тень.

Я догрызаю последний ломтик «Дорито», слизываю с пальцев соль, затем закрываю пакет и отставляю его подальше от себя.

А Джеки все смотрит прямо на меня своими холодными глазами,

которые ничуть не переменялись. И взгляд у нее обвиняющий.

Не нужны мне ее обвинения! Они и двадцать лет назад не были мне нужны, и теперь тоже, но я хорошо помню тот день, когда они начались. Именно с того дня наша с Джеки дружба и стала постепенно сходить на нет.

– Ты ведь пойдешь на митинг, Джин? – Джеки стояла – без бюстгальтера, на лице ни капли косметики – в дверях моей комнаты, а я валялась на диване, обложившись доброй половиной всех имевшихся в университетской библиотеке книг по нейролингвистике.

– Не могу. Времени нет.

– Да ты что, совсем охренела? Этот митинг куда важней каких-то дурацких исследований по проблемам афазии. Может, тебе все-таки стоит сосредоточиться на людях, которые существуют рядом с тобой?

Я задумчиво смотрела на нее, слегка склонив голову к правому плечу в некоем молчаливом вопросе.

– Ну, ладно. Ладно. – Она подняла руки вверх. – Люди с афазией тоже существуют с нами рядом. Извини. Я просто пытаюсь тебе объяснить: та штука, что происходит сейчас с Верховным судом, это ведь и есть наше *сейчас*. – Джеки всегда называла всевозможные политические события – выборы, номинации, подтверждения, выступления, да все, что угодно, – «штуками» или «штуковинами». Эта штука с Верховным судом. Его выступление – это такая штуковина... Вся эта штуковина с выборами. Иногда меня это просто в бешенство приводило. По-моему, ей, социолингвисту, стоило бы все-таки потратить иной раз полчаса и немного поработать над собственным словарем.

– Ну, так или иначе, – сказала она, – а я в любом случае туда пойду. Можешь потом сказать мне спасибо, если Сенат подтвердит присутствие Грейс Марри в своих рядах. Кстати, если тебе интересно, то она сейчас в Сенате единственная женщина. – И Джеки вновь принялась рассуждать о том, какую «штуку» учудили «эти гребаные умники-женоненавистники на слушаниях два года назад».

– Спасибо, Джеки, все это очень интересно. – Я не сумела скрыть ядовитую усмешку.

Но Джеки и не думала улыбаться.

– Ну, ладно, ты права. – Я отпихнула от себя толстую тетрадь с конспектами, а карандаш воткнула в основание своего «конского хвоста». – Но, может, теперь ты все-таки наконец уйдешь и дашь мне, черт возьми, позаниматься? Иначе я экзамен по неврологии попросту завалю. В этом семестре нам его сдавать профессору Ву, а она, как известно, пленных не

берет. Джо, например, уже пролетел. И Марк тоже. И Ханна. И эти две крошки из Нью-Дели – ну, знаешь, они еще вечно ходят, взявшись за руки, а от их задниц, наверно, навсегда след остался в библиотечном уголке для индивидуальных занятий? Это ведь совсем иное дело, чем сидеть каждый вторник на семинаре и травить анекдоты о разгневанных мужьях и печальных женах или обмениваться мнениями о том, является ли тинейджерский эсэмэс-язык явлением некоей новой волны.

Джеки взяла одну из разбросанных по моему ложу библиотечных книг, раскрыла ее и прочла заголовок в начале страницы:

– «Этиология инсульта у пациентов с афазией Вернике»^[7]. Очень увлекательно, Джин! – Она бросила книжку на плед, и та приземлилась с глухим стуком.

– Да, это и впрямь увлекательно.

– Ну вот и отлично! Продолжай торчать здесь, спрятавшись в свой маленький научный пузырь, а мы, все остальные, пойдем на митинг. – Джеки снова схватила ту же книжку, нацарапала пару строчек на внутренней стороне задней обложки и снова швырнула на плед. – Это просто на тот случай, если у тебя вдруг найдется минутка, чтобы обратиться к своим сенаторам, девочка в пузыре.

– А мне в моем пузыре нравится! – рассердилась я. – И это, кстати, библиотечная книга.

Но уж на это Джеки точно было плевать; ей сейчас, похоже, было бы до фени, даже если б она изгадила Розеттский камень^[8], размалевав его краской из баллончика.

– Ага. Еще бы тебе в нем не нравилось. Таким, как ты, белым феминисткам всегда нравится существование в созданных ими пузырях. У меня остается только одна надежда: вдруг кто-нибудь, просто проходя мимо, возьмет да и проткнет этот ваш пузырь! – С этими словами Джеки стремительно вылетела за дверь, унося с собой целый ворох разноцветных плакатов.

Когда срок аренды нашей квартиры подошел к концу, Джеки сказала, что возобновлять договор не хочет. Она и еще несколько женщин решили подыскать себе местечко в районе Адамс Морган^[9].

– Мне больше нравится там атмосфера, – сказала она мне. – С днем рождения, между прочим. А на будущий год тебе четверть века исполнится. Как сказала Мэрилин Монро, такие штуки заставляют девушку задуматься. Ну, желаю тебе всего наилучшего. И подумай, что тебе нужно сделать,

чтобы оставаться свободной.

Она и подарок мне оставила; это был довольно странный набор всяких мелочей, как бы связанных общей темой. Внутри некой оболочки в виде большого пузыря был помещен пакет жвачки – такую дети, пожевав как следует, любят выдувать изо рта, а к каждой пластинке прилагался идиотский мультяшный рисунок, – затем там были бутылочка с розовым жидким мылом, к крышке которой была прикреплена пластмассовая палочка для выдувания мыльных пузырей, средство для чистки ванн (можете догадаться, какой фирмы), бутылочка калифорнийского игристого вина и упаковка из двадцати пяти воздушных шариков.

Вино я вечером выпила прямо из бутылки, а все двадцать пять шариков проткнула иглой, даже не надувая. Все остальное сразу полетело в мусорное ведро.

Больше я ни разу с Джеки не разговаривала. Но в такие вечера, как, например, сегодняшний, я очень сожалею об этом. Возможно, тогда все те «штуковины», которые с успехом удалось проделать в нашей стране – выборы, номинация, конфирмация, новый правопорядок, – не привели бы к тому кошмару, который здесь воцарился сейчас.

Глава четвертая

Иногда я вывожу невидимые буквы у себя на ладони. Пока Патрик и мальчишки разговаривают где-то с помощью собственных органов речи, я разговариваю с собой с помощью пальцев. Я кричу, я стенаю, я проклинаю все на свете и непрерывно думаю о том, «как все было раньше», по выражению Патрика.

Ну а теперь у нас порядок такой: нам, женщинам, разрешено произносить сто слов в день. Все мои книги, даже старые детские книжки Джулии Чайлд, даже – вот уж ирония судьбы – рваная книжка в красно-белую клетку «Как сделать свой дом и сад еще красивее», которую одна моя подруга, сочтя это остроумной шуткой, преподнесла нам с Патриком в качестве свадебного подарка, заперты в шкафу, чтобы Соня ни в коем случае не могла до них добраться. А это означает, что и для меня они недостижимы. Ключи от шкафов и от своего кабинета Патрик всюду обязан носить с собой точно тяжелое бремя, от которого невозможно избавиться; порой мне кажется, что именно тяжесть этого бремени и заставляет его выглядеть старше своих лет.

Больше всего я скучаю по всяким мелочам: по кружкам с карандашами и ручками, которые стояли у нас в каждом углу, по блокнотам, засунутым между книгами по кулинарии, по висевшей рядом со шкафчиком для специй маленькой грифельной доске, где я писала список покупок, который потом можно было легко стереть. Я скучаю даже по моим старым магнетикам на холодильнике с разнообразными поэтическими цитатами, из которых Стивен, буквально умирая со смеху, любил составлять забавные итало-английские фразы. Все это исчезло, исчезло. Как исчез для меня и доступ к электронной почте.

Как и все остальное.

Впрочем, кое-какие жизненно необходимые мелочи, даже глупости, остались прежними. Я по-прежнему вожу машину, посещаю по вторникам и пятницам продуктовые магазины, иногда развлекаю себя шопингом и покупаю новые платья и сумочки, раз в месяц делаю прическу в салоне «Януцци». Нет, стрижку я не сменила – мне пришлось бы потратить слишком много драгоценных слов, объясняя Стефано, сколько отрезать здесь и сколько оставить там. Мое чтение «для удовольствия» ограничено текстом рекламных объявлений, предлагающих «самый последний и действенный» энергетический напиток, или списком ингредиентов на

бутылке с кетчупом, или инструкцией для стирки того или иного изделия: например: «Не отбеливать».

Очень увлекательно.

По воскресеньям мы водим детей в кино и, разумеется, покупаем попкорн и содовую, а также маленькие прямоугольные коробочки с шоколадками, какие продаются только в кинотеатрах и никогда в магазинах. Соня всегда смеется, когда смотрит те мультики, которые крутят перед основным фильмом, пока зрители не рассядутся по местам. Собственно, и меня фильмы несколько отвлекают от мыслей о реальной жизни; лишь во время просмотра фильма я слышу женские голоса, ничем не сдерживаемые и никак не лимитированные. Актрисам разрешено пользоваться дополнительным запасом слов, когда они на работе. Но, разумеется, произносимые ими слова роли написаны исключительно мужчинами.

В течение первых месяцев я действительно то и дело украдкой заглядывала в книгу, царапала коротенькие записки на коробке из-под овсяных хлопьев или на картонке из-под яиц, писала губной помадой любовные послания Патрику на зеркале в нашей ванной. У меня были серьезные основания, очень серьезные – *Не думай о них, Джин, не думай о тех женщинах, которых видела тогда в продуктовом магазине!* – чтобы продолжать писать записки хотя бы у себя дома. Но однажды утром к нам в ванную комнату неожиданно заглянула Соня и увидела на зеркале написанное губной помадой некое послание, которое она, впрочем, прочитать еще не могла, однако гневно возопила: «Буквы! Плохо!»

И с этого момента я стала писать записки только для себя и как бы внутри себя; я лишь изредка по вечерам решалась написать несколько слов Патрику, но только после того, как дети были уже уложены, а потом сразу сжигала разорванную на мелкие клочки записку в консервной банке. Но при Стивене – при *таком* Стивене, каким он стал в последнее время, – я никаких записок больше писать не рискую.

Патрик и мальчики, стоя на заднем крыльце возле моего окна, без конца болтают, обмениваясь новостями и всякими историями о школе и о политике, а вокруг в темноте вокруг дома неумолчно трещат кузнечики. Господи, как же много от них шума, от этих мальчишек и от этих кузнечиков! Просто оглохнуть можно.

Я слушаю их, и все мои собственные слова рикошетом отдаются у меня в голове, а потом вылетают изо рта тяжким бессмысленным вздохом.

Подумай, что тебе нужно сделать, чтобы оставаться свободной.

Что ж, если сделать хотя бы чуть больше, чем просто послать все к

чертям собачьим, то и это может оказаться неплохой точкой отсчета.

Глава пятая

И Патрик ни в чем из этого не виноват. Вот что говорю я себе сегодня вечером.

Он ведь пытался высказать свое мнение по поводу всей этой концепции, когда она впервые прозвучала под сводами синего зала в некоем Белом доме на Пенсильвания-авеню. Я знаю, что пытался. Чувства собственной вины в его глазах просто нельзя было не заметить. Однако он никогда не мог настоять на своем мнении, даже если оно было абсолютно правильным; настойчивость и напористость никогда не были ему свойственны.

И уж точно не Патрик ратовал за избрание Сэма Майерса президентом во время предыдущих выборов. Этим активно занимался совсем другой человек, пообещавший, что, когда в следующий раз Майерс выставит свою кандидатуру, голосовать за него будет гораздо больше американцев. Этому человеку Джеки еще за несколько лет до избрания Майерса дала прозвище «святой Карл».

От президента требовалось только слушать его наставления и ставить свою подпись под всяким дерьмом – весьма небольшая плата за восемь лет пребывания в роли самого могущественного человека в мире. К тому же, когда его избрали президентом, подписывать нужно было уже не так уж много новых постановлений, ибо каждая деталь этого дьявольского плана была заранее проработана и, по сути дела, воплощена в жизнь.

Все началось где-то в цветущих южных штатах, известных под названием «библейский пояс», ибо там влияние религии всегда было наиболее сильным. И в итоге «пояс» превратился в «корсет», так что на свободе остались только «конечности» страны – демократические утопии Калифорнии, Новой Англии и тихоокеанского северо-запада, а также округ Колумбия и южные административные районы Техаса и Флориды – эти штаты располагались так далеко на синем краю спектра, что казались неприкасаемыми. Однако же «корсет» вскоре превратился в «скафандр», а идеи преподобного Карла добрались даже до Гавайев.

А мы все еще не замечали, что на нас надвигается.

Хотя такие, как Джеки, не только это заметили, но и принялись устраивать акции протеста. Сама Джеки, например, вместе с десятью членами группы «Атеисты за анархию» расположились возле университетского кампуса и стали выкрикивать нелепые пророчества типа

Алабама сейчас, Вермонт следующий! Или лозунги: *Неужели твое тело недостаточно Истинное?* Джеки было начхать, что люди над ней смеются.

– Смотри, Джини, – говорила она мне, – в прошлом году в Сенате была двадцать одна женщина. Теперь же их там, в нашей гребаной святой святых, всего пятнадцать! – И Джеки, подняв руку, стала по очереди загибать пальцы. – Так, Западная Виргиния? Не переизбрана. Айова? Не переизбрана. Северная Дакота? Не переизбрана. Миссури, Миннесота и Арканзас вообще «по неизвестным причинам» своих кандидатов не выставляли. Значит, еще трое. Итак, количество женщин в Сенате с двадцати одного процента практически мгновенно уменьшилось до пятнадцати. И ходят слухи, что Небраска и Висконсин также склоняются к выдвигению таких кандидатов-мужчин, которые – я цитирую – «более всего блюдут интересы страны».

И, прежде чем я успела ее остановить, она переключилась на список женщин в палате представителей.

– С девятнадцати процентов скатились к десяти, да и эти десять сохранились лишь благодаря Калифорнии, Нью-Йорку и Флориде. – Джеки помолчала немного, желая убедиться, что я по-прежнему ее слушаю. – А где представительницы Техаса и Огайо? Где женщины из южных штатов? Их в нижней палате нет вовсе. Унесены гребаным ветром. Так-то, Джини. И неужели ты думаешь, что это скоро пройдет? Нет, дорогая, по-моему, мы уже к середине президентского срока Майерса вернемся к началу девяностых. А если представительство женщин в Сенате и Конгрессе еще уполовинят, то мы устремимся напрямиком в мрачные 1970-е.

– Ей-богу, Джеко, успокойся, иначе скоро совсем истеричкой станешь.

Ее слова пронзили меня, точно пучок отравленных стрел.

– Ну и стану. Кому-то давно пора биться в истерике из-за того, что здесь происходит.

Хуже всего было то, что Джеки ошиблась. Количество женщин в Конгрессе отнюдь не стало съезживаться постепенно с двадцати процентов до, скажем, пяти. Просто в течение последних пятнадцати лет там не осталось вообще ни одной женщины.

А уж к этим последним выборам мы достигли и вовсе немыслимых результатов, и предсказание Джеки насчет того, что скоро мы *вернемся к началу 90-х*, оказалось абсолютно верным – если, конечно, иметь в виду начало 1890-х годов. В Конгрессе были самые разнообразные представители, сладкие, как ванильное мороженое, но тех двух женщин, что еще занимали там некие посты, быстренько заменили мужчинами, которые, по выражению Джеки, «более всего блюдут интересы страны».

Библейский пояс был расширен, укреплен и превратился в «пояс верности».

Однако железному поясу был необходим еще и железный кулак, некая армия содействия. И в этом тоже Джеки оказалась провидицей.

– Ты погоди-погоди, Джини, – сказала она, когда мы с ней, стоя у открытого окна, единственного в нашей квартирке, курили дешевые гвоздичные сигаретки, – скоро сама поймешь. – И она указала на пять аккуратных рядов старшеклассников, которые плечом к плечу маршировали во дворе. – Видишь этих ребятишек из ROTC?^[10]

– Ну, вижу, и что? – Я выпустила в окошко облачко табачного дыма; рядом наготове стояла жестянка с «Лизолом» – на тот случай, если вдруг появится наша квартирная хозяйка.

– А то, что у пятнадцати процентов из них тот или иной душок баптизма. А двадцать процентов заражены католицизмом, причем в его римской версии. Еще почти пятая их часть считает себя принадлежащими к неким не поддающимся определению разновидностям христианства – что бы эти слова ни означали. – Джеки выпустила в окно несколько колечек дыма и некоторое время смотрела, как они кружат в воздухе.

– Ну и что? Получается, что почти половина из них – агностики.

Джеки рассмеялась.

– Ты что, Джини, совсем рехнулась? Я ведь еще не упомянула Церковь Последнего Дня, методистов, лютеран и Христианский союз жителей берегов Тиоги.

– Как, как? Тиога... И много их там, в этом Христианском союзе?

– Один. По-моему, он в авиации служит.

Я не выдержала и рассмеялась. Но тут же задохнулась, проглотив слишком много гвоздичного дыма, и поспешно загасила окурочку, а себя обрызгала лизолом.

Да, не очень-то много.

– Этих мало, зато других слишком много. Это мощная организация на религиозной основе. – Джеки наклонилась и высунулась из окна, словно желая получше рассмотреть марширующих юнцов. – И в ней практически одни мужчины. Причем мужчины консервативные, любящие своего Бога и свою страну. – Она вздохнула и прибавила: – А женщин они любят гораздо меньше.

– Ну, это уже просто смешно, – сказала я, отходя от нее подальше – она явно вознамерилась окончательно сжечь себе легкие, прикурив вторую сигарету прямо от первой. – К женщинам они точно ненависти не

испытывают.

– Ты бы, детка, почаще из дома выходила. В каких штатах, по-твоему, эта организация пользуется самой большой популярностью? Где самый высокий рейтинг завербованных ею? Хорошо, я подскажу: это не в гребаной Новой Англии. Там они все еще «хорошие парни».

– И что из этого? – Я понимала, что мои вопросы раздражают ее, но никак не могла уловить связь, на которую Джеки пыталась мне указать.

– А то, что эти «хорошие парни» – просто консервативные белые американцы. И почти все они гетеросексуалы. – Джеки загасила недокуренную сигарету, завернула бычок в пластиковый мешочек и повернулась ко мне лицом, скрестив руки на груди. – Как ты думаешь, кто у нас сейчас более всего пышет гневом? Я имею в виду только нашу страну.

Я пожалала плечами.

– Афроамериканцы?

Джеки как-то смешно зажужжала, словно говоря «ты вылетела из игры, но у нас за кулисами есть кое-какой утешительный приз».

– Попробуй еще разок.

– Геи?

– Нет, тупица. Именно гетеросексуальные белые парни. И каждого из них, черт побери, прямо-таки переполняет чувство благородного гнева. Они же себя кастрированными чувствуют.

– Ей-богу, Джеко...

– Да-да, именно кастрированными. – Джеки ткнула в меня своим пурпурным ногтем. – Вот подожди еще немного и увидишь, что буквально через несколько лет мир станет совсем иным, если мы так ничего и не предпримем, чтобы как-то остановить этот процесс. Расширение библейского пояса, хреновое представительство женщин в Конгрессе, стая рвущихся к власти мальчишек, уставших от разговоров о том, что им надо быть более восприимчивыми. – И она засмеялась каким-то нехорошим, злым смехом, сотрясавшим все ее тело. – И не думай, что в первых рядах окажутся одни мужчины. Эти «мышки-норушки» тоже будут на их стороне.

– Кто-кто?

Джеки взглядом указала сперва на мой тренировочный костюм и нечесанные космы, затем на грудку немых тарелок в раковине и, наконец, на себя. Выглядела она, кстати сказать, просто поразительно. Это было, вероятно, одно из самых интересных творений моды, какие мне в последнее время доводилось на ней видеть – пестрые легинсы, огромный свитер грубой вязки, который раньше был бежевым, но в результате стирок приобрел и различные другие оттенки, и, наконец, пурпурные остроносые

ботинки на высоченных каблуках.

– Ну, всякие Сюзи Домохозяйки. Девицы в тщательно подобранных юбках и свитерах, в скромных *приличных* туфлях, жаждущие получить диплом «миссис такая-то, жена и хозяйка». Как ты думаешь, они любят увлекающихся наукой идиотов вроде нас? Подумай еще раз.

– Да ладно тебе, Джеки, – отмахнулась я.

– Я же сказала, Джини: тебе нужно просто еще немного подождать.

И я подождала. И все оказалось именно так, как и предсказывала Джеки. Даже еще хуже. Наступление началось сразу по многим направлениям и настолько бесшумно, что у нас не осталось ни малейшего шанса хотя бы сплотить ряды.

Одну вещь из рассуждений Джеки я все же усвоила сразу: невозможно протестовать против того, чего не видишь. А я не видела того, что на нас надвигалось.

Остальное я поняла через год. Когда узнала, как трудно написать письмо своему конгрессмену, не имея ни ручки, ни карандаша, как послать письмо, не имея марки. Когда увидела, с какой легкостью продавец в киоске с канцелярскими принадлежностями заявил мне: «Извините, мэм, но я не могу вам это продать», а работник почтового отделения лишь молча покачал головой, когда я – особь, лишенная Y-хромосомы, – попросила продать мне обыкновенную марку. Когда узнала, как быстро может быть аннулирован твой счет и номер мобильного телефона и как эффективно способны действовать молодые люди из соответствующей организации, когда устанавливают в твоём доме камеры слежения.

Я поняла, что если некий план принят на вооружение, то с тобой буквально за одну ночь может произойти все, что угодно.

Глава шестая

Патрик сегодня вечером настроен игриво, а вот у меня совершенно нет настроения затевать «любовные игры». Но либо «игры», либо он снова станет принимать антидепрессанты, чтобы выдержать еще один день, еще одну неделю на работе, благодаря которой, собственно, в нашем автомобиле есть бензин и мы вполне можем заплатить за поход детей к зубному врачу, если возникнет такая необходимость. Хотя даже тот весьма высокий пост, который Патрик занимает в нашем правительстве, все же не дает ему достаточных доходов, чтобы как следует обеспечить семью, поскольку я теперь больше не работаю.

Свет на крыльце погашен, мальчишки улеглись, а Патрик, укладываясь на наше супружеское ложе, нежно шепчет:

– Я люблю тебя, детка, – и, судя по тому, как лихорадочно блуждают по моему телу его руки, он, ясное дело, спать пока не готов. Пока еще нет. А ведь мы с ним не занимались «этим» очень давно. По-моему, несколько месяцев. А может, и дольше.

В общем, мы приступаем к делу.

Я никогда не любила болтать, занимаясь любовью. Слова казались мне такими неуклюжими; и потом, они как-то слишком резко вмешивались в естественный ритм совокупления, подрывая сами его основы. И забудьте, пожалуйста, эти дурацкие порнографические мантры: *Дай, дай его мне. О, я кончаю! Сильней, сильней. Ох, милый, да, да, да!* Подобная чушь годится только для кухонного флирта или для непристойно-убогих шуточек в компании подружек, но только не в постели. Только не с Патриком.

И все-таки о чем-то мы разговаривали. До и после. И во время тоже. Немного, всего десять звуков: *Я тебя люблю* – пять гласных, пять согласных, одно мягкое «т», во всех отношениях подходящее для данной ситуации. И произнесенные шепотом наши имена: *Патрик, Джин*.

Но сегодня вечером, когда мои дети спят, а мой муж занимается со мной любовью и я слышу возле самого уха его ровное тяжелое дыхание, я закрываю глаза, чтобы не видеть яркого отражения луны в зеркале гардероба, и думаю, что же все-таки для меня предпочтительней. Стала бы я счастливее, если бы и он разделил со мной мое молчание? Было бы мне от этого легче? Или мне все-таки нужны слова Патрика, чтобы заполнить ту пустоту, что существует и в нашей спальне, и во мне самой?

Он вдруг перестает сосредоточенно двигаться во мне и спрашивает:

– В чем дело, детка? – В его голосе забота и тревога, но я, по-моему, улавливаю там и еще некий намек, некую особую интонацию, которую мне никогда больше не хотелось бы слышать. Более всего это похоже на жалость.

Я поднимаю руки и, прижав обе ладони к его щекам, притягиваю его к себе и целую в губы. Этим поцелуем я словно говорю ему, что все это ерунда, что все пройдет, что все еще будет хорошо. Это, разумеется, ложь, но ложь, вполне в данный момент подходящая, и больше Патрик ничего не говорит и не спрашивает.

Пусть сегодня все у нас будет тихо и спокойно. Полная тишина. Абсолютная пустота.

Я чувствую, что нахожусь сейчас как бы одновременно в двух местах. С одной стороны, я всей кожей чувствую тяжелое тело Патрика, как бы повисшее надо мной, лишь изредка с моим телом соприкасаясь; я слита с ним, я его часть, но в то же время я существую отдельно от него. А с другой стороны, я целиком погружена в воспоминания о том, как судорожно я возилась с застежкой на выходном платье, сидя на заднем сиденье гоночного автомобиля «Гранд Нэшнл», принадлежавшего Джимми Риду; это была очень сексуальная машина, если машина вообще может быть сексуальной. Я пыхтела, смеялась и вообще была здорово подогрета алкоголем, а Джимми вовсю лапал меня и шарил по моему телу своими ручищами. Затем воспоминания переносят меня в какой-то веселый клуб, где я пою, радуясь победе нашей далеко не звездной футбольной команды; затем – я произношу прощальную речь на выпускном вечере в колледже; а затем – выкрикиваю грязные ругательства в адрес Патрика, который терпеливо просит меня еще разок поднатужиться и, взволнованно задыхаясь, все повторяет: *Ну, еще хотя бы один разок, детка*, пока не выходит головка ребенка... А затем перед моим мысленным взором отчетливо предстает то, что было два месяца назад: маленький съемный коттедж, я лежу на кровати, а надо мной горячее тело того мужчины, которого мне отчаянно хочется увидеть снова; я и сейчас с волнением вспоминаю его ласки, я и сейчас чувствую прикосновение его рук к моему телу...

«Лоренцо, Лоренцо», – повторяю я про себя, а потом, дав себе некий внутренний пинок, заставляю себя выбросить из головы эти три чудесных слога, из которых состоит его имя, пока повторение этого имени не пробудило в моей душе слишком сильную боль.

Но мое «я» раздваивается все сильнее, и я теперь словно существую одновременно в двух различных ипостасях.

В такие, как сегодня, моменты я думаю о других женщинах. Например, о докторе Клодии. Однажды, находясь у нее на приеме, я спросила: получают ли гинекологи от секса большее удовольствие, чем мы, все прочие женщины, или же наоборот – они теряются в клинических подробностях акта? Может быть, ложась на спину, они думают: «О, моя вагина расширяется, становится более податливой, а клитор прячется под «клубочок», и верхняя треть стенок моего влагалища (но только верхняя треть) начинает сокращаться со скоростью одна пульсация за восемь десятых долей секунды».

Доктор Клодия одним ловким движением извлекла из меня расширитель и сказала: «Честно говоря, на первых курсах медицинского колледжа со мной все происходило именно так, как вы говорите. И я ничего не могла с этим поделать. Но, слава богу, мой партнер тоже был студентом-медиком; любой другой, как мне кажется, уже давно встал бы, застегнул молнию на брюках и удалился восвояси, оставив меня, истерически хохочущую, под одеялом. – И она, ласково потрепав меня по колену, высвободила сперва одну мою ногу, а потом и вторую из обитых какой-то мягкой розовой штуковиной опор гинекологического кресла. – Ну а теперь я просто получаю от секса удовольствие. Как и все остальные люди».

Пока я вспоминаю доктора Клодию с ее блестящим стальным расширителем, Патрик добирается до оргазма и тяжело обвисает, придавив меня и целуя мне шею и уши.

Интересно, думаю я, а как это происходит у других женщин? Как они выходят из положения? Неужели они все еще находят в супружеском сексе нечто приятное, доставляющее им удовольствие? Неужели они по-прежнему любят своих мужей? Или, может, теперь уже они их ненавидят? Хотя бы чуть-чуть?

Глава седьмая

Когда в первый раз раздается пронзительный крик Сони, я решаю, что мне это снится. Тем более рядом преспокойно похрапывает Патрик – у него сон всегда был крепкий, а в последний месяц он еще работал по такому безумному графику, что совсем выбился из сил. Так что пусть себе спит-храпит, сочувственно думаю я.

Впрочем, в последнее время я и сочувствия-то особого к нему не испытываю. Оно словно выдохлось. Зачем работать по двенадцать часов в день, зная, что все равно неизбежно раскиснешь от усталости, и это в два раза уменьшит твою же производительность труда? Зачем хоронить себя под горами бумажной работы и всякой административной бредятины, а потом, едва переставляя ноги, тащиться домой с единственным желанием: рухнуть в постель и уснуть мертвым сном? Зачем на следующее утро снова вставать и отправляться на работу, чтобы повторилось все то же самое? А чего все они, эти люди, собственно, ожидали, соглашаясь на такую работу?

Впрочем, Патрик не виноват – это я понимаю и сердцем, и умом. Просто у нас четверо детей, и нам жизненно необходимы те деньги, которые он получает на службе. И все-таки сочувствия в моей душе не осталось уже почти ни капли.

Мысли мои прерывает новый крик Сони, и это не бессловесный вопль, а прямо-таки водопад слов, и при мысли о том, сколько слов она уже произнесла, у меня кровь стынет в жилах.

Мамочка, не позволяй ему до меня добраться не позволяй ему до меня добраться не позволяй ему до меня добраться...

Я скатываюсь с кровати, путаясь в простынях, одеялах и ночной рубашке, скрутившей мои ноги точно свивальником. В результате я больно ударяюсь голенью об острый угол прикроватного столика, на ноге сразу зреет отличный синяк, внутри которого виднеется кровоточащая ссадина. Наверно, еще и шрам останется, но я об этом не думаю. Я думаю о том «шраме», который заполучу, если вовремя не доберусь до Сониной спальни и не успею ее утихомирить.

Слова продолжают сыпаться у нее изо рта, они летят по коридору мне навстречу, точно миллион отравленных дротиков из чьих-то вражеских духовых трубок. И каждое слово больно жалит меня; каждое с легкостью хирургического скальпеля насквозь пронзает мою, некогда довольно-таки плотную шкуру и проникает прямо мне в душу, во внутренности...

Господи, сколько же слов она успела произнести? Пятьдесят? Шестьдесят? Или даже больше?

Больше. Конечно, больше.

О господи...

Теперь уже и Патрик проснулся, вскочил, глаза расширены, бледный – этакая картинка из черно-белого фильма, когда герой до смерти пугается, обнаружив в шкафу чудовище. Я слышу за спиной его торопливые шаги, их ритм совпадает с барабанным боем крови, пульсирующей в моих венах; Патрик кричит мне: «Беги, Джин! Беги!», но я даже не оборачиваюсь. Двери открываются словно сами собой, когда я буквально влетаю в них – сперва двери комнаты Стивена, затем – комнаты близнецов. Кто-то – то ли Патрик, то ли я сама – с силой бьет ладонью по выключателю в коридоре, и в пределах моего периферического зрения появляются три смутно видимых физиономии, бледные, как у привидений. Естественно, комната Сони непременно должна была оказаться дальше всего от моей спальни!

Мамочка, пожалуйста, не позволяй ему до меня добраться не позволяй ему до меня добраться не позволяй...

Сэм и Лео начинают плакать. На какую-то долю секунды я улавливаю одну-единственную мысль: *я никудаишная мать*. Мои мальчишки до смерти перепуганы, а я бегу мимо них, даже не пытаюсь о них позаботиться, не обращая на них внимания, не замечая их. Ничего, о них я позабочусь позже – если, конечно, буду в состоянии вообще о чем-то еще заботиться.

Еще два шага, и я вбегаю в маленькую комнатку Сони, прыгаю к ней на кровать, одной рукой нашариваю ротик малышки и затыкаю его. А моя вторая рука тем временем шарит под одеялом в поисках твердого металлического браслета у нее на запястье.

Соня что-то мычит мне в ладошку, и я краем глаза замечаю часы на ночном столике. Половина двенадцатого.

А у меня больше совсем не осталось слов – во всяком случае, на ближайшие полчаса.

«Патрик...» – одними губами произношу я, когда он включает верхний свет. Четыре пары глаз в ужасе уставились на то, что творится на Сониной постели. Наверное, со стороны это более всего похоже на насилие – этакая гротескная скульптура: извивающийся ребенок в ночной рубашонке, насквозь промокшей от пота и ставшей почти прозрачной, и я, распростертая поверх нее, пытающаяся задушить ее крики и всем своим весом прижимающая ее к матрасу. Жуткая, должно быть, картина. Так сказать, детоубийство во плоти.

Мой счетчик на руке, которой я зажимаю Соне рот, грозно светится,

показывая цифру 100. Я поворачиваюсь к Патрику и умоляюще смотрю на него, прекрасно зная, что если я заговорю, если на моем счетчике появится хотя бы цифра 101, Соня неизбежно разделит со мной страшный удар током.

Патрик мгновенно бросается ко мне, осторожно отрывает мою руку от Сониного лица и уже своей ладонью закрывает ей рот.

– Ш-ш-ш, малышка. Ш-ш-ш. Папа с тобой. Папа никогда не позволит, чтобы с тобой случилось что-то плохое.

Сэм, Лео и Стив входят в комнату, толкая друг друга и стараясь занять наиболее удобную позицию, и в комнате вдруг совершенно не остается места для меня. Таким образом, *никудашная мать* превращается еще и в *бесполезную мать*. Эти два слова – *никудашная* и *бесполезная* – скачут у меня в голове, словно шарик пинг-понга. Спасибо, Патрик. Спасибо, мальчики.

Но я их не ненавижу. И я еще раз повторяю себе: нет, я их не ненавижу.

Хотя иногда все-таки да: ненавижу.

Я ненавижу, когда мой муж и мои сыновья говорят Соне, какая она хорошенькая. Я ненавижу, когда именно они утешают ее *ласковыми словами*, если она упадет, катаясь на велосипеде. Я ненавижу, когда они придумывают всякие истории о принцессах и русалках и *преспокойно* их ей рассказывают. Я ненавижу молча смотреть и слушать, когда они все это делают.

Какое мучительное испытание – все время помнить, что самой-то мне в детстве *именно мама* и ласковые слова говорила, и всякие истории рассказывала.

Черт бы все это побрал!

Соня начинает понемногу успокаиваться, значит, непосредственная опасность миновала. Но я успеваю заметить, пятась к дверям и выскальзывая из ее комнаты, что братья все же стараются к малышке не прикасаться. Просто на всякий случай: вдруг у нее случится еще один припадок, и она снова начнет выкрикивать слова.

В углу гостиной наш бар – солидный деревянный стол на колесиках, где на полочках стоят разные бутылки с жидким болеутоляющим. Чистая водка и джин, карамельный скотч и бурбон. В бутылке, которую мы купили несколько лет назад для пикника в полинезийском стиле, еще осталось примерно на дюйм кюрасао цвета кобальта. А где-то в заднем ряду я нахожу то, что, собственно, и ищу: бутылку запрещенной здесь граппы, известной также как «итальянский самогон». Я забираю с собой бутылку и

небольшой бокал, уношу все это на заднее крыльцо и жду, когда часы пробьют полночь.

Выпивкой я давно уже не увлекаюсь. Она окончательно вгоняет меня в тоску – это же, черт побери, невыносимо, прихлебывая ледяной джин с тоником, вспоминать те летние вечера, когда мы с Патриком усаживались рядышком на крошечном, размером с почтовую марку, балкончике в нашей самой первой квартирке и подолгу обсуждали мои возможные научные гранты, или проблему получения квалификационных дипломов, или его дьявольскую нагрузку, когда он начал работать в качестве постоянного врача в Джорджтаунском университетском госпитале. Я также боюсь опьянеть, боюсь того состояния, которое называется «пьяному море по колено», ибо в этом состоянии я могу забыть обо всех правилах. Или попросту на них плюнуть.

От первого доброго глотка граппы у меня внутри словно вспыхивает пожар; второй идет легче, мягче. Я как раз делаю третий глоток, когда часы возвещают конец этого дня, и счетчик на моем левом запястье приглушенным звонком сообщает, что мне дарована еще одна сотня слов.

Что я буду с ними делать?

Я тихонько открываю затянутую сеткой дверь, проскальзываю обратно в гостиную, мягко ступая по ковру, и ставлю бутылку в бар. Затем я иду к Соне. Она уже сидит в постели со стаканом молока в руках, а Патрик подпирает ей спинку ладонью. Мальчики снова улеглись, а я сажусь рядом с Патриком.

– Все хорошо, дорогая. Мамочка с тобой.

И Соня улыбается мне.

Но на самом деле все происходит совсем не так.

Взяв с собой выпивку, я спускаюсь на лужайку, прохожу мимо роз, которые миссис Рей так тщательно выбирала и высаживала, и углубляюсь во тьму того заросшего травой кусочка земли, где так чудесно пахнет цветущая сирень. Говорят, что с растениями нужно разговаривать, тогда они будут здоровее и станут лучше расти; если это правда, то в моем саду растения, должно быть, скоро умрут. Впрочем, сегодня мне абсолютно начхать и на эту цветущую сирень, и на розы, и на все остальное. И голову мою занимают исключительно мысли о совсем иной разновидности земных существ, которые столь хорошо мне знакомы.

– Ублюдки гребаные! – злобно ору я, снова и снова.

У Кингов в окнах мелькает свет, вздрагивают и раздвигаются вертикальные пластинки жалюзи. Но мне плевать на Кингов. Мне плевать, даже если я своими криками подниму весь квартал. Плевать, даже если

меня услышат на Капитолийском холме. Я ору, пока у меня окончательно не пересыхает горло, и тогда я снова делаю добрый глоток граппы. Я пью прямо из бутылки, и немного виноградной водки проливается мне на ночную рубашку.

– Джин! – раздается где-то позади меня голос Патрика, затем с грохотом захлопывается дверь, и он снова окликает меня, но уже ближе: – Джин!

– Отвали к чертовой матери! – говорю я. – Или я так и буду выкрикивать слова одно за другим. – Мне вдруг становится совершенно безразлично, ударит ли меня током, испытаю ли я снова ту жуткую боль. Интересно, а если я сумею эту боль вытерпеть, если так и буду продолжать кричать, изливая свой гнев, если мне удастся заглушить и физическую боль, и горькие чувства алкоголем и криком, то неужели они так и будут продолжать бить меня током? Или я от первого же удара потеряю сознание?

Возможно, убивать меня они бы все-таки не стали – они не убивают женщин по той же причине, по какой не одобряют аборты. Мы превратились для них в некое необходимое зло, в некие объекты, которые надлежит трахать, но не слушать.

А Патрик уже вопит во весь голос:

– Джин! Остановись, детка! Пожалуйста, прекрати это!

У Кингов еще в одном окне вспыхивает свет. Со скрипом открывается дверь. По траве шуршат шаги.

– Что у вас там происходит, Макклеллан? Люди уснуть пытаются. – Это, конечно же, супруг. Эван Кинг. А супруга, Оливия, по-прежнему подглядывает сквозь щель в жалюзи, наслаждаясь моим полуночным шоу.

– Иди к дьяволу, Эван! – ору я в ответ.

Эван уже далеко не столь вежливо сообщает, что идет звонить в полицию. И свет в окне Оливии гаснет.

Я слышу какие-то пронзительные крики – некоторые из них явно мои, – а затем Патрику удается меня скрутить, и он буквально всем своим телом прижимает меня к мокрой траве, умоляя, утешая, пытаясь успокоить меня поцелуями, и я чувствую, что лицо у него мокро от слез. И первое, что мне приходит в голову: неужели они специально обучают мужчин таким приемам? Может, они даже раздают некие брошюры нашим мужьям, сыновьям, отцам и братьям и начали это делать еще с самых первых дней, когда на женские руки надели эти сверкающие стальные кандалы? Впрочем, вряд ли их до такой степени это заботило.

– Отпусти меня. – Я по-прежнему валяюсь на траве, чувствуя, что насквозь мокрая ночная рубашка прилипла к моему телу, точно змеиная

шкура. И, подумав о змеиной шкуре, я вдруг понимаю, что не говорю, а шиплю, как змея.

А еще я понимаю, что счетчик у меня на левом запястье снова угрожающе тикает.

Патрик, услышав это тиканье, моментально хватает меня за руку и проверяет, сколько слов у меня осталось.

– Твой лимит исчерпан, Джин!

Я извиваюсь, пытаюсь отползти от него подальше – эта попытка столь же безнадежна и пуста, сколь пуста и безнадежна моя душа. Я чувствую во рту горький вкус травы, и только тут до меня доходит, что рот у меня полон этой травы, что я жую ее, причем вместе с землей. И я вдруг понимаю, что хочет сделать Патрик, удерживая меня в объятиях: он хочет разделить со мной страшный удар тока.

И, поняв это, я не только умолкаю, но и позволяю Патрику отвести меня обратно в дом под все усиливающийся вой полицейских сирен.

Ладно, пусть с прибывшими по звонку Эвана Кинга полицейскими объясняется Патрик. У меня все равно больше не осталось слов.

Глава восьмая

Глупо, глупо, ах, как глупо!

Равнодушный, ничего не выражающий взгляд Сони, когда утром я под проливным дождем провожаю ее до остановки автобуса – это самый худший упрек, это наказание мне за вчерашнюю несдержанность и гневную, пропитанную граппой тираду на заднем дворе. И это, конечно же, гораздо хуже той унылой лекции, которую мне прочли полицейские, упрекая меня в том, что я нарушаю покой соседей.

Впервые перед уходом в школу я не сказала Соне, что люблю ее. Но я все же посылаю ей воздушный поцелуй и сразу жалею об этом, потому что она мгновенно подносит к губам свою ручонку и посылает мне ответный.

Черный глаз камеры на автобусной двери тут же уставляется на меня в упор.

Они теперь повсюду, эти камеры. В супермаркетах и в школах, в парикмахерских и в ресторанах. Только и ждут возможности уловить любое твое движение как часть языка жестов, тогда как запрещена даже эта, самая примитивная форма бессловесного общения.

Собственно говоря, и все их идиотские приемы и уловки, с помощью которых они стараются задеть нас за живое и заставить молчать, с человеческой речью тоже не имеют ничего общего.

По-моему, тот случай имел место примерно через месяц после введения счетчиков слов в продуктовом отделе супермаркета «Сейфуэй». Эти молодые женщины были мне незнакомы, но я и раньше не раз видела их в этом магазине, поскольку они, как и я, чаще всего покупали продукты именно там. Как и многие другие молодые матери – и в нашем квартале, и в соседних, – они повсюду ходили парами или целыми стайками, дружно толкая перед собой тележки с покупками, и всегда были готовы помочь друг другу, если у кого-то младенец вдруг раскапризничает в очереди у кассы. Но эти две женщины, как мне показалось, были как-то особенно тесно связаны друг с другом. Возможно, они были близкими подругами. Возможно, именно эта дружба, как я теперь понимаю, и оказалась их главной проблемой.

Можно многое отнять у человека – деньги, работу, интеллектуальный стимул, да все, что угодно. Можно отнять у женщины даже возможность произносить слова, но и при этом ее сущность ничуть не изменится.

Но отнимите у человека чувство товарищества, и тут уж речь пойдет о

чем-то совсем ином.

Я наблюдала за ними, за этими молодыми женщинами, а они, ласково и влюбленно поглядывая то на одного малыша, то на другого, говорили, видимо, о детях, и разговор этот шел на некоем безмолвном «пиджине»: они то указывали на свое сердце, то касались пальцем виска. Это был весьма забавный и трогательный язык жестов, и я невольно засмотрелась на них, а они, ничего не замечая вокруг, все продолжали стоять возле высоченной пирамиды из апельсинов и, презрительно посмеиваясь, вместе читали какое-то письмо – это явно было некое любовное послание, и они таких не видели, должно быть, класса с шестого, когда передавали друг другу записочки от какого-нибудь Кевина, Томми или Карло. И тут я вдруг увидела, как изменились лица этих молодых женщин, и они в ужасе уставились на троих мужчин в форме, подошедших к ним с разных сторон; я видела, как рухнула и рассыпалась та пирамида из апельсинов, когда одна из женщин попыталась сопротивляться, а потом и самих женщин, и их крошечных дочерей потащили куда-то через автоматические двери, защелкнув на запястье каждой широкий металлический наручник.

Я, разумеется, ни у кого потом не пыталась узнать о них. Да это было и не нужно. С тех пор я никогда больше не видела ни этих женщин, ни их малюток.

– Пока, – прощается со мной Соня и вскакивает на подножку автобуса.

А я тащусь обратно к дверям дома, стряхиваю на крыльце зонт и оставляю его открытым, чтобы просох. Запертый почтовый ящик, похоже, ухмыляется своей единственной щелью, глядя на меня. *Видишь, что ты наделала, Джин?*

На углу останавливается грузовичок нашего почтальона. Он вылезает из кабины, закутанный в такой прозрачный дождевик, какие им выдают в почтовых отделениях на случай плохой погоды. Такое ощущение, словно он натянул на себя презерватив.

В детстве я и моя подружка Энн-Мэри любили посмеяться по этому поводу, наблюдая за почтальонами в дождливые дни; да и летом мы частенько фыркали, глядя, как почтальоны щеголяют в своих допотопных шортах и дурацких шлемах; ну а зимой нас, конечно, ужасно смешили их галоши, в которых они бодро шлепали по раскисшим от мокрого снега улицам. Но наибольшее веселье у нас, разумеется, вызывали эти пластиковые дождевики, в которых почтальоны все как один ходили на дряхлых старушек. Собственно, и старушки, и почтальоны по-прежнему носят такие дождевики, хотя кое-что все же переменялось: женщин среди почтальонов больше нет ни одной. По-моему, это довольно существенная

перемена.

– Доброе утро, миссис Макклеллан, – здоровается со мной почтальон, шлепая по дорожке к нашему дому. – Много почты сегодня для вас.

Я почти никогда не встречаюсь с нашим почтальоном. У него какое-то редкое свойство – приходить, когда меня либо нет дома, либо я занимаюсь какими-то хозяйственными делами, либо, скажем, принимаю душ. Но иной раз случается, что почтальон приходит, когда я дома и сижу на кухне; я слышу негромкий стук металлического клапана, когда почтальон открывает почтовый ящик, и пытаюсь побыстрее допить свою вторую за утро чашку кофе, но за это время он уже успевает исчезнуть. Интересно, может, он специально свои приходы к нам так планирует?

Я молча улыбаюсь в ответ на его приветствие и протягиваю руку за почтой: мне просто интересно посмотреть, как он поступит.

– Извините, мэ. Но я обязан опустить почту в ящик. Правила, знаете ли.

У них действительно теперь новые правила, и за исключением субботнего утра – когда Патрик бывает дома – наш почтальон неукоснительно эти правила соблюдает. А в субботу он отдает почту прямо Патрику в руки, чем, полагаю, избавляет моего мужа от необходимости тащиться в дом на поиски ключа.

Я смотрю, как он опускает в щель почтового ящика целую пачку каких-то конвертов и щелкает закрывшимся клапаном.

– Ну что ж, доброго вам дня, миссис Макклеллан. Если это, конечно, возможно, при такой-то погоде.

Я пресекаю машинальное желание ответить, и оно буквально застревает у меня в горле, когда я вспоминаю, что слов у меня больше совсем не осталось.

И тут происходит нечто странное: почтальон три раза подмигивает мне, и между каждым подмигиванием делает до смешного долгую паузу, поэтому, когда он моргает, его веки с длинными ресницами опускаются медленно, как у куклы с закрывающимися глазами.

– Знаете, – говорит он, – у меня есть жена. И три девочки. – Последние три слова он – как, кстати, его зовут? Мистер Пауэлл? Мистер Рамси? Мистер Баначи? – произносит шепотом, и мне становится жарко от стыда и растерянности: я ведь даже имени этого человека не знаю, хотя он приходит к нам в дом шесть раз в неделю.

А он опять повторяет тот жест – три раза медленно моргает глазами, – предварительно проверив, куда смотрит камера слежения, висящая у нас над дверью, и повернувшись к ней спиной. В итоге камера отражается у

меня в глазах. Может, я солнце или луна? Нет, скорее уж Плутон, загадочная двойная планета.

И я вдруг узнаю его. Вспоминаю. Наш почтальон – сын той женщины, которая должна была бы стать первым человеком, которому я введу в головной мозг лекарство от афазии. И эту женщину зовут Делайла Рей. Ничего удивительного, что ее сына в прошлом году так беспокоила тема моего гонорара, хотя гонорар этот наверняка в любом случае равнялся бы нулю, даже если бы у меня тогда и впрямь возникла возможность испытать мою сыворотку «Вернике X-5» на реальном пациенте; сам-то он вряд ли много зарабатывает в качестве почтальона.

Мне этот человек успел понравиться, еще когда он приводил Делайлу Рей ко мне на прием. В нем была некая особая чувствительность и какое-то детское изумление перед чудом науки – и в частности, перед тем волшебным средством, которое я предлагала с помощью обыкновенного шприца ввести ей непосредственно в головной мозг. Родственники других пациентов всегда приходили в ужас и трепетали при одном упоминании об «уколе прямо в мозг», а этот человек оказался единственным, кто заплакал от радости, когда я объяснила ему свои намерения и сказала, что если опыт будет удачным, то его пожилая мать сможет практически сразу произнести свое первое связное предложение, хотя до этого она целый год жила с абсолютно нарушенной вследствие перенесенного инсульта речью. В глазах этого человека я была не просто очередным исследователем, имеющим исключительно научный интерес, или врачом-логопедом, или еще кем-то из длинной череды диагностов и доброжелателей, осматривавших его мать. Он воспринимал меня почти как божество, способное вернуть человеку утраченный голос и способность говорить.

Вот именно, *была*.

Почтальон ждет, вопросительно поглядывая на меня, и я, дабы объяснить свое молчание, делаю единственно возможный для меня жест: поднимаю левую руку, подношу ее к лицу и поворачиваю запястье так, чтобы экран счетчика был ему виден. И он сразу все понимает.

– Извините, – говорит он и собирается уходить.

Но прежде чем он успевает спуститься с крыльца и снова сесть в кабину своего грузовичка, я трижды медленно закрываю и открываю глаза – как это делал он.

– Ничего, мы в другой раз с вами поговорим, – еле слышно шепчет он и сразу уезжает.

Справа от меня хлопает дверь, и алюминиевая сетка еще некоторое время дребезжит в дверной раме, когда Оливия Кинг, открыв пестрый зонт,

выныривает из-под навеса над крыльцом. На голове у нее платок из одноцветного шелка или полиэстера. Нежно-розового. В этом платочке Оливия кажется бабушкой, хотя она лет на десять, по крайней мере, меня моложе. Она внимательно смотрит в небо, затем на всякий случай высовывает из-под зонта руку, проверяя, не идет ли дождь, и закрывает зонт.

Но платок с головы не снимает, даже усевшись на сиденье своего автомобиля. В последнее время Оливия вообще выезжает куда бы то ни было только в будние дни по утрам; если бы та церковь, которую она посещает, была поближе, она бы точно ходила туда пешком.

Мне сейчас Оливия кажется какой-то очень маленькой, съезжившейся, даже ссохшейся; этакая пугливая домашняя мышка, перебегающая от одной норки к другой и вечно страшась того, что может встретиться ей на пути. Она из тех людей, о которых Джеки говорила, что у них вместо мозгов в голове порошок «Kool-Aid», который дети любят разводить водой, чтобы получилось сладкое питье с запахом какого-нибудь фрукта. И, в общем, Оливия вполне довольна своим местом в предписанной иерархии «Бог, мужчина, женщина» и с готовностью до последней капли выпила яд, предложенный ей преподобным Карлом.

Я-то сама воспринимаю любую религиозную доктрину как полное дерьмо, и наша нынешняя доктрина «нравится» мне в той же степени. Но когда Стивен впервые притащил домой свой учебник для подготовительного курса с весьма невинным названием «Основные положения современной христианской философии», ярко выведенными синими безобидными буквами на белом фоне обложки, я все же проявила определенный интерес, взяла у него эту книжку и после обеда всю ее пролистала.

– Фигня ведь, тебе не кажется? – спросил Стивен, в очередной раз заглядывая на кухню, чтобы немного перекусить.

– Ты, по-моему, говорил, что этот курс на будущий год собираются вставить в основное расписание? – спросила я, не отрывая глаз от той страницы, где начиналась глава «В поисках естественного порядка для современной семьи»; она, как и все прочие главы, предварялась цитатой из Библии, в данном случае из Послания к коринфянам: «...всякому мужу глава Христос; жене глава – муж, а Христу глава – Бог»^[11].

Нет, это просто фантастика.

Мало того, глава двадцать седьмая, например, начиналась с выдержки

из книги Тита Ливия^[12]: «Учите добрым вещам; учите молодых женщин быть рассудительными, учите их любить своих мужей и своих детей, учите их быть осмотрительными и непорочными, учите их быть истинными хранительницами домашнего очага и добрыми, послушными женами для своих мужей». Основной же смысл данного учебника сводился фактически к некоему «призыву к оружию» в борьбе за новый порядок, сутью которого было стремление восстановить ту роль, которую женщина играла чуть ли не в доисторическом обществе, а также соответствующее отношение мужчин к женщинам.

Там имелись, разумеется, главы, посвященные феминизму и тому, как коварно это течение, ибо оно разрушает ценности таких мировых религий, как иудаизм и христианство (а заодно и само понятие мужественности); там также были приведены многочисленные советы мужчинам относительно их главной роли в семье – роли мужа и отца; а целая отдельная глава являла собой подробные наставления детям относительно того, как им следует уважать старших. Короче, практически каждая страница этого «учебника» буквально вбивала в голову «ценности» крайне правого фундаментализма.

Я резко захлопнула книгу.

– Скажи, это ведь не единственное рекомендованное вам пособие?

– Но самое главное. – Стивен ответил мне лишь после того, как залпом осушил большую кружку молока и снова до половины ее наполнил.

– Но какова все-таки основная цель этого курса? Может быть, это желание выдвинуть на первый план всевозможные ловушки консервативного христианства?

Стивен так тупо на меня уставился, словно я задала свой вопрос по-гречески.

– Да не знаю я. Но препод у нас клевый. Она такие интересные выводы порой делает! Ну, например, насчет того, как трудно детям, когда оба родителя целый день на работе, или почему мы оказались в таком положении, когда люди забывают о самых простых вещах.

Я отняла у него пакет с молоком и сунула его обратно в холодильник.

– Может, ты все-таки оставишь хоть немного молока, чтобы твоим братьям было чем позавтракать? И какие это «самые простые вещи» ты имеешь в виду? – Перед глазами у меня точно в режиме слайд-шоу тут же замелькали чудесные картинки: женщины, работающие в саду; женщины, консервирующие персики; женщины, при свете свечи вышивающие наволочки для диванных подушек. Члены секты шейкеров, они же трясуны,

сознательно воздерживающиеся от нормальной жизни.

– Ну, это, например, садоводство, грядки там всякие, приготовление еды – в общем, все в таком роде. По-моему, это действительно куда лучше, чем целыми днями носиться сломя голову, отдавая себя какой-то дурацкой работе.

– Значит, по-твоему, мне следовало бы больше заниматься садом и огородом, а также почаще готовить вам разнообразные кушанья? Ты считаешь работу, которой я занимаюсь, менее важной, чем... ну, я не знаю... чем ручные ремесла или готовка пищи?

– Я же не тебя имею в виду, мам, а других женщин. Тех, которым просто хочется поменьше бывать дома, которые хотят обрести хоть какую-то жалкую возможность стать личностью. – Он забрал у меня книгу, чмокнул меня в щеку и прибавил на прощанье: – Да не бери ты в голову. В конце концов, это всего-навсего какой-то дурацкий школьный курс.

– Вот я и хотела бы, чтобы ты от него отказался, – сказала я.

– Никак невозможно. Мне же потребуется свидетельство о сдаче экзаменов AP, чтобы поступить в университет.

– Но почему ты выбрал именно этот курс? Ты что, намерен специализироваться в вопросах современного христианского мировоззрения?

– Нет. Я просто хочу поступить в колледж.

Вот, значит, как они этого добились! Прокрались в школы и колледжи, вводя всякие новые курсы, создавая новые клубы... Не брезгуя ничем – в том числе и соблазняя ребят обещаниями повысить их «соревновательные возможности» благодаря сданному экзамену по «религиоведению».

Нет, это и в самом деле оказалось очень даже просто.

Глава девятая

Жена президента вместе с ним появляется на экране – по правую руку от него и почти рядом, но все же чуточку сзади; ее светлые волосы покрыты изящным розовато-лиловым шарфом в тон платью, выгодно подчеркивающим цвет ее глаз.

Не знаю, зачем я включила телевизор. К тому времени, как я в очередной раз подогрела себе кофе, дождь снова замолотил вовсю, за окном слышалось его ровное плющание, и особого желания выходить из дома у меня не возникло. И потом, дома одной как-то безопаснее. Не возникает соблазна заговорить.

А она красотка, наша первая леди. Можно сказать, некая реинкарнация Джеки О^[13], только светловолосая и с голубыми глазами, а та была шатенкой с темными глазами. Я помню, какой была наша «госпожа президентша» до замужества, когда красовалась на страницах и обложках журналов «Vogue» и «Elle», чаще всего демонстрируя крохотные мини-бикини или белье, и всегда улыбалась, словно желая сказать: *Вперед! Попробуйте-ка до меня дотронуться!*

Но сейчас я была просто поражена произошедшей с ней переменой. До чего же смиренно она держалась, стоя за спиной своего супруга. Вот уж настоящая метаморфоза. Она даже показалась мне меньше ростом – возможно, впрочем, это из-за туфель. Наш-то президент ростом не слишком высок, и кое-кто, вероятно, высказал предположение, что на фотографиях и на экране он будет выглядеть неэстетично рядом со стройной высокой женой, которая к тому же надела туфли на высоких каблуках, вот фотографы и операторы и решили выровнять их по росту, сгладив все ненужные возвышенности и долины.

Господи, кого я пытаюсь обмануть?

Она же больше никогда не улыбается! А ее платья и юбки всегда минимум дюйма на три ниже колена. И вырез на платьях у нее ни в коем случае не глубже той ямки под горлом, название которой я никак не могу запомнить. В общем, в высшей степени пристойный наряд. Рукава неизменно три четверти, в том числе и сегодня, а на левом запястье красуется счетчик, подобранный, разумеется, в тон платья и более всего похожий на старинный браслет, доставшийся ей в подарок от прабабки.

Предполагается, что первая леди должна для всех служить образцом

истинной женщины, жены, верной соратницы своего супруга во всех его делах и во все времена.

Разумеется, рядом с ним она находится только во время публичных акций. А когда камеры выключены и микрофоны умолкли, Анна Майерс, урожденная Йоханссон, тут же отправляется домой в сопровождении троих вооруженных агентов службы безопасности. Этого по телевизору, разумеется, никогда не показывают, но Патрику не раз доводилось это видеть, присутствуя на выступлениях президента перед публикой и находясь в его «свите».

И упомянутое трио остается при ней ночью и днем.

В иные времена наличие у первой леди государства постоянной охраны воспринималось бы как обычная забота о ее безопасности. Однако правду об этом можно прочесть в голубых глазах Анны Майерс: они теперь совершенно лишены блеска и кажутся пустыми, как у женщины, которая видит мир исключительно в серых тонах.

Помнится, у нас в студенческом общежитии жила одна девочка – ее комната была дверей через пять от моей по коридору налево, – и вот у нее были такие же глаза, какие теперь у Анны Майерс. Казалось, мышцы лица вокруг них двигаться вообще не способны, во всяком случае, они никогда не сокращались и не растягивались, чтобы соответствовать той улыбке, которую она буквально надевала на себя, если мы спрашивали, все ли у нее в порядке, не лучше ли она себя чувствует сегодня с утра и не хочет ли немного поболтать. Я помню, как мы нашли эту девочку мертвой – и ее открытые глаза были по-прежнему абсолютно лишены выражения, точно вода в глубоком сельском колодце или застывшая лужица пролитого кофе. В общем, если захотите узнать, что такое депрессия, загляните в глаза человеку, который этим страдает.

Странно, что я отлично помню глаза той мертвой девушки, а имя ее забыла.

Анна Майерс живет в тюрьме, окруженной садом с розариями и мраморными купальнями, она спит на постели, застланной простынями из тончайшего полотна. Патрик рассказывал мне после одного из своих визитов в личные покои президента – высшая степень проявления благосклонности со стороны Майерса, – что люди из службы госбезопасности дважды в день проверяют ванную комнату Анны, обшаривают ее постель (мало ли какие «объекты» она могла незаметно пронести сюда с кухни), а также у них в руках находятся все лекарства, назначенные ей медиками, и она получает их исключительно из рук этих агентов строго в соответствии с предписаниями. В покоях Анны,

разумеется, нет ни одной бутылки со спиртным, а в дверях отсутствуют замки – запираются только дверцы буфета, где хранится дорогая посуда и кое-что из еды. Там также нет ничего, сделанного из стекла.

Я переключила канал.

Для нас все еще существует кабельное телевидение – более сотни спортивных передач, различные садоводческие шоу, кулинарные поединки, советы по ремонту квартиры, мультики для детей, иногда фильмы, но почти все они, так сказать, «смотреть с родителями», а значит, никаких ужасов; в основном это глупые комедии или четырехчасовые эпические картины о жизни Моисея и Иисуса. Есть, разумеется, и другие телевизионные каналы, но все они защищены паролем и доступны только для главы семейства и вообще для мужчин старше восемнадцати лет. Не требуется особого воображения, чтобы догадаться, какого рода программы показывают на этих каналах.

Сегодня я выбрала гольф: жуткая скучища, сплошное мелькание металлической клюшки и мяча.

Когда мой кофе окончательно остыл, а ведущий игрок загнал мяч уже в восемнадцатую лунку, в дверь позвонили. Днем нечто подобное случается не часто. Оно и понятно: зачем соседкам ходить друг к другу? С какой целью? Ведь в такое время не на работе только женщины, а что женщины стали бы делать вместе? Сидеть и молча смотреть гольф? Зачем подчеркивать подобными посиделками то, чего мы теперь лишены?

Лишь открыв дверь, я, спохватившись, понимаю, что до сих пор хожу в купальном халате. На пороге стоит Оливия – голова аккуратно обмотана розовым шарфом, из-под которого не выглядывает ни одной случайной пряди волос, ни одного завитка.

Она медленно окидывает меня оценивающим неодобрительным взглядом с головы до ног и молча протягивает мне почти пустой пакет из-под сахара и мерную кружку.

Я молча киваю. Если бы не было этого противного мелкого дождя, я бы, наверное, заставила Оливию ждать на крыльце, а сама бы ушла с ее кружкой на кухню, насыпала в нее сахару и принесла ей. Но я все же делаю соответствующий жест, приглашая ее войти и не стоять среди этой сырости.

Оливия идет следом за мной на кухню, и стопка грязных тарелок в раковине, оставшихся после завтрака, удостаивается столь же неодобрительного взгляда, что и мой купальный халат. Мне страшно хочется влепить ей пощечину или хотя бы сообщить все, что я думаю по поводу ее ханжества. Но, когда я беру у нее мерную кружку, она вдруг

хватает меня за запястье. Пальцы у нее холодные, влажные от дождя.

Я ожидаю каких-то комментариев, хотя бы наглого самоуверенного «Хм?», но Оливия не произносит ни слова, лишь смотрит на мой счетчик, где непрерывно мигает трехзначная цифра.

Потом она по-настоящему улыбается, и эта ее улыбка пробуждает в моей душе воспоминания об иных временах, когда в любое время можно было позвонить в дверь соседке и попросить в долг чашку сахарного песка, полпинты молока или яйцо.

Это было два года назад, когда Оливия вот так неожиданно заглянула ко мне и сразу спросила: «Не возражаешь, если я на минутку присяду?», не дожидаясь, пока я скажу «да, пожалуйста», и сразу пристроив свой довольно-таки обширный зад на диван в гостиной. Телевизор у меня был включен, там шло какое-то ток-шоу, я же тем временем просматривала «синие книги»^[14] выпускников. На экране выступала Джеки Хуарес рука об руку с какими-то еще тремя женщинами, которые были одеты в некую помесь нарядов Донны Рид^[15] и жен астронавтов эпохи «Аполлона».

– О, как *классно* она выглядит, ты не находишь? – усмехнулась Оливия, и я поняла, что это не вопрос.

– Которая из них? – все же спросила я, протягивая ей пластиковую бутылку с молоком.

– Та, что в красном. Она жутко похожа на дьявола в этом своем костюме.

Джеки на сей раз, пожалуй, и впрямь несколько перегнула палку. Ее красное одеяние выглядело как гнойная рана на фоне остальных трех женщин, скучных и бесцветных в своих аккуратных двойках пастельных тонов. Из украшений у каждой из них была лишь нитка жемчуга на шее, но достаточно короткая, чтобы выглядеть как ошейник. Зато у Джеки между сиськами, выпирающими из выреза благодаря ухищрениям современного белья, болталась чудовищная подвеска в виде совы.

– Я ее знаю, – сказала я. – Точнее, знала. Мы вместе учились в аспирантуре.

– В аспирантуре... – повторила Оливия. – И чем же она занималась?

– Социолингвистикой.

Оливия фыркнула, но не попросила меня пояснить, что это такое, а снова повернулась к экрану, где по-прежнему выступал тот квартет женщин во главе с ведущим.

Джеки, как обычно, проповедовала.

– Неужели вы и впрямь полагаете, – вопрошала она, – что женщина обязана во всем слушаться своего мужа? Это в двадцать первом-то веке?

Женщина справа от нее, облаченная в нежно-голубой, точно ползунки младенца, кардиган, терпеливо улыбалась. Такой улыбкой, исполненной жалости, понимания и бесконечного терпения, может, например, улыбаться выведенная из себя воспитательница детского сада, если кто-то из малышей слишком разойдется и устроит тарарам. Ты это перерастешь, говорила ее улыбка.

– Позвольте мне кое-что объяснить вам насчет двадцать первого века, моя дорогая, – сказала эта миссис Голубенький Кардиган. – В двадцать первом веке мы перестали понимать, кто такие мужчины и кто такие женщины. Наши дети растут, не понимая этого. К двадцать первому веку оказалась совершенно разрушена культура семьи. У нас постоянные неполадки в дорожном движении, невероятно загрязнен воздух, все чаще встречаются случаи аутизма, растет потребление наркотиков, чрезвычайно распространены неполные семьи, где родители воспитывают детей в одиночку, у нас повальное ожирение внутри всех возрастных групп, растут потребительские долги, женские тюрьмы переполнены, то и дело стреляют в школах, у мужчин нарушена эректильная функция... Увы, это еще далеко не полный список! – И миссис Голубенький Кардиган взмахнула пачкой белых конвертов, чуть не съездив ими Джеки по носу, а две другие такие же куколочки Барби родом из 1970-х – Истинные Женщины, как они себя называют, – с серьезным видом слушали свою товарку и кивали, явно с ней соглашаясь.

Джеки предъявленные конверты проигнорировала и спросила:

– Полагаю, теперь вы сообщите нам, что именно феминизм является причиной столь участившихся случаев насилия?

– Я рада, что вы об этом упомянули, мисс Хуарес, – сказала миссис Голубенький Кардиган.

– Доктор Хуарес.

– Да как угодно. А вам известно, сколько случаев жестокого насилия, согласно официальной статистике, имели место в 1960-е годы? В Соединенных Штатах, я имею в виду.

– Примечательно, что вы использовали выражение «согласно официальной статистике»... – начала было Джеки, но «Барби в голубом» ее перебила:

– Семнадцать тысяч. Или около того. А в этом году мы в пять раз превысили это число.

Джеки округлила глаза, и две другие Истинные Женщины тут же

дружно встали на тропу войны. У них в руках были цифры. И таблицы. И результаты научных исследований. И одна из них тут же выложила целую кучу каких-то таблиц, отпечатанных типографским способом, – да уж, они ко всему подготовились заранее и все заранее организовали, подумала я, а Джеки, как всегда, рвется в бой с открытым забралом.

Оливия, сидевшая рядом со мной на диване, тихо промолвила, прикусив нижнюю губу:

– Ох, я и понятия не имела...

– О чем?

– Об этих ужасных цифрах. – И она ткнула пальцем в одну из таблиц, которую как раз показывали крупным планом в сопровождении хорошо подготовленных комментариев из уст Голубенького Кардигана. Теперь эта особа вещала уже не о насилии, а, опираясь на данные статистики, рассказывала о превышении всех возможных норм употребления антидепрессантов. – Боже мой... Неужели каждая из шести? Но ведь это просто кошмар!

Никто в студии и не думал обращать внимание на попытки Джеки развенчать правильность этих статистических данных, объяснить, что они самым ханжеским образом подделаны, подтасованы, и обратить внимание присутствующих на тот факт, что в 1960-е никто не использовал такие антидепрессанты, как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, потому что тогда их еще попросту не существовало.

Вот как все это начиналось. С трех женщин, вооруженных пачкой специально отпечатанных в типографии таблиц, и с благоговением внемлющих им людей вроде Оливии Кинг.

Глава десятая

Заставить Оливию убраться из моего дома вместе с ее проклятой чашкой сахара оказалось непросто. Да и сахар-то ей, похоже, нужен не был; просто захотелось под этим предлогом сунуть нос в мой дом и посмотреть, чем я занимаюсь. Оливия давно уже превратилась в самую истинную из Истинных Женщин и вечно торчала в качалке у себя на крылечке, держа на коленях Библию, соответствующим образом адаптированную и снабженную нужными комментариями. Она всегда старательно прикрывала свои тщательно уложенные локоны шарфом или платком, всегда всем улыбалась, а Эвану кланялась – нет, правда, кланялась! – когда он на своем «Бьюике» сворачивал на подъездную дорожку.

Библии были по-прежнему разрешены, но, конечно, только *правильные* Библии.

У Оливии, например, Библия в розовой обложке, а у Эвана – в синей. И невозможно даже представить себе, чтобы они хотя бы случайно их перепутали; во всяком случае, синюю Библию никак невозможно было бы увидеть у Оливии на коленях, когда она сидит на своем тенистом крыльце со стаканом сладкого чая или ездит «по делам» на своем автомобиле. У Кингов две машины, и автомобильчик Оливии значительно компактней и меньше того, на котором Эван обычно уезжает на работу.

А к двум часам дня я уже почти жалею, что Оливия ушла.

Вытащив из морозилки две упаковки гамбургеров, я раскладываю их на кухонном столе, чтобы разморозить. Картошки на всех точно не хватит, тем более аппетит у троих растущих мальчишек просто невероятный, иной раз мне даже кажется, что у них глисты. В общем, придется им сегодня обойтись рисом. Или можно еще испечь печенье, если, конечно, я сумею вспомнить, сколько чего класть в тесто. Я машинально поворачиваюсь к полочке возле кухонного стола и протягиваю руку за своей старой, любимой, покрытой пятнами книжкой «Радости кулинарии», надеясь, видимо, что она все еще там. Но, увы, вместо книги по кулинарии, как и вместо всех прочих книг, на полке теперь только фотографии в рамках – наших детей, моих родителей, родителей Патрика, а также наша с Патриком совместная фотография, сделанная во время последнего отпуска. Это нас щелкнул то ли Сэм, то ли Лео, и я на этом фото получилась как бы разрубленной пополам – правая половина моего лица полностью скрыта за рамкой из палочек от мороженого, которую Соня сделала в школе.

Очевидно, на уроках труда они по-прежнему мастерят всякие дурацкие «поделки».

Если время от времени переставлять эти фотографии, полочка перестает казаться такой пустой и заброшенной, так что я переставляю их так и сяк, затем помещаю на освободившееся место кухонный таймер и весы и отступаю на шаг, чтобы полюбоваться своими достижениями. Применяв капельку воображения, я могу убедить себя, что только что создала некий шедевр типа того, который какой-то идиот, черт бы его побрал, вздумал создать на горе Рашмор^[16]. Так я скоро начну еще и магнитики на холодильнике переклеивать.

Мои мама и папа теперь стали куда более продвинутыми пользователями современных гаджетов, чем до этих событий последних лет и перемен в «интерьере» нашей страны. И я совсем не уверена, что мне это так уж нравится. Они сами звонят нам из Италии или же беседуют с нами по скайпу – вот только свой лэптоп Патрик держит взаперти у себя в кабинете; компьютер у него снабжен и «клавиатурным шпионом», и камерой, и тысячью всяких других прибулд. Обычно мои родители связываются с нами по воскресеньям, когда Патрик и дети дома и они наконец могут поздороваться со всей нашей семьей, несмотря на разницу во времени. Вообще-то подобное общение должно, видимо, доставлять радость, но под конец каждого разговора мама заливается слезами и поспешно исчезает из поля зрения или передает телефонную трубку папе, чтобы совсем уж не разрыдаться.

Итак. Обед.

Понимая, что дети были бы в восторге от домашнего печенья, я натягиваю джинсы и старую льняную блузку и все же собираюсь рискнуть и посетить супермаркет, но тут вдруг слышу рядом с домом знакомый рев машины Патрика. Я сразу узнаю его автомобиль – уж это-то искусство я отточила за последний год до предела. Назовите мне любой автомобиль – «мустанг», «корвет», «приус», «мини-купер» – и я узнаю его по звуку работающего двигателя.

Но я встревожена отнюдь не тем, что Патрик неожиданно вернулся домой так рано. Осторожно раздвинув планки жалюзи и выглянув наружу, я вижу, как следом за Патриком к нашему дому сворачивают три черных SUV^[17]. Я уже видела такие автомобили и раньше.

И то, что у них внутри, я тоже видела.

Глава одиннадцатая

Ах, черт побери!

Три машины – значит, по крайней мере, трое мужчин. И что-то мне подсказывает, что это отнюдь не волхвы, дары приносящие. Уж сегодня-то точно никаких «даров» не будет – после моего ночного выступления на заднем дворе.

Наверняка мне прочтут лекцию. А может, и еще как-то накажут.

Миссис Макклеллан, вы имеете право хранить молчание...

Ладно. Глупая шутка.

Я отпускаю планки жалюзи, и они тут же возвращаются на свое место, и я тоже возвращаюсь на свое место, то есть на кухню, готовясь продемонстрировать неожиданным гостям свою лучшую маску в стиле Донны Рид (придется, правда, обойтись кухонным фартуком) и явить собой картину истинного семейного счастья и уюта. По дороге на кухню я успеваю еще схватить пульт и переключить телевизор с гольфа на Си-эн-эн. Канал, конечно, уже не тот, что раньше – все теперь не то, – но, пожалуй, у Патрика будет больше шансов сохранить за собой прежнюю должность, если все будет выглядеть так, словно я, ничуть не опасаясь передозировки, столовыми ложками лопаю президентскую пропаганду, а не плююсь бессмысленно на то, как чьи-то наманикюренные пальцы сжимают клюшку и посылают мяч в лунки.

На «бегущей строке» я успеваю прочесть лишь слова «Президент объявляет...», и в эту секунду в мое пространство вторгаются Патрик и его неожиданный «эскорт» – я была не права, их целых шестеро, крепких мужчин в деловых костюмах.

– Джин Макклеллан? – задает вопрос первый из них, загорелый и состоящий, кажется, из одних углов.

Я, разумеется, и раньше его видела. Все его видели уже много раз, только раньше он, появляясь на публике, всегда надевал не галстук, а черно-белый воротничок священника. Когда в воскресенье утром – мы с Джеки в это время как раз вливали в себя черный кофе, пытаюсь разогнать субботнее похмелье, – он появлялся на экране телевизора, такая звезда своего собственного шоу, Джеки тут же прибавляла звук, словно боялась пропустить хоть одно его слово; она утверждала, что эти выступления ее бодрят, еще больше распаляя ее гнев.

– Ты слушай, слушай, – говорила она мне. – Наш святой Карл вот-вот снова начнет всякие штуки откалывать.

А вскоре он стал появляться на экране уже в министерской форме, но опять же с проповедями, и каждое воскресенье поочередно вещал то о падении устоев «истинной американской семьи», то о том, какое это счастье – «предать себя во власть Божию». Он с успехом использовал в своих проповедях и исторические анекдоты, и случаи из реальной жизни, а по нижнему краю телеэкрана все время полз один и тот же номер телефона для бесплатных звонков. Через несколько лет там появился и второй номер, а в последнее время – еще и адреса в Фейсбуке и в Твиттере. Господь послал ему интернет-трафик, говорил преподобный Карл, и это только естественно – пользоваться всеми средствами, какие дает Господь.

Но в те годы ни Джеки, ни я даже представить себе не могли, сколько у Карла Корбина появится последователей – куда больше, чем несколько сотен южан-баптистов с берегов Миссисипи, как нам казалось сперва.

Как же мы обе заблуждались!

– Доктор Джин Макклеллан?

Ого, это уже что-то новенькое! Я перестала быть «доктором» примерно с прошлой весны. Вот и Патрик уже улыбается. Я молча киваю – ведь сказать я все равно ничего не могу.

И слышу, как в гостиной одна из «говорящих голов» произносит с экрана телевизора два магических слова: *мозговая травма*.

Уже этих нескольких слогов мне достаточно, чтобы насторожить уши, но все прочие слова, окружающие эти несколько слогов, и вовсе бьют в меня с силой взбесившейся электрички. *Президент. Несчастный случай на лыжах. Брат*.

– Доктор Макклеллан, у нас возникла некая проблема. – Это снова преподобный Карл. Надо сказать, в реальной действительности он куда меньше похож на сладкую бело-розовую пастилу и куда больше – на гриб-поганку. Когда он выступает перед телевизионной камерой в поддержку нашего президента, у него все сладкое, и голос, и внешность.

– Потрясающе. Ну, так и решайте ее, – говорю я. – И вообще, я вам что? Гребаный Хьюстон?^[18]

Нет, неправда. Ничего такого я не говорю. Я вообще не произношу ни слова.

– Джин, – говорит Патрик. Не «детка», не «милая». Такие нежные словечки, какими обычно пользуются любящие супруги, сейчас неуместны. Сейчас Патрик настроен ужасно по-деловому. – Джин, кое-что случилось.

А Си-эн-эн по телевизору уже трубит во все трубы. Я краем глаза

успеваю заметить мелькнувший на экране заснеженный горный склон и лицо Того, Кто Правит Свободным Миром, а рядом с ним, разумеется, лицо Анны, очаровательной в своем сине-бежевом ансамбле. И мне почему-то кажется, что на самом деле она улыбается. Пусть только глазами.

Преподобный Карл делает некий жест, и один из его спутников заходит ко мне на кухню. Мне, в общем-то, это вторжение безразлично, но уж если я должна оставаться безмолвным домашним животным, так дайте мне, по крайней мере, возможность иметь хоть какую-то собственную нору или хотя бы стойло. Собственное домашнее святилище, так сказать.

– Приступайте, Томас, – приказывает Карл.

Вот тут-то и происходит нечто совсем уж странное.

Этот Томас – на нем удивительно мрачный офисный костюм, а на лице еще более мрачное выражение, – тянется к моему левому запястью, и я инстинктивно отдергиваю руку, точно испуганная бродячая собака, прекрасно знающая, какую боль причиняют разные ловушки. Но тут ко мне подходит Патрик.

– Все хорошо, детка, – успокаивает он меня. – Не волнуйся и позволь им это сделать.

А Томас свободной рукой извлекает какой-то маленький ключик, очень похожий на ключ от кабины лифта, такой округлый простенький ключик, который и годится-то лишь для одной цели. Эта штуковина заставляет меня вспомнить множество других, довольно нелепых, приспособлений, способных делать только что-то одно: открывалки для банок, выжималки для лимонов, резалки для дынь. У нас ведь так много подобных вещей.

И где только мы набрались подобной хрени? Покупной «свадебный дождь», покупные «свадебные подарки», покупные «рождественские чулки с подарками» – импульсивные покупки в Икее. Все это бессмысленное и бесполезное барахло, принесенное в качестве подарка, затем прячут в кухонные шкафы и чуланы, даже не вынув из коробки. Вот о чем думаю я, пока Томас освобождает меня от счетчика, этого высокотехнологичного эквивалента открывалки для пивных бутылок.

– Теперь вы можете говорить, доктор Макклеллан. – И преподобный Карл жестом радушного хозяина приглашает меня пройти в мою собственную гостиную.

И это за сегодняшний день еще далеко не последняя его роль-перевертыш. Впрочем, все, чего они хотят, я уже поняла из программы Си-эн-эн, без конца повторяющей историю о том, как брат президента упал, катаясь на лыжах, и постепенно знакомящей зрителей с подробностями полученной им травмы – повреждено заднее левое полушарие головного

мозга; оно жизнеспособно, но коммуникативные функции нарушены, речь абсолютно бессвязная. В общем, мне совершенно ясно, что нужно преподобному Карлу и его команде.

Им нужна я.

Вот если бы Анна Майерс, катаясь на лыжах, получила такую травму, налетев на дерево, я бы бросилась к ней на помощь, не раздумывая ни секунды. Вот только вряд ли тогда за мной приехали бы такие «важные» мужчины на черных SUV, прекрасно знающие, что жена президента лежит в палате интенсивной терапии.

– И что вы хотите от меня услышать? – Слова медленно, осторожно вытекают у меня изо рта, пока я выхожу из кухни и направляюсь напрямик к телевизору, выключаю его и сажусь в одно из боковых кресел. Я не желаю делить пространство ни с кем из этих людей.

– Жарко здесь, – говорит преподобный Карл, поглядывая на холодильник.

– Да, жарковато, – откликаюсь я.

Кто-то из его свиты – но не Томас – выразительно кашляет.

Я делаю вид, что поняла намек, и говорю:

– Патрик, дорогой, раз уж ты все равно на кухне, так, может, нальешь нашим гостям холодной водички?

И Патрик наливает воду, и приносит поднос со стаканами в гостиную, и все, естественно, замечают, как неодобрительно качает головой преподобный Карл. Ведь именно мне, жене, полагается обслуживать гостей.

– Итак? – говорю я. – Насколько я поняла, у Бобби Майерса мозговая травма? Локализация?

Преподобный Карл устраивается на козетке напротив моего кресла и предлагает Патрику:

– Вы же медик, Патрик, так, может быть, покажете ей отчет, полученный по факсу сегодня утром из госпиталя?

И мой муж, которого этот гнусный тип, с такой легкостью год назад надевший на меня проклятый металлический наручник, запросто называет по имени, подчиняется: предложив гостям принесенные им стаканы с водой, он вытаскивает из-под мышки тонкую папку и протягивает мне.

– По-моему, Джин, тебя должно это заинтересовать.

О да, я, безусловно, заинтересована. Собственно, весь текст уместился на первой же странице, и уже на второй строчке мои глаза отыскивают причину столь неожиданного визита преподобного Карла: поврежден задний отдел головного мозга. Верхняя височная извилина. Левое

полушарие. Пациент – правша, значит, у него левое полушарие доминантное.

– Зона Вернике, – говорю я, ни к кому конкретно не обращаясь, и продолжаю читать, чувствуя, какой непривычно легкой кажется мне моя левая рука, и на ней, на запястье, прямо-таки светится полоска незагорелой кожи – такое ощущение, словно я сняла наручные часы и собираюсь нырнуть в бассейн. Один из секретных агентов – я полагаю, что это именно они, особенно если учесть присутствие Карла Корбина, – невольно потирает собственное запястье, и я замечаю у него на безымянном пальце левой руки простое золотое кольцо. Значит, он женат и все понимает. Зато мне непонятно, в каком он лагере; как, впрочем, и Патрик. Все эти слуги государства обучены следовать за своим хозяином, точно щенки.

Услышав мое замечание, преподобный Карл кивает:

– Да. И президент очень обеспокоен.

«Еще бы!» – думаю я. Господин президент весьма сильно зависит от своего старшего брата, и ему, черт возьми, придется ох как нелегко, когда он попытается либо что-то сообщить Бобби, либо что-то у него узнать. Примеры подобных будущих разговоров сами собой возникают в моем мозгу:

«В Афганистане сложилась весьма сложная ситуация, Бобби», – скажет президент.

А Бобби в ответ заявит что-нибудь такое: «Симпатично мерцают твои банановые страсти». И при этом речь его будет вполне ясной, членораздельной и плавной, каждый звук будет идеально артикулирован, но в итоге получится абсолютнейшая чушь: не шифровка, не некая недоговоренность, не детская игра, а самая настоящая чепуха, какую обычно несут те, кого когда-то было принято называть идиотами – в клиническом смысле этого слова.

Я изо всех сил стараюсь сдержать улыбку, и для этого мне приходится довольно сильно прикусить себе щеку изнутри – в данный момент я просто обязана сохранить на лице выражение полнейшей серьезности, глубокой озабоченности и осознания собственного долга.

Я внимательно просматриваю остальные страницы. На снимках, сделанных МРТ, или магнитно-резонансным томографом, отчетливо видны серьезные повреждения именно там, где я и предполагала, – в цитоархектоническом поле Брамана 22.

– Травма получена в результате падения? Во время лыжной прогулки? – спрашиваю я. – Никаких указаний на повреждения, полученные ранее, не имеется?

Ну, конечно же, они не знают. В тридцать четыре года мужчины вряд ли имеют привычку регулярно прибегать к сканированию головного мозга – по крайней мере, без особой на то необходимости.

– Он когда-либо раньше страдал от головных болей?

Преподобный Карл пожимает плечами.

– Это «да» или «нет», преподобный отец? – спрашиваю я.

– У меня таких сведений нет.

Тогда я поворачиваюсь к Патрику, но он только головой качает:

– Ты пойми, Джин: мы не имеем права раскрывать информацию, касающуюся медицинской истории членов президентской семьи.

– Но вы же хотите, чтобы я вам помогла?

– Вы наш ведущий эксперт, доктор Макклеллан. – Преподобный Карл то ли подошел на шаг, то ли просто наклонился, опершись о кофейный столик, но его лицо – сплошные резкие линии – вдруг оказалось совсем рядом с моим лицом, буквально в паре дюймов от него. В нем явственно чувствуется нечто злое, враждебное, и все же, надо признаться, он по-прежнему весьма недурен собой. Пиджак свой он так и не снял, несмотря на жару, но и под пиджаком чувствуется, какое крепкое, тренированное у него тело. А ведь многие женщины – особенно такие, как Оливия Кинг, – думаю я, наверняка тайно в него влюблены.

Искушение поправить его и подсказать, что использование настоящего времени в данном случае совершенно неуместно, слишком велико, чтобы перед ним устоять, и я говорю:

– *Была*, преподобный отец. Я *была* ведущим экспертом. И вряд ли должна напоминать вам, что весь последний год была отлучена от работы.

Преподобный Карл никак на мое ядовитое замечание не реагирует и снова усаживается поудобней, сложив руки перед собой так, что его длинные пальцы образуют идеальный равнобедренный треугольник. Может, он специально упражняется в этом перед зеркалом?

– Что ж, именно поэтому мы вас сегодня и навестили. – Он делает многозначительную паузу – он и во время своих телевизионных проповедей очень любит прибегать к подобному театральному эффекту, что, на мой взгляд, является несколько избыточным и даже каким-то суетным.

Но я уже знаю, что он собирается сказать дальше, и перемещаю свой взгляд сперва на Патрика, а затем и на остальных людей, заполнивших нашу гостиную.

– Доктор Макклеллан, – торжественно произносит преподобный Карл, – мы бы хотели, чтобы вы присоединились к нашей команде.

Глава двенадцатая

К нашей команде.

Сто ответов кипят, пузырятся в моей душе, и девяносто девять из них означают отставку – или даже что-то хуже – для Патрика. Но я не чувствую ни малейшей заинтересованности, ничего хотя бы близкого к желанию немедленно взяться за работу, я даже слов подходящих не могу найти, чтобы как-то завуалировать это мое нежелание. А вместо радостного возбуждения при мысли о своих заброшенных исследованиях я испытываю где-то глубоко внутри сильную боль, словно преподобный Карл пользуется не словами, а острыми когтями, которые и вонзает в меня с сатанинским сладострастием. Возможно, в данный момент я им действительно очень нужна, однако их потребность в моих услугах отнюдь не равносильна моему собственному желанию. И потом, я попросту никому из этих людей не верю.

– А выбор у меня есть? – спрашиваю я. Этот вопрос кажется мне достаточно безопасным.

Преподобный Карл расцепляет свои пальцы, разделяет ладони и возносит руки в своем знаменитом жесте молящегося святого. Я неоднократно видела этот жест по телевизору, когда Карл о чем-то просил: о помощи, о том, чтобы среди его паствы появилось как можно больше Истинных Женщин, Истинных Мужчин, Истинных Семейств, или же просто о сборе денежных средств. Но сейчас мне его воздетые в молитвенном жесте руки кажутся похожими на тиски, и тиски эти готовы так сдавить меня, что я попросту взорвусь.

– Разумеется, есть, – говорит он, и голос его звучит как-то чересчур великодушно, с этакой фальшивой добротой. – Я понимаю, какие чувства вы сейчас, должно быть, испытываете, как трудно будет вам оставить свой дом и детей, как непривычно будет вновь оказаться в беличьем колесе трудовых забот... – Он делает вид, будто подыскивает нужные слова, а на самом деле обшаривает глазами мой дом, где, как всегда, царит беспорядок: три пары моих туфель так и валяются там, где я их сбросила с ног еще на прошлой неделе; подоконники покрыты слоем пыли; прямо под ногами у Карла на ковре расплылось старое пятно от пролитого кофе.

Асом домоводства я никогда не была.

А он продолжает:

– Мы побеседовали и с другим ученым, доктором Кван, на тот случай,

если нам потребуется ее поддержка. Вы, я полагаю, знаете доктора Кван?

– Да, конечно.

Лин Кван возглавляет наш отдел. Точнее – возглавляла, пока ее не убрали, заменив первым попавшимся *мужчиной*. И сейчас можно даже не спрашивать, почему они не обратились за помощью именно к нему – если Лин уперлась, то этому типу, а я хорошо его знаю, моментально обрежут все фонды после первого же неудачного эксперимента. Ведь он абсолютно ни на что не годен.

– Итак, – говорит преподобный Карл, – у вас два варианта. – Руки он теперь опустил и на меня больше не смотрит. Зато он пристально смотрит на тот стальной наручник, который Томас вот уже минут двадцать держит наготове. – Выбирайте: либо вы создаете новую лабораторию, заново начинаете свои исследования и продолжаете двигаться вперед, либо...

– Либо? – спрашиваю я, глядя Патрику прямо в глаза.

– Либо все снова вернется к привычному для вас положению вещей. Не сомневаюсь, ваша семья этому только обрадуется. – Говоря это, он тоже смотрит исключительно на Патрика, словно пытаюсь понять, какова будет реакция моего мужа.

Господи, думаю я, да разве мы успели за этот год хоть как-то привыкнуть к установившемуся порядку! И тут меня осеняет: а ведь Карл Корбин, пожалуй, и в самом деле верит в то, что проповедует. Раньше мне казалось, что он соткал эту паутину, это Движение Истинных, исключительно из женоненавистнических соображений, желая возродить викторианский культ семейных ценностей и удержать женщин от какого бы то ни было участия в общественной жизни. В какой-то степени мне даже хочется, чтобы это мое предположение оказалось правдой; это было бы не так подло, как нынешняя альтернатива.

Собственно, первым, кто открыл мне глаза, был Стивен; это произошло года два назад, воскресным утром.

– Ну что ты, мам, это же вроде как наша традиция. Как в старые времена.

– В старые? Это в какие же «старые»? Ты имеешь в виду Древнюю Грецию? Шумер? Вавилон?

Стивен насыпал в плошку вторую порцию хлопьев, порезал два банана, вмешал их туда и хорошенько залил все это молоком. Глядя на это, я подумала: к пятнадцатилетию Сэма и Лео мне придется купить фьючерсы в «Чириос».

– Ну да. Это ведь у греков возникла мысль об отделении сферы общественной от сферы личной, но корнями-то эта идея уходит в куда

более древние времена. Вспомни первобытно-общинный строй, когда люди занимались охотой и собирательством. Мы чисто биологически приспособлены для разных вещей.

– Мы? – переспросила я.

– Мужчины и женщины, мам. – Он перестал хрустеть хлопьями и продемонстрировал мне свою согнутую в локте правую руку. – Видишь? У тебя таких мускулов не будет, даже если ты каждый день в течение целого года станешь в спортзале потеть. – Он, должно быть, понял по моему лицу, что этот довод меня ни капельки не убедил, и несколько сменил направление. – Я не хочу сказать, что ты вообще слабая. Просто ты другая, чем я.

Господи.

Я ткнула пальцем себе в висок.

– Видишь эту голову, деточка? Может быть, если ты поучишься хорошенько еще лет десять, то и твои мозги разовьются примерно до того же уровня. А может, и нет. И возможность подобного развития интеллекта не имеет, черт побери, ни малейшего отношения к гендерным различиям. – Я почувствовала, что мой голос начинает звенеть от гнева.

– Успокойся, мам.

– Не смей говорить мне «успокойся»!

– У тебя уже чуть ли не истерика начинается. Я ведь только сказал, что есть определенный биологический смысл в том, чтобы женщины занимались одним, а мужчины – другим. Ну, например, ты вот отличный университетский преподаватель, но ведь ты, должно быть, и часа не продержишься, если тебе, скажем, придется все время канавы копать.

Вот оно.

– Я ученый, Стивен, а не воспитательница детского сада. И никакая истерика у меня не начинается.

Ну, пожалуй, истерика-то была очень близка.

Во всяком случае, руки у меня здорово дрожали, когда я наливала себе вторую чашку кофе.

Но Стивену все еще было мало. Он вытащил свой учебник для этого подготовительного курса по религиоведению – религиозному бредоведению 101 или как он там называется – и начал зачитывать:

– «Женщина не имеет тяги к избирательной урне, но у нее есть собственная сфера, сфера удивительно ответственная и важная. Небеса назначили женщину хранительницей домашнего очага... и она должна бы в полной мере осознать, что ее положение жены и матери, ангела-хранителя всей семьи – это наиболее священное, наиболее ответственное и поистине

царственное положение среди всех прочих смертных; и ей следовало бы презреть все прочие амбиции и стремления, ибо нет на свете более высокого положения и предназначения». Между прочим, мама, это слова преподобного отца Джона Мильтона Уильямса. Видишь? Ты царственна.

– Ага, я в восхищении. – Мне просто необходимо было выпить третью чашку кофе, но я не хотела, чтобы Стивен заметил, до какой степени я на взводе, так что кофейник и чашка так и остались на кухонной стойке. – По-моему, тебе все-таки следовало бы отказаться от этого курса.

– Ты что?! Это невозможно, и потом я уже увлекся. Там точно есть над чем поразмыслить. Даже кое-кто из наших девочек так считает.

– Вот уж в это мне определенно поверить сложно, – сказала я, не особенно заботясь о том, чтобы скрыть прозвучавшую в моем голосе фальшь.

– Но это так. Вот, например, Джулия Кинг...

– Джулию Кинг пока что нельзя считать полноценной представительницей женского населения страны. – *Бедная девочка*, подумала я. Интересно, что сотворили со своей дочерью наши ближайшие соседи, чтобы до такой степени промыть ей мозги? – Нет, правда, Стивен. Откажись от этого курса.

– Нет.

Пятнадцать лет. Возраст неповиновения. Я хорошо это понимала – я и сама когда-то была такой.

На кухню зашел Патрик, вылил в кружку остатки кофе и туда же свалил из миски Стивена остатки хлопьев с бананами и молоком.

– Что тут у вас происходит? – спросил он, проведя ладонью по волосам Стивена, а меня клюнув в щеку. – Пожалуй, рановато для домашних разборок.

– Мама хочет, чтобы я отказался от подготовительного курса по религиоведению.

– А почему? – спросил Патрик.

– Не знаю я. У нее спроси. По-моему, ей наш учебник не нравится.

– Ваш учебник – полное дерьмо, – без обиняков заявила я.

Патрик взял учебник в руки, перелистал, точно детскую книжку с картинками, и сообщил:

– А по-моему, не так уж и плохо.

– А ты попробуй его почитать, милый, может, у тебя совсем другое мнение появится.

– Да ладно тебе, детка. Пусть слушает те курсы, какие сам хочет. В конце концов, это ничему не повредит.

Наверное, в этот момент я впервые и возненавидела своего мужа.

И вот теперь я сижу у себя в гостиной и с ненавистью посматриваю на тех семерых мужчин, что сидят и стоят вокруг меня, рассчитывая, что я вот-вот «присоединюсь к их команде».

– Мне бы хотелось уточнить кое-какие детали, – говорю я. Может, они не сразу заметят, что я вожу их за нос?

Вы вполне можете подумать, что я спятила, раз немедленно не схватилась за первую же возможность вернуться к любимой работе. В общем, я могу вас понять.

Нам, безусловно, пригодилась бы моя зарплата. И я, конечно же, истосковалась по исследовательской работе, по своим книгам, по общению с Лин и моими верными помощниками-аспирантами. Я истосковалась по нормальным, интересным разговорам.

Но более всего мне весь этот год не хватало надежды.

А ведь мы, черт побери, были так близки к цели!

Это была идея Лин: бросить нашего едва оперившегося птенца – работу над афазией Брока, связанную с частичной потерей речи, – и заняться исключительно афазией Вернике. Рациональное зерно ее рассуждений было мне понятно: пациенты с афазией Брока заикались и запинаясь, испытывая при попытках говорить невероятные страдания, но все же были способны делать это осмысленно. По большей части их способность воспринимать чужую речь и пользоваться словами родного языка осталась неповрежденной; у них была лишь резко ослаблена способность превращать слова в связные предложения – вследствие инсульта, или падения с лестницы, или иной травмы головы, полученной, например, во время странствий по некой пустынной стране в военной форме американского свободного мира. Но эти люди вполне слышали и понимали своих жен, дочерей и отцов, которые всячески их поддерживали и подбадривали. А вот жертвы других обстоятельств – те, у кого повреждение головного мозга оказалось куда серьезней, как, например, у Бобби Майерса, – понесли более страшные потери. Их речь превратилась в некий не имеющий выхода лабиринт бессмыслиц, в набор слов, утративших свое прежнее значение. По-моему, примерно те же чувства должен испытывать человек, потерявшийся в открытом море.

Так что если честно, то мне, конечно же, хочется вернуться на работу. Хочется вновь упорно колдовать над нашей сывороткой и наконец – как только я буду окончательно к этому готова – ввести ее в старые вены миссис Рей. Я хочу снова услышать ее рассказы о дубе виргинском, о магнолии звездчатой, о сирени обыкновенной – как она делала это, когда

впервые появилась у меня дома, лучше любого парфюмера определяя и описывая аромат зеленого дуба, или гигантских магнолий с цветами-звездами, или чудесной сирени. Все это она считала даром божьим, и я абсолютно спокойно эту терминологию терпела. Чьим бы даром вся эта красота ни была – ее или Его, – она, безусловно, была также следствием замечательной профессиональной работы с деревьями и цветами.

А также, если честно, мне попросту плевать и на нашего президента, и на его братца, да и на любого мужчину.

– Ну, доктор Макклеллан? – Это снова преподобный Карл.

Как мне хочется сказать ему «нет».

Глава тринадцатая

Господи, до чего же здесь жарко! Наверно, кондиционер снова потек. И почему это нам всегда так везет?

Я встаю, джинсы так и липнут к моему заду, тащусь на кухню, наливаю себе стакан холодной воды и зову Патрика:

– Можно тебя на минутку? Мне помощь требуется. – И Патрик, собрав в гостиной пустые стаканы, послушно приходит на мой зов.

Я быстренько сую в морозилку один стакан за другим, а он, взяв меня за левое запястье, спрашивает:

– Ты же не хочешь, чтобы та штуковина снова на твою руку вернулась?

Я мотаю головой – но скорее по привычке.

– Тебе лучше воспринимать это как обыкновенную сделку, детка. Что-то получают они, а что-то – ты.

– Я бы предпочла воспринимать это именно так, как есть на самом деле. А на самом деле это самый настоящий гребаный шантаж.

Патрик вздыхает так тяжело, словно задерживал у себя в легких целую вселенную.

– Пусть так, но тогда сделай это ради детей.

Ради детей.

Стивену все равно. Он страшно занят: заполняет анкеты для колледжа, пишет экзаменационные эссе и зубрит материал к экзаменам, которые уже на носу. К тому же он весь семестр паялился на Джулию Кинг. Близнецам всего одиннадцать, и у них есть футбол и Little League^[19]. А вот о Соне забывать нельзя. И уж если я все-таки соберусь обменять свои мозги на возможность говорить, то сделаю это ради нее.

Видимо, мысли у меня в голове с таким шумом вращаются в своем «беличьем колесе», что Патрик замечает это, прекращает возню со стаканами, отставляет в сторону поднос и поворачивает меня лицом к себе.

– Сделай это хотя бы ради Сони.

– Но сперва я хочу узнать обо всем как можно подробнее.

И, как только я возвращаюсь в гостиную, мне это удается.

Преподобный Карл уже успел превратиться из политика в торговца и уверенно меня соблазняет.

– Разумеется, на все время работы над проектом ваш наручный счетчик будет снят, доктор Макклеллан. Если, конечно, вы согласитесь...

Вам предоставят первоклассную лабораторию, любые необходимые средства и любых помощников. Мы можем также... – он сверяется с каким-то документом, достав его из другой папки, – предложить вам очень приличную стипендию и дополнительный бонус в том случае, если вы сумеете исцелить больного в течение ближайших девяноста дней.

– И что будет после? – спрашиваю я, снова усаживаясь в кресло и чувствуя, что джинсы вновь мгновенно прилипают к моему заду.

– Ну... – Он, словно ища подсказки, поворачивается к одному из секретных агентов.

Тот кивает.

– Я снова вернусь к сотне слов в день? – догадываюсь я.

– На самом деле, доктор Макклеллан – учтите, я говорю это вам строго конфиденциально, понимаете? – мы будем понемногу увеличивать квоту, начиная с некоего определенного момента в будущем, когда все вновь вернется на круги своя.

Так, это уже что-то новенькое. Я решаю подождать еще; мне хочется посмотреть, какие еще конфиденциальные подачки вытащит у себя из рукава преподобный Карл.

– Мы очень надеемся... – теперь он полностью вернулся к роли проповедника, – что со временем люди успокоятся и обретут опору в новом ритме жизни, вот тогда эти глупые маленькие браслеты больше никому не понадобятся. – Он пренебрежительно взмахивает рукой, словно речь идет о каком-то жалком модном аксессуаре, а не об орудии пытки.

Конечно, боль мы испытываем, только если нарушаем правила.

Я помню тот день, когда узнала об этих правилах.

Мы потратили на это всего минут пять в одном из белоснежных правительственных учреждений. Мужчины там, помнится, все за что-то мне выговаривали, но по-человечески так ни разу со мной и не поговорили. Затем они сообщили мне, что Патрика обо всем уведомят и дадут ему соответствующие инструкции, а к нам домой пришлют некую команду – сегодня вечером вам удобно? – которая установит камеры наблюдения на передней и задней дверях дома; эти люди также отберут у меня компьютер, упакуют в коробки все наши книги, даже Сонин букварь «Ребенок учит алфавит», и запрут у Патрика в кабинете. Детские настольные игры тоже будут сложены в коробки и отправятся в кабинет. А Соню, которая всего пять лет назад перестала быть частью моего тела, начав самостоятельную жизнь в этом мире, мне надлежало завтра в полдень привести сюда же, чтобы и на ее тоненькое запястье надели такой же браслет-счетчик. У них имелся огромный выбор этих штуковин, прямо-таки радуга красок, и мне

было предложено выбирать любой.

– Для маленькой девочки, пожалуй, лучше всего нежно-розовый, – посоветовали они мне.

Но я выбрала себе серебристый, а Соне кроваво-красный. Обычный маленький акт неповиновения.

Затем один из них куда-то ушел и вернулся с тем счетчиком, которому предстояло заменить у меня на запястье часики «Эплл», которые Патрик в прошлом году преподнес мне в качестве рождественского подарка. Металлический браслет оказался довольно легким, гладким на ощупь и ощущался у меня на коже как-то непривычно.

Тот же человек настроил счетчик в соответствии с тембром моего голоса, поставил его на ноль и отправил меня домой.

Естественно, я не поверила ни одному их слову. Ни тем рисункам, в которые они тыкали пальцем, демонстрируя мне всякие иллюстрированные руководства, ни предупреждениям Патрика, который все-таки снова прочел мне эту инструкцию вслух, пока мы с ним на кухне пили чай. Когда Стивен и близнецы ворвались в дом, вернувшись из школы, наперебой выкладывая новости о футболе и о результатах экзаменов, а Соня, забросив любимых кукол, занялась своей новой «игрушкой» – блестящим красным браслетом, на который она смотрела как замороженная, – у меня словно прорвало плотину. Слова лились из меня потоком, и я никак не могла их обуздать. Сама того не сознавая, я наполнила комнату сотнями ярких слов, всех цветов и форм. Но в основном эти слова принадлежали к мрачной, синечерной части спектра и были острыми как кинжалы.

Боль буквально сбила меня с ног, заставив рухнуть ничком.

Наш организм обладает определенным механизмом, позволяющим забыть физическую травму или, скажем, родовые муки. А потому, как это было и после родов, мне удалось заблокировать все воспоминания о боли, ассоциировавшиеся с тем днем, но я так и не смогла забыть слезы на глазах у Патрика и искаженные от ужаса лица моих сыновей, а на заднем плане радостные попискивания Сони, играющей со своим красным браслетом. И еще кое-что я запомнила отчетливо – как она, моя маленькая девочка, поднесла к губам это вишневое чудовище, словно целуя его.

Глава четырнадцатая

Слава богу, они наконец уходят.

Преподобный Карл ныряет в свой «ренджровер», тайные агенты и Томас садятся в другие автомобили, а мы с Патриком остаемся у себя в гостиной в окружении восьми пустых стаканов из-под воды, под которыми на подставках еще не высохли мокрые кружки.

Ничего так и не было решено.

Патрик меряет шагами комнату, он весь взмок, и волосы его, обычно тщательно уложенные гелем, светлыми сосульками свисают на лицо. В данный момент он похож не на моего мужа, а на сидящего в клетке крупного хищника из породы кошачьих. Или, может, на одичавшего пса; да, пожалуй, все-таки на пса, ведь собаки – стайные животные.

– Они же не снимут с Сони счетчик, – говорю я.

– Снимут. Но не сразу. Ты только представь, что будет в школе, если она появится там без...

– Не смей называть это браслетом! – сердито прерываю его я.

– Хорошо. Без этого счетчика.

Я составляю стаканы на поднос, стараясь пользоваться только большим и указательным пальцами – мне и двумя-то пальцами не хочется к ним прикасаться, – а уж после того, как мне пришлось пожать руку преподобному Карлу, я испытываю непреодолимое желание оттереть свою ладонь щелоком.

– А разве сам ты не можешь как-то на них повлиять? Ты же сказал, что это сделка, так давай вместе с ними торговаться. Предположим, я дам этим ублюдкам согласие выйти на работу, но пусть тогда и они дадут моей дочери возможность свободно разговаривать.

– Я посмотрю, что тут можно сделать.

– Патрик, ты же гребаный советник президента по науке! Так что ты уж лучше все-таки постарайся сделать хоть что-нибудь!

– Джин.

– И нечего твердить «Джин, Джин»! – И я изо всех сил бью по столу рукой с зажатым в ней стаканом. Стакан, естественно, разлетается вдребезги.

Патрик мгновенно склоняется надо мной, промокая кровь, льющуюся из моей разрезанной ладони.

– Не прикасайся ко мне! – Один тонкий осколок вонзился мне прямо

под большой палец. Оттуда-то в основном и льется кровь. Довольно обильно льется.

Сунув раненую руку под кран, я смотрю, как вода омывает мою рану, и мысленно возвращаюсь на полчаса назад, в тот момент, когда преподобный Карл «держал двор» у нас в гостиной, посвящая меня в свои планы на будущее.

Что-то во всем этом было не так. Возможно, его глаза, которые не улыбаются, когда улыбался его рот. Или само построение его фраз. Казалось, что каждое предложение как-то слишком хорошо отрепетировано, выучено прямо-таки «на отлично» и в плане голосовых модуляций, и в плане интонаций. И все-таки в его речи чувствовалась неуверенность – слишком много было всяких «хм» и «э-э-э», засорявших его плавный рассказ о различных президентских намерениях, всевозможных переменах, модификациях и освобождениях от обязательств.

Я, правда, не смогла бы сейчас точно назвать то мгновение, когда поняла, что не верю ни одному его слову.

– А что, если они в очередной раз затеяли какую-то гнусную игру, Патрик? – громко спрашиваю я под аккомпанемент льющейся воды. Патрик молчит, он пинцетом вытаскивает из моей руки кусочки стекла и бросает их в мусорное ведро. Я отворачиваюсь; мне не хочется на это смотреть: слишком сильно эти осколки напоминают наш разваливающийся брак.

Но ведь так было далеко не всегда. Четверо детей случайно не рождаются.

Я все еще стою у раковины, и Патрик снова подходит ко мне, тщательно, как это умеют только врачи, моет руки до самых локтей, потом вопросительно на меня смотрит и осторожно берет за запястье. Он всегда прикасается ко мне очень ласково.

– Что сначала – хорошая новость или плохая?

– Хорошая.

– Ладно. Хорошая новость: ты не умрешь.

– А плохая?

– Я сейчас принесу все для шитья.

Швы. Вот дерьмо.

– Сколько швов?

– Два или три. Не беспокойся – выглядит хуже, чем есть на самом деле. – Он приносит свой черный медицинский саквояж и наливает мне стаканчик бурбона. – Вот. Выпей-ка. Будет не так больно. – Затем он усаживает меня за кухонный стол и готовится играть со мной в «доктора и раненого», собираясь зашивать порез у меня на руке.

Я делаю большой глоток виски и чувствую, как игла без особой боли входит в мою продезинфицированную плоть. Но я все-таки стараюсь не смотреть и вовремя подавать Патрику требуемые инструменты.

– Черт возьми, как хорошо, детка, что ты не поехала в частную лечебницу, – говорит он, и между нами снова воцаряется почти забытая нежность.

На минутку.

Патрик умело завязывает узел, обрезает концы хирургической нити и ласково треплет меня по руке.

– Ну, вот и все, доктор Франкенштейн. Выглядишь совсем как новенькая.

– Это вовсе не у доктора Франкенштейна шея на молнию застегивалась, – поправляю его я. – И все-таки как ты думаешь: они нас за нос водят или действительно намерены выполнить свои обещания?

– Не знаю, Джин. – Снова эта «Джин»! Он что, совсем сдурел?

– Слушай, если я все-таки соглашусь возобновить свою работу, то как мне проверить, что они не намерены... ну, я не знаю... не намерены воспользоваться ее результатами для создания... некоего всемирного зла?

– С помощью антиафазийной сыворотки? Да ладно тебе.

От потери крови и выпитого виски голова у меня немного кружится.

– Я им просто не доверяю, этим людям.

– Ну, хорошо. – Патрик и себе наливает виски, а затем с оглушительным грохотом ставит бутылку на стол. – Раз так, то не соглашайся! Не берись за эту работу. А с кондиционером мы разберемся, когда на следующей неделе поступят деньги на счет. Ты завтра же снова сможешь натянуть свой чертов браслет, и все мы окажемся точно там же, где и были сегодня с утра, и все вернется на круги своя! – Он уже почти орет. И я тоже ору:

– Пошел ты!

Я вижу, что он уязвлен, что он буквально обезумел от отчаяния, но это отнюдь не оправдывает тех слов, которые в следующую минуту вылетают у него изо рта; их он уже никогда не сможет взять назад, они вонзаются в мою душу куда глубже, чем любой осколок стекла, и душа моя снова и снова истекает невидимой ему кровью.

– Ты знаешь, детка, – говорит он, – вот ведь что интересно: а не было ли лучше, когда ты не имела возможности так много говорить?

Глава пятнадцатая

Сегодня у меня на запястье нет металлического наручника, однако обед у нас проходит до странности тихо.

Стивен, обычно чрезвычайно разговорчивый и успевающий выболтать целую кучу вещей, не забывая при этом набивать рот едой, сегодня ни слова не сказал ни о Джулии Кинг, ни о футболе. Близнецы тоже как будто чем-то смущены и ерзают на стульях. Соня то и дело поднимает глаза от тарелки и смотрит на мое левое запястье; она вообще молчит с тех пор, как пришла из школы. И вот еще что странно: Соня со Стивеном так и не стукнулись кулаками в своем обычном шутовском приветствии.

Что касается Патрика, то он, быстро покончив с обедом, относит свою тарелку на кухню и исчезает в кабинете, прихватив графин с бурбоном и что-то буркнув насчет необходимости закончить некую срочную работу. И, пожалуй, невозможно сказать, на кого он больше сердится – на меня или на себя.

– Ты объясни им все, Джин, – говорит он, закрывая дверь в свое святилище, где вдоль стен выстроились стеллажи с книгами.

А как я им «все объясню»?

Я уже больше года не имела возможности поговорить со своими детьми по-настоящему. Если раньше у нас мог возникнуть весьма оживленный спор насчет того, является ли Покемон Го пустой тратой времени или самым умным игровым изобретением со времен Xbox, то теперь четыре юные физиономии повернуты ко мне, мои дети смотрят на меня в безмолвном ожидании неких разъяснений, ибо сейчас я сама для них – главное событие.

Я могла бы, конечно, схитрить и как-то преодолеть возникшее затруднение.

– Итак, Стивен, что у тебя нового в школе? – спрашиваю я.

– Завтра два экзамена. – Такое ощущение, словно это ему отпущен некий ежедневный лимит слов.

– Хочешь, я помогу тебе подготовиться?

– Не-а. Я лучше сам. Да я, в общем, готов. – И он, словно опомнившись, прибавляет: – Но все равно спасибо.

Сэм и Лео разговаривают несколько более охотно и в ответ на мои вопросы забрасывают меня новостями о том, что у них новый футбольный тренер, а препода на практических занятиях им удалось ловко провести,

несколько раз выдав себя друг за друга. В общем, как раз близнецы-то и болтают больше всех. По-моему, это их привычное состояние.

И только Соня смотрит на меня удивленно, широко раскрытыми глазами, словно это вовсе не я, а кто-то совсем другой. Словно у меня вдруг мохнатая шкура появилась. Или я превратилась в дракона. Она так и не съела ни кусочка «мясного хлеба», который я положила ей на тарелку, склевав лишь несколько кусочков картошки, за которой я успела сбегать в магазин после утренней ссоры с Патриком.

– Значит, теперь мне приснится еще один плохой сон? – вдруг спрашивает она. И я машинально отвечаю ей вопросом на вопрос, причем вопросом совершенно неправильным.

– Почему ты так решила, детка? – Впрочем, я тут же спохватываюсь и поправляюсь: – Ну что ты, я никогда больше не позволю, чтобы тебе снились плохие сны. А сегодня я перед сном расскажу тебе какую-нибудь интересную историю, хочешь?

Она молча кивает. У нее на запястье ярко горит цифра 40. Потом все-таки говорит:

– Мне страшно.

– Тебе совершенно не нужно бояться.

Сэм и Лео нервно переглядываются, и я, заметив это, качаю головой. А Стивен подносит палец к губам – это совершенно нормально, он часто делает такой безмолвный знак своей младшей сестренке.

В ответ Соня опять молча кивает. Но в ее глазах – ореховых ирландских глазах Патрика – сверкают непролитые слезы.

– Ты все еще боишься? – спрашиваю я.

Еще один кивок.

– Плохих снов?

Теперь она яростно мотает головой.

Дело в том, что Соня не знает, что могут сделать с человеком эти счетчики слов. Ей известно, конечно, что они умеют ярко светиться, показывать разные цифры и пульсировать на запястье каждый раз, как она произнесет очередное слово. Мы изо всех сил старались сохранить в тайне от нее возможное наказание за превышение отпущенного лимита слов. Возможно, с моей стороны это глупо, но я просто не в состоянии была придумать, как описать боль от электрошока шестилетнему ребенку. С тем же успехом можно было бы рассказать Соне об ужасной казни на электрическом стуле, имея целью всего лишь объяснить ей, что правильно, а что неправильно. Мерзкие и совершенно ненужные разговоры. Какой родитель стал бы рассказывать об устройстве электрического стула, желая

внушить своему сынишке, что обманывать и красть нехорошо?

Когда нам на руки надели счетчики – кстати, даже для детей никакого «акклиматизационного» периода власти не предусматривали, – я решила зайти в вопросе экономии слов с противоположной стороны. Ложка мороженого, еще одно шоколадное печенье перед сном, горячее какао с таким количеством алтея, какое поместится в чашке – в общем, любое лакомство каждый раз, как Соня вместо слов воспользуется жестами: кивнет, помотает отрицательно головой или просто потянет меня за рукав. Позитивное усиление запрета лучше наказания. Мне не хотелось, чтобы она поняла, каково на самом деле это наказание. Нет, только не тем болезненным способом, каким эта наука далась мне!

Кроме того, я успела и еще кое-что узнать насчет этих счетчиков: с каждым новым нарушением лимита боль становится все сильнее.

А в тот, самый первый раз мой перерасход слов был настолько велик, что я как бы сразу миновала все первые степени наказания, и в итоге шрам от ожога так и красуется у меня на руке. Впоследствии, накладывая кольдкрем мне на обожженное запястье, Патрик объяснил:

– Понимаешь, Джин, если ты превысишь лимит всего на одно слово, то получишь только легкий удар током. Ничего особо травмирующего, просто легкая встряска. Предупреждение. Ты, разумеется, этот удар почувствуешь, но сильной боли он не причинит.

«Потрясающе», – думала я.

– За каждые последующие десять слов сверх лимита наказание усиливается на одну десятую микрокулона. Если получить половину микрокулона, боль будет весьма ощутимой. А если целый микрокулон, тогда... – он отвернулся и помолчал, – тогда боль станет невыносимой. – Он взял мою левую руку, проверил число на счетчике и присвистнул: – Ого! 196. Слава богу, ты сразу перестала говорить. Еще несколько слов, и ты получила бы целый микрокулон!

Ей-богу, наши с Патриком представления о том, что такое «невыносимая боль», весьма различны!

Он все продолжал говорить, а я, молча прижимая пакетик с мороженым горошком к округлому пятну ожога, не сводила глаз с закрытой двери, за которой спала моя дочь. Там же сидели и мальчики – на этом настоял Патрик, желая быть уверенным, что, проснувшись, Соня не испугается и снова не начнет кричать. Никому не хотелось повторять номер «электрическая женщина»; и уж точно никто не хотел, чтобы исполнительницей главной роли в этом номере стала пятилетняя малышка.

– По-моему, в данном случае случилось вот что, детка. – Патрик снова

попытался объяснить мне возникшую трагическую ситуацию. – Ты, должно быть, говорила и бежала так быстро, что этому проклятому устройству было за тобой не угнаться. – Я заметила, что глаза его полны слез. – Я намерен завтра же утром кое с кем серьезно об этом поговорить. Обещаю. Господи, мне так жаль, что с тобой все это случилось!

Мне понадобилась лишь какая-то доля секунды, чтобы представить себе, как электрический разряд швыряет мою крошку со стула на пол и она никак не может понять, почему ей так больно. При одной лишь мысли об этом внутренности мои точно залило жидким огнем. И с тех пор я стала действовать по принципу Павлова, сфокусировавшись главным образом на вознаграждении, как если бы дрессировала собаку. Тогда мне казалось, что так будет лучше.

И вот сегодня во время этого странного общения за обеденным столом я начинаю понимать, что незачем было так стараться и все это скрывать от Сони.

Слезы у нее капают прямо в тарелку с нетронутым «мясным хлебом» и недоеденной картошкой, крупные детские слезы, похожие на дождевые капли.

– У тебя что-то плохое случилось? В школе, да?

Один кивок. Старательно задрала голову вверх, затем старательно ее опустила – этакое преувеличенное подчеркивание. Ничего, я сейчас выясню, что там у нее за тайны.

– Перестань плакать, малышка. Ну-ну, успокойся. – Я глажу ее по кудрявой головке, надеюсь, что это поможет, но больше всего мне хочется как раз заорать во все горло. – Может, тебе кто-то сказал что-то плохое?

С ее губ срывается еле слышный стон.

– Кто-то из девочек?

Я не убираю руки, и она, не пытаясь освободиться, отрицательно мотает головой. Значит, это не дети.

– Ваша учительница? – Я успеваю заметить ее взгляд – мимолетный, брошенный на Стивена, – и все сразу понимаю. – Стивен, сегодня твоя очередь убирать со стола, хорошо? – говорю я ему.

Он одаривает меня *тем самым взглядом. Мужским.*

– Пожалуйста, – прибавляю я, не особо надеясь, что это поможет.

Но, как ни странно, взгляд его становится мягче, и он начинает собирать тарелки, стараясь сперва ополоснуть каждую, прежде чем складывать их в стопку в раковине. Он делает мне это маленькое одолжение, а я, глядя на него, все время вижу перед собой преподобного Карла Корбина и тот жест, каким он сегодня простер свою длань, предлагая

мне присесть в моей собственной гостиной.

Предлагая, думаю я, и слова толпятся у меня в голове, точно буквы в игре «Скраббл». Предложение. Предположение. Предпочтение. Предосудительность. Преступление. Голову долой.

Близнецы без возражений присоединяются к показательной уборке посуды, которую устроил Стивен, и наконец-то мы с Соней остаемся наедине.

– Ну, как ты, дорогая? Все прошло? – спрашиваю я, касаясь рукой ее лба. Еще минуту назад моя девочка кипела, как банка с джин-тоником, забытая на крыльце в июльскую жару; но сейчас она уже немного успокоилась. Испарина исчезла, хотя и холодным огурцом в пупырышках ее тоже не назовешь.

Вот это-то и есть самое ужасное. То, что происходит буквально у меня на глазах, когда я замечаю, как опасливо Соня следит за Стивеном, и как она сразу успокаивается, стоит ему сделать шаг в сторону кухни. Да, это самое ужасное, потому что теперь я понимаю, чего – кого! – действительно боится Соня.

Я ничего ей не говорю и ничего не спрашиваю; я лишь молча указываю кивком в сторону кухни, где Стивен отскребает с тарелок кусочки прилипшего мяса и картошки, напевая какую-то старую мелодию.

И Соня кивает.

Стивену было уже одиннадцать, когда на свет появилась его единственная сестра – он считался уже достаточно взрослым и почти достиг того возраста, когда и сам смог бы стать отцом, пусть хотя бы в биологическом смысле. Он отлично умел с ней обращаться, ему всегда удавалось ее отвлечь и развеселить, и он без отвращения менял ей подгузники, сообщая мне: «Слышь, мам, тут кое-кто еще один подгузник изгадил!» Обычно лишь дети-близнецы пользуются своим особым языком жестов и знаков, но, как оказалось, мой старший сын как раз из числа таких детей, ибо именно так они с Соней и общались. Ей было не больше года, а у нее в распоряжении уже имелись знаки для всего окружающего мира: есть, пить, спать, кукла и – этот знак надолго остался ее любимым – ка-ка. Это был совершенно особенный жест, который Стивен еще и подкреплял настоящими словами, словно переводя с некоего примитивного языка. В общем, они создали настолько хитроумную систему общения, что никому, даже доктору Джин Макклеллан, так и не удалось разложить ее по полочкам.

А еще Стивен любил петь всякие старые песни, столь чудовищным образом их «осовременивая», что любая мелодия выглядела откровенным

ублюдком. Патрик однажды чуть не пролил свой утренний кофе, услышав пение Стивена.

Во-первых, он явно наслушался группы «Полис» с их «ду-ду-ду-да-да-да»; во-вторых, туда же вплеталась песенка Лу Рида о том, как «цветные девчонки» опять же поют свое «ду-ду-ду» – теперь эта песенка считается ультрарасистской, но в прежние времена знаменитому Лу Риду как-то удавалось отделяться от подобных дерьмовых обвинений; кое-что Стивен также позаимствовал у групп «Мотаун» и тех «белых» групп, которые хотели бы звучать, как будто они «Мотаун»; ну и, естественно, смешивал все это с разными современными песенками, авторы которых, споткнувшись на песенной лирике, стали заполнять пространство дурацкими детскими словечками, рифмующимися, например, со словом «ка-ка». И, наконец, в этой какофонии все же чувствовалась индивидуальность моего сына, который не слишком музыкально напевал все подряд – от Брамса до Бейонсе – и тоже весьма охотно заменял каждое второе слово любимым словечком Сони: «ка-ка».

От этих воспоминаний о детстве Стивена и Сони мне становится вдвое тяжелей воспринимать настоящее, но я все же спрашиваю у дочки:

– Стивен приходил сегодня к вам в школу?

Кивок.

– Хочешь рассказать мне об этом?

Нет. Она не хочет.

– А историю перед сном послушать хочешь?

Это она хочет, и я отпускаю ее готовиться ко сну, довольно-таки тусклым тоном крикнув ей вслед, чтобы она не забыла почистить зубы. У Сони теперь своя ванная комната, и она полностью в ее распоряжении, поскольку и она, и близнецы уже достигли того возраста, когда детям особенно важно личное пространство для отправления интимных потребностей. Дверь в кабинет Патрика закрыта, и лишь слабо поскрипывает в петлях, когда Соня проносится мимо нее по коридору.

А я пока выясняю отношения со Стивеном. Возможно, это не совсем правильно с моей стороны, но я просто в бешенстве.

– Что случилось сегодня у Сони в школе, Стивен? – спрашиваю я, предварительно отослав Сэма и Лео смотреть телевизор, что они с удовольствием и делают – в основном потому, что без старшего брата, на свободе, могут вволю попереключать каналы.

Стивен пожимает плечами, но лицом ко мне не поворачивается, а смотрит в раковину.

– Мне бы хотелось получить более внятный ответ, *деточка*. – И я с силой беру его за плечо, заставляя повернуться.

И только сейчас я замечаю у него на воротнике маленький значок-булавку размером примерно с ноготь мизинца. На белом поле серебряный кружок, внутри которого одна-единственная ярко-синяя буква «И». Такой значок я уже видела и раньше.

Во-первых, по телевизору, еще во время того дурацкого эпизода, когда три, буквально ушибленные Библией, особы в *приличных* двойках были готовы разорвать Джеки Хуарес на куски. А потом, не прошло и недели, и я заметила, что такой же значок украшает одно из *церковных* платьев Оливии Кинг – она тогда как раз в очередной раз постучалась ко мне и спросила, не могу ли я одолжить ей яйцо.

Предполагалось, видимо, что этот значок со скромной синей буквой «И» станет неким символом единства Истинных, ибо его могут носить и мужчины, и женщины. Например, у дочери Оливии Кинг, Джулии, тоже есть такой значок, я также несколько раз видела его на разных людях – то в продуктовом магазине, то в химчистке, куда забегала за рубашками Патрика. А как-то на почте я наткнулась на доктора Клаудию, моего бывшего гинеколога, и даже у нее на лацкане жакета красовался такой значок, хотя я подозреваю, что муж Клаудии имеет куда большее отношение к выбору для нее подобного аксессуара, чем она сама. Я знаю, что «И» означает «истинный» – Истинный Мужчина, Истинная Женщина, Истинное Дитя.

Но я совершенно не понимаю, почему такой значок носит мой сын.

– И давно ты это носишь? – Я касаюсь пальцем значка у него на воротнике.

Стивен смахивает мою руку, точно надоедливую муху, и возвращается к своему прежнему занятию – соскребает с тарелок остатки пищи и загружает посудомойку.

– На днях получил. А что в этом особенного?

– Как это «получил»? Как приз? Или он с неба упал? Или ты его случайно в сточной канаве нашел?

Ответа нет.

– Знаешь, Стивен, подобные вещи просто так не раздают.

Слегка отодвинув меня плечом, он подходит к холодильнику, достает оттуда молоко, наливает себе полный стакан и залпом его осушает.

– Естественно, мам, просто так их не раздают. Такой значок заслужить нужно.

– Я поняла. И как же его можно заслужить?

Еще один стакан молока исчезает в утробе Стивена.

– Оставь немного для завтрашней каши, – говорю я. – Ты не единственный в этом доме.

– Так, может, тебе стоит сходить в магазин и принести еще? Это ведь твоя работа, верно?

Моя рука взлетает как бы сама собой и вступает в соприкосновение с правой щекой Стивена, на которой тут же расцветает яркий отпечаток моей пятерни.

А он, не моргнув глазом, не вздрогнув, не подняв руку, чтобы заслониться от пощечины, и вообще никак не отреагировав, спокойно заявляет:

– Отлично, мам. Просто отлично. Учти: когда-нибудь это будет считаться настоящим преступлением.

– Ах ты, маленький говнюк!

После этих слов все становится только хуже: он весь словно подбирается, заносчиво на меня смотрит и говорит:

– Хорошо, я расскажу тебе, как заработал этот значок. Я согласился, и меня завербовали. Да, мам, завербовали. Им требовались волонтеры из школы для мальчиков. Мы должны были ходить по школам для девочек и кое-что им объяснять. И в течение последних трех дней я посетил самые разные школы, демонстрируя девчонкам, как действуют эти браслеты. Смотри. – Он закатывает рукав и демонстрирует мне след ожога на своем запястье. – Обычно мы ходим парами и по очереди. И все это для того, чтобы девчонки, вроде нашей Сони, понимали, что с ними может случиться. – Он, явно бросая мне вызов, выпивает еще стакан молока и облизывает губы. – Между прочим, я бы не стал на твоём месте одобрять её стремление вернуться к языку жестов.

– Это еще почему, черт побери? – Я все никак не могу переварить тот факт, что мой сын сознательно подверг себя удару током, «чтобы девчонки, вроде нашей Сони, понимали, что с ними может случиться».

– Честно говоря, мам, уж ты-то лучше других должна была бы это понимать. – В голосе Стивена звучат чьи-то чужие интонации, кого-то значительно старше его, кого-то, уже уставшего объяснять всяким молокососам, каков нынешний порядок вещей. – Использование языка жестов и знаков разрушает истинную цель того, что мы пытаемся здесь создать.

Ну, естественно, разрушает!

– Понимаешь, я не могу вдаваться в детали, но есть проект создания новых... ну, этих ваших... устройств. Они станут больше похожи на

перчатки. Большого я, правда, сказать не имею права. – Стивен выпрямился и гордо мне улыбнулся. – Но признаюсь, что вызвался стать волонтером для испытания этих новых устройств.

– Ты... что ты сделал?

– В старые времена это называлось «водительством», мам. Это желание быть всегда в первых рядах и руководить остальными. Именно к этому стремятся Истинные Мужчины.

Я просто не знаю, что сказать, и выпаливаю первое, что срывается с языка:

– Ах ты, ублюдок проклятый!

Стивен пожимает плечами.

– Да говори что хочешь. – И он с достоинством покидает кухню, оставив на кухонном столе грязный стакан и записку: «Купи молока».

Я замечаю, что Сэм и Лео торчат в дверях и смотрят на меня, так что заплакать я не осмеливаюсь.

Глава шестнадцатая

Почитав перед сном Соне и какое-то время полежав с нею рядом, я дожидаюсь того момента, когда ее дыхание становится ровным – верный признак того, что она крепко спит, – и возвращаюсь в свою спальню. В нашу спальню. Хотя сегодня она полностью в моем распоряжении, потому что Патрик все еще у себя в кабинете, хотя уже скоро полночь. Вообще-то он крайне редко засиживается за работой так поздно.

Сегодня я размышляю о мужчинах.

Когда я укладывала близнецов в постель, Стивен по-прежнему сидел в гостиной – смотрел телевизор, поедая мороженое, и слушал какую-то беседу преподобного Карла с телезрителями. Видимо, мой сын считает этого человека героем и образцом для подражания. А что, они составили бы отличную парочку: оба весьма упорны в своих стремлениях и убеждениях, оба считают необходимым вернуться к былым временам, к той эпохе, когда мужчины были *настоящими мужчинами*, а женщины – *настоящими женщинами*, и, черт побери, *глори-глори-аллилуйя, все было гораздо проще и лучше, когда каждый знал свое место*. Я не могу ненавидеть Стивена только потому, что он поверил в нечто абсолютно неправильное, даже если мне ненавистно то, во что он верит.

Но ведь не все такие, как он; есть и *совсем другие* люди.

Вскоре после того, как Соня отпраздновала свой пятый день рождения и всех нас «оснастили» этими чертовыми счетчиками, я позвонила домой своему гинекологу, приготовив тщательно составленный список вопросов на этом «пиджине», то есть максимально упростив предложения, избегая союзных слов и определений и вообще стараясь как можно быстрее добраться до сути. Я уже понимала, что записывающее устройство в моем браслете выловит каждое словечко, даже произнесенное еле слышным шепотом.

Бог его знает, что я ожидала от нее услышать? Да и что она, врач, наблюдающий меня более десяти лет, могла сказать? Возможно, мне просто необходимо было помолчать с ней вместе. Мне нужен был партнер по молчанию. А может, я просто хотела услышать, до какой степени и ей все это осточертело.

Доктор Клаудия сняла трубку, выслушала меня, и я услышала, как она издала негромкий стон, а потом в трубке раздался голос ее мужа:

– И кто же, по-вашему, в этом виноват?

Я стояла посреди кухни и молчала; мне хотелось все ему объяснить, но из осторожности я продолжала молчать, а он все говорил и говорил: мы слишком часто устраивали марши протеста, мы писали слишком много писем, выкрикивали слишком много всяких слов...

– Все это сделали вы, женщины. И вам необходимо дать хороший урок, – наконец заявил он и повесил трубку.

Я больше не стала звонить ей, не стала спрашивать, как им удалось заставить ее молчать. Может быть, они с топотом ворвались прямо в ее рабочий кабинет, а может, сперва заполнили ее кухню, а потом засунули ее вместе с дочерьми в микроавтобус, куда-то повезли и в плохо освещенной комнате с серыми стенами подробно объяснили, каково будет отныне их будущее. Затем надели на каждую блестящий браслет и отправили восвояси – пусть готовят еду, наводят порядок в доме и вообще ведут себя как Истинные Женщины, всегда готовые оказать мужчинам поддержку. И пусть как следует запомнят этот наш общий урок.

Доктор Клаудия сама ни за что и никогда не прицепила бы к воротнику такой значок, я в этом уверена; и я не сомневаюсь, что она сопротивлялась, но знаю также, что она его по-прежнему носит. Как, по всей видимости, и ее дочери, как и наша юная соседка Джулия Кинг. Я давно знаю Джулию и помню, как еще совсем недавно она носила низко посаженные джинсы и вызывающе короткие топики, как она гоняла на своем байке по улицам, на полную мощность врубив свой MP3-плеер и с наслаждением подпевая группе «Dixie Chicks»; я помню, как она, подловив меня в саду, начинала рассказывать, до чего странно в последнее время ведет себя ее мать, и удивленно округлив глаза, говорила, что не может понять, как можно верить всей этой чепухе и нелепице насчет «Истинных» мужчин и женщин. А года полтора назад Джулию выследил отец; он застиг ее как раз за разговором со мной, схватил за руку и потащил за собой к задней двери дома, затянутой сеткой.

Я до сих пор помню, как она тогда кричала и плакала – наверняка Эван сильно ее избил.

Я слышу, как со скрипом открывается дверь кабинета и в коридоре раздаются шаги Патрика. Он явно направляется не в спальню, а на кухню. Вообще-то я могла бы тоже пойти туда, налить нам обоим чего-нибудь покрепче и рассказать о послеобеденном разговоре со Стивеном. Да, конечно же, мне следовало бы пойти и поговорить с Патриком; я прекрасно это понимаю.

Но не пойду.

Патрик в моей классификации – третий тип мужчин. Он не относится

ни к истинно верующим, ни к этим убогим женоненавистникам, черт бы их побрал; он просто слабак. А я, пожалуй, предпочту думать о тех, кого слабаками не назовешь.

Так что сегодня, когда Патрик наконец ложится в постель и даже извиняется передо мной за опоздание, я решаю снова мечтать о Лоренцо.

Я никогда не могу понять, что именно вызывает у меня мечты о нем, что заставляет меня воображать, что это его руки, а не руки моего мужа обнимают меня всю ночь. Я не разговаривала с Лоренцо с того дня, который оказался моим последним днем в университете. Впрочем, был и еще один раз, много позже, но тогда уже никакого роскошества речевого общения даже не предполагалось.

Извиваясь, я высвобождаюсь из тяжелого кольца рук Патрика. Уж слишком этот жест похож на обладание, какой-то он *чересчур собственный*. И потом, гладкая кожа Патрика, его мягкие руки врача, его тонкие светлые волосы – все это мешает мне мечтать, застилает путь моим воспоминаниям.

А ведь Лоренцо вполне мог уже и в Италию вернуться. Я совершенно не уверена, что он еще здесь. Уже два месяца прошло с тех пор, как я, следуя зову своего сердца и либидо, поехала на свидание с ним. Целых два месяца с тех пор, как я, рискнув всем на свете, трахалась с ним среди бела дня.

Не трахалась, Джин, а занималась любовью, ведь это была любовь, напоминаю я себе.

Все это с самого начала придумал он сам, это был его план – снова поехать в тот домик, который мы называли «будкой»; он снял его, еще когда с его ставкой приглашенного профессора все было в порядке. Он ужасно скучал здесь по возможности самому готовить – а он очень любит это занятие, – по морю, по итальянским апельсинам и персикам, которые зреют и наливаются на богатой, удобренной вулканическим пеплом почве и в итоге становятся почти такими же огромными, как солнце. А еще он тосковал по своему родному языку. Нашему с ним языку.

Патрик шевельнулся рядом со мной, и я моментально выскальзываю из постели и устремляюсь на кухню. Там я вытаскиваю из шкафчика старую кофейную *macchinetta*, наполняю дырчатый сосуд в ней молотым кофе-эспрессо, а нижний сосуд водой, и ставлю на маленький огонь. Уже почти пять часов утра, и мне, конечно же, больше не уснуть.

То ли благодаря кофе мысли мои двинулись по данной траектории, то ли из-за тоски по итальянскому языку, но от этих мыслей мне вдруг становится одновременно и холодно, и жарко.

Лоренцо держал у себя в кабинете так называемую «горячую тарелку», одно из этих простеньких электрических приспособлений, рассчитанных на одного, какие встречаются в хозяйственных магазинах и дешевых мотелях. Рядом с этой крошечной электроплиткой среди текстов по семантике была спрятана также банка с кофе, причем настоящим, а не той молотой пылью, какую обычно поставляют на факультетскую кухню. Мы с Лоренцо встречались у него в кабинете, например, для того, чтобы обсудить успехи в восстановлении лексического запаса у моих пациентов с аномией. По какой-то причине аномики ставили меня в тупик, и особенно их неспособность вызвать в памяти имена самых привычных предметов, но при этом они отлично могли описать эти предметы в мельчайших деталях. Эти странные особенности аномиков в какой-то момент отбросили мои исследования практически обратно к нулевой отметке. И если бы я оказалась не в состоянии представить к концу месяца положительный отчет о своей работе, мне пришлось бы проститься и с дополнительными фондами, и, возможно, с пребыванием в должности.

Пока кофе просачивался сквозь фильтр, мы с Лоренцо прошлись по последним сканам головного мозга. Вот тогда-то, между снимками МРТ, энцефалограммами и итальянским кофе, все и началось.

Первое, на что я обратила внимание, – это его руки, которыми он держал крошечную чашечку, наливая туда густой черный эспрессо. Руки у него были очень смуглые, ничуть не походившие на розовые от бесконечного тщательного мытья «докторские» руки Патрика. Я заметила, что один ноготь у Лоренцо сломан, а на кончиках длинных и тонких пальцев мозоли.

– Вы играете на гитаре? – спросила я.

– Больше на мандолине, – сказал он. – Но и на гитаре немного.

– Мой отец тоже играл на мандолине. А мать ему подпевала, да и все мы тоже. Ничего особенного, обычные популярные песни. «Torna a Surriento», «Core 'ngrato»^[20] – в общем, в таком роде.

Он рассмеялся.

– Что смешного?

– Американская семья, поющая «Core 'ngrato».

Теперь уже рассмеялась я.

– А с чего вы решили, что я американка? – Только я сказала это не по-американски, а по-итальянски.

Вот так мы и начали встречаться у него в кабинете, где имелась «горячая тарелка» и маленькая кофеварка. И все то время, пока я продолжала возиться со своим проектом по аномии, стараясь обеспечить

себе некое, пусть и не слишком стабильное, будущее еще на один семестр, мы с Лоренцо виделись довольно часто.

– Я привез тебе немножко Италии, – сказал он однажды, вернувшись из Италии, куда во время весенних каникул ездил навестить родных. Наша речь к этому времени уже давно превратилась из полуанглийской и полуитальянской в полноценную неаполитанскую трескотню, а кабинет Лоренцо стал являть собой некий оазис «континентализмов»: итальянский *caffè*, итальянская музыка, хрустящие итальянские печенья *taralli*, которые он сам пек по выходным по рецепту своей бабушки и приносил в понедельник.

Он подтолкнул ко мне по столу некий предмет, завернутый в газету.

– Что это? – спросила я.

– Я же сказал: немного музыки для тебя, Жианна. Разверни.

Я развернула. Внутри оказалась полированная деревянная шкатулка с инкрустацией; по краю орнаментом вились пятилепестковые розы. Музыкальной шкатулка совсем не выглядела, пока Лоренцо не приподнял крышку пальцем.

Я до сих пор помню это его движение – он так же осторожно, со смесью нежности и сладострастия приподнял крышку, прикрепленную на петлях, как жених приподнимает кружевную юбку своей невесты и скользит рукой по ее обнажившемуся колену, готовясь запустить палец за подвязку.

Именно в этот момент я впервые и представила себе, как смуглые руки Лоренцо скользят по моему обнаженному телу. Это был самый обычный понедельник, и мы сидели в его заваленном книгами кабинете, и музыкальная шкатулка вызванивала «Torna a Surriento», а кофеварка булькала, готовя нам крепкий сладкий эспрессо.

Лоренцо не относится ни к одной из тех трех категорий мужчин: он не истинно верующий, не женоненавистник и не трус. Для него у меня существует некая особая категория, тайная, спрятанная в самом дальнем, темном и приятном уголке моей души.

Глава семнадцатая

Утром Стивен первым встал и первым убрался из дому; он исчез еще до того, как мы с Патриком принялись за свои обычные утренние дела. Близнецы – в каком-то редком приступе самостоятельности, но отнюдь не умения сочетать цвета, – тоже успели не только встать и одеться, но и сами готовили себе завтрак, разливая остатки молока в плошки, доверху наполненные разноцветными и страшно вредными для зубов сахарными шариками. Лео, правда, ухитрился надеть свитер наизнанку, но Сэм подсказал ему, что нужно переодеться. И теперь оба помалкивают, склонившись над своими плошками.

– Вчера вечером мы с вашим братом просто немного поспорили, – говорю я, считая нужным как-то объясниться.

– Так странно, мам, что ты с нами разговариваешь, – замечает Лео.

«Еще бы, – думаю я, – после целого-то года молчания!»

Когда на кухне появляется Патрик – вид у него такой, словно спал он гораздо меньше, чем на самом деле, – близнецы уже спешат к остановке школьного автобуса, а я поспешно одеваю Соню, по очереди засовывая ее ручки в рукава ветровки. Мои пальцы невольно нащупывают у нее на левом запястье красный браслет, но она сразу выдергивает у меня руку, и я поспешно говорю:

– Мне очень жаль, что тебе пришлось вчера смотреть на то, что вам Стивен показывал.

Она серьезно кивает с таким видом, словно и ей тоже очень жаль, что пришлось на это смотреть.

Затем мы вместе идем к автобусной остановке, причем точно так же соблюдая молчание, как и во все предыдущие дни. Я теперь получила право пользоваться словами, но у меня пока что нет ни малейшей идеи, как лучше этим правом воспользоваться и как, хотя бы на время, сделать лучше жизнь моей маленькой дочки.

– Тебе ведь страшные сны больше не снились, да?

Соня молча кивает. Допустим, в минувшую ночь у нее и не могло возникнуть никаких кошмаров, потому что я подмешала ей в какао небольшую дозу «Соминекса». Патрик, правда, об этом еще не знает, и я совсем не уверена, что стану ему рассказывать.

– Ну все, будь умницей, веди себя хорошо, – говорю я, подсаживая Соню на ступеньку автобуса.

Будь умницей, веди себя хорошо. Господи, какую собачью чушь я несу!

Я представляю себе, как моя дочь сидит за партой, под сиденьем которой есть такой уютный ящичек, куда она сейчас прячет свои книжки и яркий пенал с рисунком на крышке и словами «Привет, котенок!», а через пару лет станет прятать всякие тайные записки. Например, *Тебе нравится Томми?* Или: *По-моему, ты Томми очень нравишься!* Я помню, как на поверхности таких парт, покрытых пестрым ламинатом, мы выцарапывали сердечки и инициалы, а еще мы любили выискивать такие же «художества», оставленные другим мальчиком или другой девочкой, которые когда-то за этой партой сидели, и все пытались угадать, женился ли БЛ на КТ и действительно ли учитель алгебры, мистер Пондеграсс, был таким «свинским монстром с гноящимися глазами». Черно-белые тетради для сочинений, впоследствии сменившиеся более тонкими и синими, как в колледже; и неизбывная тема «Как я провел летние каникулы», сменившаяся столь же неизбывной темой «Сравнительная характеристика Гамлета и Макбета в произведениях Шекспира». Все это было таким привычным, таким обыденным. И всем нам казалось, что уж этого-то мы никогда не утратим.

А чему теперь учатся в школе наши девочки? Сложению и вычитанию, чтобы уметь определить время по часам или подсчитать сдачу в магазине. Умение считать – это, разумеется, важно. Поэтому их в первую очередь учат считать. Аж до ста!

Когда прошлой осенью Соня пошла в первый класс, в школе был устроен день открытых дверей. И мы с Патриком тоже были, как и многие другие родители. Хотя приглашения на день открытых дверей я так и не видела – их отправили мужчинам, отцу или деду. Например, в случае с Хитер, у которой было *две мамы*, такое приглашение получил, естественно, ее дедушка. Впрочем, теперь в школе больше нет таких семей, в которых у ребенка было бы две мамы (без папы) или два папы (без мамы); однополых семей в нашей стране вообще больше не существует, а все дети из таких семей давно отосланы в семьи своих ближайших родственников-мужчин – дяди, дедушки, старшего брата, – где они и будут жить до тех пор, пока их биологический родитель (или родительница) не заключит с кем-то новый, *правильный* брак. Смешно, но, несмотря на бесконечные разговоры о конверсивной терапии, об излечении от гомосексуализма, никто так и не придумал стопроцентного способа управлять геями: отнять у них детей.

Я подозреваю, что присутствие на том дне открытых дверей было обязательным, хотя Патрик ни о чем таком мне не сказал, но настоятельно попросил меня сходить туда с ним вместе, чтобы убедиться, что там все в

порядке и «созданы все условия».

– Что ты имеешь в виду? – спросила я, для начала глянув на свой счетчик.

Впрочем, уже через час мы это выяснили.

Да, в этой «передовой» школе по-прежнему имелись классы, и парты, и проекционные экраны. А вот доски объявлений были сплошь заклеены соответствующими картинками: семья на пикнике; мужчина с портфелем, явно уходящий на работу; женщина в соломенной шляпке, сажающая на клумбе какие-то пурпурные цветочки; детишки в школьном автобусе; девочки, увлеченно играющие в куклы; мальчики, выстроившиеся треугольником перед началом бейсбольного матча. Разумеется, никаких книг я нигде не увидела, да и не ожидала увидеть.

Мы провели в «своем» классе совсем немного времени, а затем учителя – у каждого из них на воротничке был значок с маленькой синей буквой «И» – повели нас по коридорам на познавательную экскурсию.

– Здесь у нас швейная комната, – сказал наш классный руководитель, открывая серию двойных дверей и жестом приглашая нас заглянуть внутрь. – Каждая девочка – как только она достигнет того возраста, когда ей уже можно шить на машинке, не следуя неудачному примеру «Спящей красавицы», – он рассмеялся собственной шутке, – получает в свое распоряжение цифровой «Зингер». Это поистине удивительное устройство! – И он погладил одну из машинок, словно домашнее животное. – А теперь прошу вас последовать за мной, и мы сперва заглянем на нашу кухню, а потом отправимся к нам в огород.

Короче, в школе теперь преподавали только отупляющую «домашнюю экономику» и ничего больше.

Я машу Соне рукой, пока автобус не выезжает из нашего уличного кармана. Сегодня в классе она вместе с двадцатью пятью другими первоклассницами – все девочки, естественно, – будет слушать всякие нравоучительные истории, упражняться в сложении и вычитании и помогать старшим ученицам на кухне, когда те будут учиться печь печенье или пирожки из дрожжевого теста. Вот какова теперь школа. Таковой она и останется на какое-то еще время. А может, и навсегда.

Память – вот поистине проклятый дар.

Я даже завидую своей дочери: у нее ведь нет никаких воспоминаний о прошлом, о той жизни, которая была до лимита на слова, о том, каким было школьное обучение, пока Движение Истинных не набрало силу. Я мучительно пытаюсь вспомнить, когда в последний раз увидела на хрупком запястье Сони цифру больше сорока – исключение, разумеется, составляет

тот ужасный случай две ночи назад, когда эта цифра подползла к сотне. Что же касается остальных женщин – моих бывших коллег и студентов, Лин, тех моих приятельниц, с которыми мы встречались в книжном клубе, моего бывшего гинеколога Клаудию и миссис Рей, которая теперь уже никогда не сумеет создать ни одного прекрасного сада, – то всем нам осталось одно: наши воспоминания.

Я не знаю способа, который помог бы мне выиграть, зато знаю способ, благодаря которому я смогу на время почувствовать себя выигравшей.

И за одну минуту, требующуюся, чтобы снова пересечь улицу и подняться к нам на крыльцо, я принимаю решение.

Патрик уже включил телевизор; там показывают, как преподобный Карл дает пресс-конференцию. Зал Белого дома выглядит практически так же, как выглядел всегда, но там нет ни одной женщины. На экране видно целое море темных мужских костюмов и строгих галстуков. Все репортеры кивают, точно китайские болванчики, слушая отчет преподобного Карла о состоянии Бобби Майерса.

– И все же у нас есть человек, который может ему помочь, – говорит Карл, и в ответ зал взрывается хором вопросов: «Кто же это?», «Где вы его нашли?», «Какая чудесная новость, не правда ли?». А Патрик вдруг перестает смотреть на экран и резко поворачивается ко мне.

– Это ведь тебя, детка, он имеет в виду. Ты возвращаешься к своей работе.

Но я не хочу возвращаться к своей работе – во всяком случае, я бы палец о палец не ударила ради Бобби Майерса, или нашего президента, или любого из тех мужчин, что присутствуют в зале Белого дома.

Преподобный Карл, как обычно, поводит перед собой обеими руками, словно уминая пространство, или выпуская лишний воздух из надувного матраса, или выжимая последние соки из кого-то более слабого, а когда, наконец, восстанавливается тишина, говорит негромко и уверенно:

– А теперь слушайте меня внимательно. Мы сейчас вполне сознательно нарушаем закон, и это, возможно, выглядит чрезмерно радикальным, но я уверен, что именно доктор Джин Макклеллан и есть тот самый человек, который способен справиться с возникшими трудностями. Многим из вас известны ее исследования по купированию... – он сверяется со своей шпаргалкой, чтобы все выглядело технически правильно, – быстро развивающейся афазии, именуемой также «афазией Вернике». Эти исследования вызвали в науке самый настоящий переворот. И хотя мы – разумеется, временно! – приостановили эти исследования, чтобы как следует во всем разобраться, но я хочу сказать...

Я выключаю телевизор. Мне плевать на то, что там хочет сказать преподобный Карл. Я ни за что не стану снова этим заниматься.

– Я ни за что не стану снова этим заниматься, – произношу я вслух, глядя на Патрика. – Так что ты уж сам позвони преподобному Карлу, прежде чем уедешь на работу.

– И что именно мне ему сказать?

Я смотрю на свое запястье, где виднеется старый шрам от ожога электричеством, зато в данный момент нет проклятого серебристого наручника, и говорю:

– Просто передай ему, что я сказала «нет».

– Джин. Пожалуйста. Ты же знаешь, что будет, если ты не согласишься.

Возможно, причина в том, что он подобрал именно такие слова. Или в самом выражении его глаз – в его усталом взгляде побитого щенка, которого в очередной раз наказали за плохое поведение. Или же виноват кислый запах молока и кофе, который я чувствую в его дыхании. А может, виновато все вышеперечисленное, но именно в эту минуту, находясь в том доме, где мы с ним зачали четверых наших детей, я окончательно понимаю: я больше его не люблю. Я не люблю своего мужа.

А любила ли я его когда-нибудь?

Глава восемнадцатая

На сей раз преподобный Карл является к нам один. Костюм на нем, как и вчера, из дорогой шерсти цвета антрацита, только сегодня пиджак двубортный, а не однобортный. Я пересчитываю пуговицы на пиджаке: три справа, три слева и по четыре на каждом рукаве. На рукавах пуговицы на несколько миллиметров как бы перекрывают друг друга, «целуются», как говорил мой отец, когда у него был свой галантерейный магазин. Он считал это признаком костюма, сшитого на заказ. Кроме того, все пуговицы на пиджаке преподобного Карла «работающие», и каждую из нижних пуговиц он оставляет не застегнутой. Видимо, хочет, чтобы все знали, какой у него отменный вкус.

Лоренцо никогда так не выпендривался.

Однажды, когда мы с Лоренцо пили кофе – по-моему, это было две зимы назад, когда мы целыми днями пахали, пытаюсь решить очередную проблему, возникшую на пути проекта «зона Вернике», – я случайно задела его пиджак ручкой, оставив на серой ткани маленький, но некрасивый чернильный след.

– Да ладно, ерунда какая, – отмахнулся Лоренцо.

Я сказала, что сейчас вернусь, и помчалась к себе в кабинет, где в то время постоянно держала на всякий случай бутылку спрея для укладки волос. Под «тем временем» я подразумеваю период, когда мы с Лоренцо стали работать вместе. До этого подобные вещи меня совершенно не волновали, и я была вполне довольна собой, позволяя своим темным кудрям, унаследованным от матери, лежать, как им самим захочется. Но в тот день у меня в шкафу была спрятана целая канистра «Paul Mitchell Freeze and Shine», а также пилка для ногтей, зубочистка и – на всякий случай – набор косметики: вдруг Лин захочется собрать всех сотрудников, чтобы обсудить некое новое задание?

В общем, обычные девчачьи штучки.

Я побрызгала на чернильное пятнышко спреем, затем промокнула и пробежала ногтем по водопаду из четырех пуговок. Они постукивали, когда я их касалась, и я сказала:

– «Целующиеся пуговицы». Давно таких не видела. Отец говорил, что так пришивают пуговицы на рукава мужского пиджака только в Италии.

После этого все и случилось. Глупое, небрежно брошенное замечание насчет моих детских воспоминаний – и Лоренцо, ногой захлопнув дверь,

прильнул губами к моим губам.

Ах, как там было чудесно! Но сейчас-то я нахожусь у себя в гостиной, и рядом со мной Патрик и преподобный Карл со своими «целующимися» пуговицами на рукавах, и нижняя пуговка над каждым запястьем у него расстегнута.

– Мы надеялись, доктор Макклеллан, что вы все-таки... – начинает преподобный Карл, с жадностью поглядывая на мою кружку с кофе.

Но кофе я ему не предлагаю. И эту фразу закончить тоже не дам.

– Нет, все-таки нет.

– Но мы могли бы и больше заплатить вам.

Патрик смотрит сперва на преподобного Карла, потом на меня.

– Ничего, мы обойдемся, – говорю я и делаю еще глоток кофе. Я давно привыкла даже неповиновение выражать в предельно кратких словесных формах. Примерно так, как сделала это впервые, выбрав для Сони кроваво-красный счетчик слов.

Однако в голосе преподобного Карла я не слышу ни капли отчаяния или мольбы; он лишь слегка изгибает в усмешке уголки губ и говорит:

– А что, если я скажу, что у нас имеются и некие иные побудительные мотивы?

И я сразу представляю себе, что очутилась в некоем мерзком, пустом и грязном помещении без окон и со всех сторон окружена здоровенными потными качками с глазками-бусинами, которые старательно выполняют команды типа: «Подними-ка ее до верхней отметки», или «Пусть она еще минутку подумает», или «А теперь начнем все сначала». Мне приходится собрать все свои силы, чтобы не моргнуть и не опустить глаза, а спокойно спросить:

– И какие же, например?

Улыбка Карла становится шире.

– Ну, например, мы могли бы несколько увеличить квоту для вашей дочери. Скажем, до ста пятидесяти. Нет? Тогда до двухсот.

– Можете увеличивать хоть до десяти тысяч, преподобный отец. Она сейчас почти не разговаривает.

– Мне очень жаль, что это так, – говорит он, но ничто в его голосе не указывает на то, что ему и впрямь жаль. Ведь как раз этого он и добивался: покорности женщин, девушек и девочек. Старшие поколения еще нуждаются в постоянном контроле, но пройдет немного времени, и когда у Сони тоже будут дети, мечта преподобного Карла Корбина об Истинных женщинах и мужчинах станет нормой, ибо так будет существовать весь мир. Как же я его за все это ненавижу!

– Вы еще что-нибудь хотели мне сказать? – спрашиваю я и ловлю быстрый взгляд Патрика, который, впрочем, не говорит ни слова.

А преподобный Карл достает из кармана плоскую металлическую коробочку и открывает ее.

– Ну, раз так, то я вынужден снова надеть это на вас. – «Это» означает узкий черный браслет, который он достает из коробки.

– Это не мой, – говорю я. – Мой серебристый.

Еще одна ласковая улыбка; теперь уже улыбаются не только губы, но и глаза преподобного Карла.

– Это новая модель, – поясняет он. – Вы сами быстро поймете, что функционирует он в точности так же, как и ваш предыдущий, но у него имеются две дополнительные функции.

– Какие же? Встроенный миниатюрный кнут из воловьей шкуры?

– Джин! – не выдерживает Патрик. Но я на него даже не смотрю.

– Ну что вы, доктор Макклеллан. Во-первых, он будет следить за тем, как вы соблюдаете элементарные правила вежливости.

– Что-что?

– Нам это представляется всего лишь легким напоминанием. Если ваша речь не будет ничем засорена, то и браслет никак себя не проявит. Недопустимо употребление бранных слов. А также нельзя допускать никакого богохульства. Если вы случайно оговоритесь, то ничего страшного не произойдет, однако каждый раз после такой оговорки ваша общая квота будет уменьшаться на десять слов. Но вы, разумеется, быстро к этому привыкнете.

Я чувствую себя Гартманом из мультфильма «Южный парк» – тем самым, которому имплантировали в голову некий чип, который бьет его током каждый раз, как он произносит матерное слово.

– Вторая функция этой модели требует несколько большей активности с вашей стороны. – Карл выразительно постукивает ногтем по красной кнопке на боковой стенке браслета. – Раз в день в любое время по вашему выбору вы будете нажимать на эту кнопку и говорить, обращаясь к браслету. Вот здесь у него микрофон. – Он указывает на противоположную от кнопки сторону браслета. – Мы надеемся, что данная практика поможет создать у людей...

– У женщин, – поправляю его я.

– Да. У женщин. Мы надеемся, что это поможет создать у вас должное настроение, поможет вам понять основные правила нашей жизни.

– Каким образом?

Из нагрудного кармана он извлекает свернутый листок бумаги,

разглаживает его, и я вижу некий печатный текст.

– Один раз в день вы будете читать это в микрофон. Прежде чем начать, нажмите дважды красную кнопку, а потом дважды, когда закончите. Это никак не будет сказываться на вашей квоте.

– Что не будет сказываться? – Я чувствую, что во рту у меня совершенно пересохло, и делаю еще глоток кофе, который уже совершенно остыл.

Преподобный Карл торжественно вручает мне листок с текстом и предлагает:

– Может быть, прочтете это прямо сейчас? А я пока настрою браслет на тембр вашего голоса. Таким образом, мы убьем сразу двух зайцев.

И я прочитываю те первые слова в самой верхней строке, что напечатаны крупным синим шрифтом:

«ВЕРЮЮ Я, что мужчина создан по образу Господа нашего и во славу Его, а женщина составляет славу мужчины, ибо не мужчина был создан из женщины, а женщина – из мужчины».

– Я не могу это читать, – говорю я.

Преподобный Карл смотрит на свои наручные часы.

– Доктор Макклеллан, у меня через полчаса встреча в городе. И если мы с вами не сумеем разрешить эту проблему, то мне придется позвать того, кто это сделать сумеет.

И я сразу же представляю себе Томаса – в его темном костюме, с темным лицом и еще более темными глазами; это ведь он вчера утром снимал с меня счетчик. Это его я впервые увидела год назад во главе той группы мужчин, которые явились за нами.

В тот день я как раз рассказывала об успехах, которых удалось достичь нашей маленькой команде; аудитория для семинарских занятий была набита битком, так что сквозь эту толпу с трудом протолкнулись две дюжины мужчин в военной форме с особой повязкой на левом рукаве, украшенной президентской печатью; и у каждого в правой руке была черная как ночь штуковина, похожая на дубинку. Я и вздохнуть не успела, как изображение на экране замерцало, и проектор потух. Остался лишь белый лист у меня за спиной, на котором, точно призраки, все еще виднелись мои формулы.

И я поняла: значит, все началось – то ужасное, невыносимое, о чем Патрик предупреждал меня еще несколько дней назад.

Пришедшие вооруженные люди разделили присутствующих на две

группы и сразу отослали прочь всех мужчин, а нас, женщин – нас было примерно человек пятьдесят, лучшие студентки и сотрудницы факультета, как «старички», так и «новенькие», – построили и повели куда-то по пустым коридорам. Лин Кван первой осмелилась высказать свое возмущение вслух.

Томас набросился на хрупкую Лин, как пантера на жертву, и, не задумываясь, направил свое черное пыточное устройство прямо на нее.

И она сразу согнулась пополам и рухнула ничком, не произнеся ни звука, лишь легкий, с присвистом, вздох боли успел сорваться с ее губ. Я и еще пять женщин бросились к скорчившейся на плитках пола Лин, но нас тут же отогнали ударами. К тем, кто осмеливался хотя бы пошевелиться, тут же применяли электрошокеры, и несчастные застывали на месте, онемев от боли. Нас умиряли, точно непослушных домашних животных. Коров, собак или кошек.

Я, собственно, хочу сказать, что какое-то сопротивление происходящему все же было.

– Доктор Макклеллан? – Преподобный Карл уже вытащил телефон, готовясь нажать своим длинным пальцем на зеленую кнопку «отправить» и вызвать того мужчину, который не станет терять времени даром, пытаясь «разрешить эту проблему» уговорами, ибо владеет куда более действенной техникой убеждения.

– Хорошо. Я прочту ваш текст, – говорю я, уверенная, что смогу произнести эти ужасные слова, не позволяя им проникнуть в мою душу.

И вот я уже читаю вслух.

Добравшись примерно до середины страницы, я замечаю, что лицо у Патрика побелело и стало цвета клейстера, а преподобный Карл каждый раз одобрительно кивает, как только я произношу слово «верую», что-то подтверждаю или декларирую, обращаясь к встроенному в черный браслет микрофону.

«Мы, женщины, призваны в присутствии мужа хранить молчание и полностью ему подчиняться. Если же кому-то из нас необходимо обрести некие знания или умения, то следует обратиться за помощью к мужу, дабы он объяснил все в тесном домашнем кругу, ибо нет большего позора для женщины, чем подвергать сомнению завещанное от Бога мужское руководство».

Благосклонный кивок.

«Со смирением и покорностью подчиняясь водительству мужчин, мы признаем, что «всякому мужу глава Христос, а жене глава – муж».

Кивок.

«Намерения Господа относительно женщины, замужней или незамужней, таковы, что ей следует украшать себя стыдливостью и строгостью, без излишней гордости показывая другим свою скромность и женственность».

Кивок.

«Я буду неустанно стремиться украшать себя изнутри, проявляя чистоту помыслов, скромность и послушание. Именно так я сумею восславить мужа своего, а тем самым и Господа».

Кивок.

«Превыше всего я стану ценить святость брака, как Своего собственного, так и других людей, ибо прелюбодеев Господь осудит по всей строгости».

Кивок.

Надеюсь, Патрик правильно интерпретирует всего лишь как признак усталости и дискомфорта то, что на последней фразе мой голос предательски дрогнул.

Преподобный Карл в последний раз кивает, когда я отрываю глаза от листка с текстом, и дважды нажимает на красную кнопку.

– Отлично, миссис Макклеллан. – Это «миссис» он произносит с явным нажимом. – Патрик, не будете ли вы так любезны...

Патрик выходит из оцепенения, ставит чашку с нетронутым кофе на край стола и, естественно, все проливает, так сильно дрожат у него руки; однако он все же берет из рук преподобного Карла ту черную штуковину, надевает ее мне на левое запястье и щелкает замком.

Вот так я во второй раз лишаюсь голоса. И легкий щелчок замка на новом счетчике звучит для меня как взрыв бомбы.

Глава девятнадцатая

По-моему, у меня развился поистине нечеловеческий слух.

Сегодня днем, пока я жду, когда появится Сонин автобус и медленно поползет по улочке к нашему дому, я слышу буквально каждый звук. Но это совсем не те звуки, какие я привыкла слышать: не монотонные рассуждения репортеров Си-эн-эн о политике, доносящиеся с экрана нашего маленького кухонного телевизора; не голоса Джона, Пола, Джорджа и Ринго, из стереодинамиков уверяющих, что хотели бы взять меня за руку, и не мой собственный голос, им подпевающий – что, должна признаться, получается у меня довольно плохо. Нет, я слышу влажные шлепки теста, которое замешиваю, и оглушительное пение холодильника, и высокочастотный вой компьютера Патрика, доносящийся из-за закрытой двери его кабинета. А еще я непрерывно слышу ровное биение собственного сердца.

А вот и знакомый звук автобусного мотора; благодаря эффекту Доплера он все слышнее по мере того, как автобус подъезжает ближе. У меня уже наготове те три слова, которые я непременно скажу, как только Соня выпрыгнет из автобуса: «Мамочка тебя любит». Больше можно будет сказать потом, а пока достаточно и этого.

Я помещаю ком теста в большую стеклянную миску, чтобы во второй раз поднялось, и полотенцем смахиваю прилипшую к пальцам муку. Надо было снять кольцо, но я забыла. Затем я заставляю себя улыбнуться – не слишком широко, не слишком по-клоунски, мне не хочется, чтобы моя улыбка выглядела как плохо наложенный грим, – и направляюсь к двери.

Соня спрыгивает с автобусной подножки, машет на прощанье мистеру Бенджамину, и автобус отъезжает, направляясь к следующей остановке, где высадит очередную порцию детишек. Ту сотню футов, что отделяют автобусную остановку от нашего крыльца, Соня преодолевает со скоростью вспугнутой дикой козочки. Что-то сегодня у нее адреналин в крови играет. Обычно она ведет себя уверенно и спокойно, но сегодня в нее словно черт вселился – просто не девочка, а комок нервов. Сияя возбужденной улыбкой, она прыгает ко мне в объятия, и левое ухо мне царапает уголок какого-то конверта, который она держит в руках; покрытые пушком щеки все в липкой шоколадной глазури.

– Мамочка тебя любит, – говорю я и чувствую на запястье: «тик, тик,

тик». Мои приветственные слова еще не успели отзвучать, а Соня уже разжимает объятия и пронзительно вопит:

– Завоевала приз! – Она сует мне тот самый конверт, тычет пальчиком себе в рот и облизывает губы розовым язычком. Я, удивленно прищурившись, смотрю на нее, и она снова трижды тычет указательным пальцем в уголок рта, где еще виднеется высохшее пятно от мороженого. Я беру дочь за руку, отвожу ее пальцы ото рта и качаю головой. Иногда Соня совсем забывает о камерах слежения.

И о Стивене.

Соня снова указывает на свой рот, ей ужасно хочется, чтобы я обратила внимание на мазки засохшего шоколада в уголках ее губ, и я снова отнимаю липкую ладошку дочки ото рта и задерживаю в своей ладони. Несколько секунд, когда ребенок дома указывает на что-то пальцем или пользуется еще какими-то жестами, возможно, особого значения и не имеют – но только до тех пор, пока это не становится привычкой. И я, естественно, с болезненной четкостью представляю себе, как Соня делает нечто подобное прилюдно или, что еще хуже, на глазах у Стивена, который, черт побери, превратился в настоящее дитя шпионов^[21]. Одной рукой я крепко сжимаю пальцы малышки, а второй так и сяк верчу принесенный ею из школы конверт.

Естественно, на нем наклейка: «мистеру Патрику Макклеллану». И конверт, естественно, запечатан.

Так, приехали. Свои три слова сегодня я уже истратила, если, конечно, не считать прочитанный мной про себя список ингредиентов на пакете с мукой, а также вспыхнувшую в окошечке микроволновки зеленую надпись «Ваш напиток готов», когда я подогревала себе кофе.

– За что? – спрашиваю я, заводя Соню в дом и стараясь не обращать внимания на очередное *тик-тик* у меня на запястье. «Осторожней, не произносите бранных слов». Я понимаю, что тут необходим куда более длительный, чем обычно, разговор, но мне отчаянно хочется знать, что за новости принесла домой моя девочка. А еще мне хочется непременно удержать ее от безудержной болтовни – она ведь легко может выпалить больше слов, чем ей можно, а я еще не проверила, какое число показывает ее счетчик.

На кухне, пока я варю для нас обеих какао – это наш с Соней безмолвный полуденный ритуал, – она вскакивает на высокую табуретку и, выпрямившись во весь рост, выбрасывает вперед левую руку.

– Самый низкий! – оглушительно выкрикивает она.

Это еще что такое, черт побери?

И только тут я наконец вижу, какую цифру показывает ее красный счетчик. Впрочем, их все называют *браслетами* – и в школе, и у врача, и в рекламных объявлениях, которые показывают перед началом сеанса в кино. Черт побери, думаю я, а сама, намочив бумажное полотенце, тщательно стираю мазки засохшего шоколада с мордашки Сони – подозреваю, что именно этот шоколад и был Сониным призом, – однако новые шоколадные усы у нее появляются почти сразу же, когда она начинает ложкой черпать какао из своей большой кружки. Среди тех рекламных объявлений, кстати, можно найти средства, способные несколько ослабить воздействие электрошока при нарушении лимита; или же можно выбрать «свой любимый цвет», или «добавить немного блесок». Но, может быть, вы предпочитаете полоски? У них есть все и любого оттенка. Можно подобрать устройство, соответствующее любому вашему настроению, любому наряду, если ваш облик требует единого стиля. В ассортименте имеются даже «браслеты» с изображениями мультипликационных героев – специально для малышни.

Господи, как же мне хочется послать куда подальше всех тех, кто это создал, а также проклятых торгашей с их отвратительными попытками убедить нас, что «выбор по-прежнему огромен». Думаю, если когда-нибудь все вернется на круги своя, то все эти люди воспользуются старой привычной отговоркой: «Я всего лишь исполнял приказ».

Где-то мы уже слышали нечто подобное, не так ли?

Нет, я просто больше не могу вот так сидеть на кухне и смотреть, как моя маленькая дочь беззаботно прихлебывает какао, положив передо мной тот проклятый белый конверт, который я не имею права распечатать, как если бы в нем была, как минимум, гребаная медаль Почета^[22]. Но я стараюсь не думать об этом конверте и мысленно представляю себе, как Соня на площадке для игр прыгает через скакалку и поет песенку из своего букваря «У мисс Люси был кораблик», как она хихикает, по нескольким буквам догадавшись о слабо завуалированном ругательстве, как она строится вместе со всеми на утренней линейке, перешептываясь с подружками насчет нового мальчика, появившегося у них в классе, как она пишет любовные записочки и счастливые пожелания на листочках, из которых потом складывает и вырезает всякие забавные оригами, как она произносит тысячи бесполезных, но таких драгоценных слов перед тем, как прозвонит звонок к первому уроку...

Мои мысли, точнее мой сон наяву, прерывает урчание, а затем и рычание на заднем дворе автомобильного мотора, отчетливо слышимое

сквозь сетку открытой двери. Ну что ж, хорошо хоть Патрик вернулся домой до прихода мальчишек. Мне, собственно, сказать ему особенно нечего, но я непременно должна остаться с ним наедине, чтобы узнать, какую тайну хранит загадочное письмо, принесенное Соней из школы.

Да нет, на самом деле мне это уже не нужно, потому что я через всю кухню вижу светящуюся цифру на счетчике моей девочки, и до меня доходит ужасный и абсолютно точный смысл ее радостных восклицаний «Завоевала приз!» и «Самый низкий!».

Я понимаю, каких результатов добиваются в школе от маленьких учениц. Я понимаю, какими успехами хвасталась сегодня Соня. Я это поняла, увидев, что счетчик на ее тоненьком запястье показывает цифру.

Значит, в школе моя дочь весь день молчала.

Глава двадцатая

Я была права; там устроили соревнование.

В письме, которое Патрик вскрыл и сразу же мне зачитал, «с огромным удовольствием» сообщалось о начале ежемесячных соревнований для всех учащихся школы ШИД 523 – где ШИД означает Школу Истинных Девочек. По всей видимости, сыновья мои теперь ходят в школу ШИМ, то есть Школу Истинных Мальчиков – Стивен-то, можно сказать, уже отрезанный ломоть, а Сэму и Лео еще предстоит там учиться с пятого по восьмой класс. В школе для девочек такого деления нет; возможно, это тоже один из пунктов манифеста преподобного Карла – ведь таким образом старшие помогут обучению младших, а также не нужно будет удваивать количество цифровых швейных машинок и садового инвентаря для уроков домоводства.

– Для начала они решили устраивать ежедневные соревнования, – говорит Патрик, достав из холодильника пиво и устраиваясь напротив меня на барной табуретке. Он так рано обычно не начинает, но я ничего не говорю. – Приз в виде мороженого получает та ученица младших классов, которая за день произнесет меньше всего слов. – Патрик жадно пьет пиво прямо из бутылки. – Это, естественно, проверят по показателю ее счетчика.

В общем, все именно так, как я и ожидала.

А Патрик продолжает:

– В конце месяца они намерены подсчитать все показатели и...

– Слова, – вставляю я. И черный браслет у меня на левом запястье тикает один раз.

– Да, слова. Есть приз за победу в классном соревновании, который они именуют «соответствующим возрасту». Младшим девочкам в подарок предназначается кукла, ученицам средних классов – разные игры, а для тех, кто старше шестнадцати, – наборы косметики.

Супер. Скупают голоса детей в обмен на всякую дрянь.

Но хуже всего то, что Патрик улыбается.

– Ладно, хватит об этом, – говорит он. – Все это ерунда.

– Да никакая это, черт побери, не ерунда! – ору я и тут же чувствую, как проклятый браслет больно сжимает мое запястье, а затем следует четыре довольно легких укола, и я замечаю, что цифра на экране счетчика выросла с 46 до 50. Затем счетчик как-то странно квакает, точно больная лягушка, и цифра 50 мгновенно превращается в 60. Ладно, придется

исключить из обращения «черт побери» и кое-что еще, а также напрочь забыть о списке Джорджа Гарлина из семи грязных слов. Хорошо бы еще понять, почему это Патрик продолжает так радостно мне улыбаться?

А он, словно прочитав мои мысли, выходит из кухни, приносит из прихожей свой портфель и ставит его между нами на кухонную стойку.

– Презент от президента, детка, – говорит он, извлекая из портфеля конверт с президентской печатью в правом верхнем углу. А слева, где обычно приклеивают марку, выдавлена серебром большая буква «И» – образец для нового значка Стивена.

Ну да, как говорится, «помянешь дьявола...». Я слышу, что вернулись наши сыновья.

Первыми в кухню врываются Лео и Сэм. Здороваются, целуют меня и тут же, словно рой пчел, лезут в буфет, чтобы перекусить. Стивен – сегодня он какой-то еще более сдержанный и сосредоточенный, чем обычно, – тоже прямым ходом направляется к холодильнику, бросив на ходу: «Привет, пап. Привет, мам».

В холодильник он, естественно, лезет за молоком, а молоко-то купить я и забыла.

– Прелестно! – ядовитым тоном замечает Стивен, вытряхивая из пакета в кружку последние капли. По-моему, его удивляет, что я никак на его замечание не реагирую, и он решает сменить тему, увидев у меня на руке новый «аксессуар». – Ого! Ты уже последнюю модель получила? Здорово! И у Джулии тоже такой, только пурпурный с серебряными звездами. Она его сегодня впервые надела и показала мне, пока мы с автобуса домой шли.

У меня нет ненависти к собственному сыну. У меня нет ненависти к собственному сыну. У меня нет ненависти к собственному сыну.

И все-таки в данный момент я его чуточку ненавижу. Совсем чуть-чуть.

– Ты все-таки прочти это письмо, Джин, – напоминает мне Патрик.

Сегодня президент Майерс опять выступал по телевидению. Такое ощущение, словно он там вечно торчит и вечно трубит победу неких новых планов, благодаря которым наша страна полностью изменится. А еще он постоянно уверяет нас, что мы стали значительно богаче, что экономика на подъеме – только не в нашем домашнем хозяйстве, о чем мне то и дело напоминает сломанный кондиционер, на починку которого нет денег, – что безработица существенно уменьшилась – ну это если не считать те семьдесят миллионов женщин, которые своей работы попросту лишились, – и вообще все у нас просто великолепно.

Все, правда, выглядело далеко не так великолепно, когда Майерсу пришлось отбивать вопросы прессы.

– Ничего, мы непременно кого-нибудь найдем, чего бы нам это ни стоило, – ответил он на вопрос о состоянии его брата. – Мы найдем того, кто сумеет вылечить моего единственного брата.

Черта с два вы его найдете! – подумала я и, заметив призрачную улыбку на устах Анны Майерс, поняла, что и у нее мысли те же. Что ж, сестрица, я за тебя рада, ты молодец.

Даже если бы я и согласилась, никаких гарантий на успех нет. Афазия Вернике – штука дьявольски коварная. Возможно, у меня еще появился бы какой-то шанс, если бы я могла быть уверена, что Лин Кван точно в моей команде, а не среди запасных, о которых упоминал преподобный Карл. А еще лучше – если бы и Лин, и Лоренцо...

Нет, не буду я сейчас думать о Лоренцо. Мне вообще неприятно думать о нем, когда рядом со мной Патрик.

– Так ты собираешься вскрыть президентское письмо? – Патрику явно не терпится.

Я поддеваю ногтем клапан, и внутри оказывается один-единственный сложенный втрое листок бумаги. «Шапка» у послания какого-то странного белесого цвета. Но адресовано оно мне, доктору Джин Макклеллан. Значит, меня на какое-то время опять «переквалифицировали» в доктора?

Собственно, само письмо состоит из одного предложения.

– Ну? – спрашивает Патрик, но по его глазам я вижу: ему и так известны намерения нашего президента.

– Погоди.

Он приносит из холодильника еще бутылку пива, но пьет ее уже не с тем торжествующим видом, с каким выпил первую бутылку. Вторая бутылка имеет чисто медицинские цели: это как бы некий анестетик, помогающий дождаться той минуты, когда я, наконец, покину кухню и выскажу свое решение вслух. Но, может, Патрик рассчитывает, что я от радости начну кувыркаться прямо на этом плиточном полу? Кто его знает.

Во всяком случае, в доме сейчас слишком жарко, чтобы о чем-то думать. Куда приятней на заднем дворе под магнолией, посаженной миссис Рей.

«Пожалуйста, позвоните мне и назовите вашу цену» – вот, собственно, и все, что написал мне президент. Впрочем, даже приятно сознавать, что этот ублюдок – тоже живой человек.

Мою цену? Но моя цена такова: пусть повернут время вспять. Вот только это неосуществимо. Хорошо, тогда моя цена – это запретить

Движение Истинных и стереть с лица земли его активистов, то есть вырвать с корнем сорняки на том участке земли, где раньше цвел чудный сад. А еще в мою цену входит желание увидеть, как преподобный Карл Корбин и его стая будут повешены, или разорваны на куски бродячими псами, или сгорят в пламени адского огня.

Задняя дверь дома со скрипом открывается и с грохотом захлопывается – наверное, сейчас передо мной предстанет нетерпеливый Патрик. Но оказывается, что это не он, а Соня. В руках у нее листок розовой бумаги для детских поделок; он того же цвета, что и ее губы. Подойдя ближе, она протягивает его мне.

Для шестилетки это, пожалуй, почти талантливо. Во всяком случае, этот ее рисунок явно один из лучших. Изображенные на нем шесть человеческих фигурок действительно чем-то на нас похожи – Патрик, Стивен, близнецы, я и Соня. И мы, держась за руки, стоим у нас в саду под деревом, покрытым белыми цветами-звездами. Близнецов Соня изобразила в одинаковой одежде, а у Патрика в руке портфель, больше, правда, похожий на чемодан. Рубашка Стивена, естественно, украшена новым значком; у меня волосы, как всегда, собраны в конский хвост. На запястье и у меня, и у Сони браслет – у нее красный, у меня черный. И все мы улыбаемся, стоя в солнечных лучах, а само солнце Соня разрисовала оранжевыми сердечками.

– Очень красиво, – говорю я, разглядывая рисунок, хотя красивым он мне отнюдь не кажется. Наоборот, по-моему, это самое что ни на есть уродство и даже хуже, потому что всех нас Соня выстроила «по ранжиру».

И я, вместо того чтобы стоять рядом с Патриком или хотя бы в самом конце нашего семейного ряда, завершая и обрамляя его, стою пятой по счету, а передо мной соответственно выстроились: первым мой муж, затем Стивен, а затем одиннадцатилетние близнецы. И меня Соня изобразила самой маленькой из всех, меньше только она сама. Но я все-таки заставляю себя улыбнуться, потом сажаю дочку к себе на колени и прижимаю ее головенку к своей груди, чтобы она не увидела, как в глазах у меня закипают слезы, которые я вряд ли сумею сдержать.

И снова я вспоминаю Джеки и ее последние слова – те обвинения и предостережения, которые она бросила мне в лицо там, в нашей убогой квартирке в Джорджтауне. Джеки, разумеется, была права: я жила в пузыре, который сама же и надула – постепенно, по одному выдоху за раз.

Ну что ж, мы получили по полной программе. На мне и на моей дочери проклятые наручники, которые заставляют нас во что бы то ни стало держаться в строю. Интересно, что сказала бы Джеки по поводу

Сониного рисунка. Что-нибудь вроде: «Отлично сработано, Джин. Ты сама заправила автомобиль и сама же направила его напрямиком в ад. Приятного тебе горения!»

Да. Пожалуй, именно так она бы и сказала. И была бы права.

Я оттираю рукавом слезы и поспешно пытаюсь придать лицу веселое выражение, прежде чем позволить Соне повернуться ко мне. Затем я целую ее в щечку и проверяю показания своего счетчика.

Пока что сегодня я истратила всего шестьдесят три слова. Что ж, мне вполне хватит моего лимита для того, что я должна сказать президенту Майерсу.

Глава двадцать первая

«Я смогу это сделать», – думаю я.

Я сумею выразить свою основную мысль даже меньшим количеством слов, чем оставшиеся тридцать семь. И я мысленно репетирую свою часть этого телефонного разговора:

«Мне нужны три вещи, господин президент: чтобы с моей дочери сняли счетчик; чтобы ей разрешили не посещать школу – я сама буду с ней заниматься с пятницы по понедельник; чтобы Лин Кван стала полноценным участником проекта».

Ни к чему упоминать еще какие-то имена. Все равно Лоренцо теперь-то уж наверняка в Италии.

Соня и мальчики сидят в «малой» гостиной и смотрят мультфильмы; звук они включили на полную мощность, так что слышно по всему дому, даже на кухне. Зато на кухне относительно прохладно благодаря большому открытому окну, и потом, здесь мы с Патриком можем побыть наедине.

– Ну, детка, давай, звони, – подбадривает меня Патрик и кричит, чтобы Стивен хоть немного убавил громкость. – Звони же.

Мне никогда прежде не доводилось набирать номер Белого дома. Впервые, Патрик начал там работать уже после того, как были введены наручные счетчики. А во-вторых, с какой стати мне вообще звонить ему на работу? Я ведь знаю, что тут же услышу в трубке еще чье-то тяжелое дыхание. Мне это совершенно ни к чему. Да и подводить Патрика не хочется.

Я ощупью нахожу нужные цифры, нажимаю нужные кнопки, но на последней чуточку ошибаюсь и набираю «пять» вместо «четырёх», вот до чего сильно дрожат у меня руки. И мне отвечает чей-то голос – но это голос не секретаря и не кого-то из привратников, нет, это ЕГО собственный голос, и я старательно произношу свои тридцать пять слов.

– Извините, доктор Макклеллан, но я не могу этого сделать.

Вот только совсем не эти слова ОН произносит своим грубым хриловатым голосом, который иногда кажется мне неестественно жестким, потому что я сильно подозреваю, что в душе наш президент – человек слабый, опасливый и беспокойный. Я, собственно, подозреваю, что все они такие.

На самом деле после мимолетной паузы президент произносит всего лишь: «Очень хорошо, доктор Макклеллан», и тут же вешает трубку.

– Ого! – Патрик потрясен. Все время разговора он стоял совсем рядом со мной, дыша пивом прямо мне в нос и внимательно вслушиваясь в каждое слово.

А еще через несколько мгновений звонит телефон, и Патрик отвечает радостным «Хэлло!». За этим следует несколько отрывистых слов: «Да». «Отлично». «Ладно». И я никак не могу понять, с кем он говорит и с чем соглашается.

– Томас будет здесь через полчаса, – говорит он. – Чтобы снять эти...

Только не вздумай назвать эти штуки браслетами!

– ...счетчики.

Я киваю и вытаскиваю две коробки пасты, чтобы приготовить обед. А завтра, это я уже про себя решила, у нас на обед будут бифштексы. Целая гора бифштексов! В последнее время мы не слишком-то часто их ели.

Пока я давлю и размешиваю в миске очищенные томаты, я думаю только о Соне. О том, что менее чем через полчаса она будет свободна от этого метафорического ошейника, сможет сколько угодно петь, болтать и отвечать на любые вопросы, а не только на те, которые требуют либо кивка, означающего «да», либо качания головой, означающего «нет». Вот только я не знаю, будет ли она так уж рада этой свободе.

В колледже еще до того, как я, включив четвертую скорость, с головой погрузилась в черную дыру науки о нервной деятельности и связанных с ней речевых процессах, я изучала психологию. Точнее, «бихевиоральные науки» – детскую психологию, аномальную психологию и т. д. И вот сейчас, уставившись в миску с тертыми помидорами и чесноком, я думаю, что с точки зрения бихевиористики блестяще выполнила задачу, поставленную передо мной... государством. Ведь я, по сути дела, сама приучила Соню держать мысли и слова при себе и лишней раз их не высказывать, поощряя ее привычку к молчанию подачками в виде шоколадных печенюшек и алтея. Пожалуй, за такое меня следовало бы и материнских прав лишить.

А я постоянно напоминаю себе, что это не моя вина. Ведь я же не голосовала за Майерса.

Хотя на самом деле я вообще не голосовала.

И снова я слышу голос Джеки, которая популярно объясняет мне, какое я молчаливо соглашающееся дерьмо.

– Ты просто *обязана* голосовать, Джин! – возмущалась она, швырнув на диван пачку агитационных листовок, которые усердно распространяла в нашем кампусе, тогда как я готовилась к одному чудовищно трудному устному экзамену, прекрасно зная, что он будет именно чудовищным. –

Обязана!

– Я обязана делать только две вещи: вовремя платить налоги и вовремя умереть, – довольно насмешливым тоном возразила я. В том семестре наша с Джеки дружба уже начинала сходить на нет. Я всю встречалась с Патриком и предпочитала наши с ним ночные дискуссии о когнитивных процессах гневным речам Джеки о самых разнообразных вещах, способных послужить причиной очередного взрыва ее протестных настроений. А Патрик был таким надежным и спокойным; и потом, он ничего не имел против того, что я с головой погружаюсь в работу, пока он один за другим сдает бесконечные экзамены в своем медицинском институте.

Естественно, Джеки сразу его возненавидела.

– Он же просто ссыкун, Джин. Просто ссыкло.

– Ничего подобного! Он очень милый, – сердито возражала я.

– Спорим, он цитирует «Анатомию Грея», когда водит тебя поужинать.

Я отложила свои конспекты в сторону.

– Ты имеешь в виду книгу или сериал?^[23]

На сей раз усмехнулась Джеки. А я сказала:

– Патрик вообще не говорит о политике, Джеко. – Так я ее называла – когда-то. – А в этом гребаном городе все только и делают, что говорят о политике.

– Когда-нибудь, дорогуша, тебе все же придется переменить свое мнение. – И Джеки швырнула на мой диван, купленный в магазине подержанных вещей, какую-то книжку в бумажной обложке. – Вот, почитай-ка. Эту книжку сейчас все обсуждают. Все.

Я взяла книжку.

– Это какой-то роман. Ты же знаешь, что романов я не читаю. – Это была чистая правда; при необходимости прочитывать пять сотен журнальных страниц с научными статьями в неделю у меня просто не оставалось времени на художественную литературу.

– Хотя бы текст на задней обложке прочти.

Я прочла.

– Этого никогда бы не произошло, – сказала я. – Никогда. Женщины ни за что с этим не примирились бы.

– Сейчас легко так говорить, – возразила Джеки. Она была в своем обычном «прикиде»: низко сидящие на бедрах джинсы; коротенькая маечка, не прикрывающая живота, который Джеки и не думала ни от кого прятать, несмотря на изрядную и весьма некрасивую складку; уродливые, но страшно удобные сандалии; в правом ухе целых три кольца. Сегодня в

ее коротко подстриженных, стоящих торчком волосах красовались две-три зеленые пряди. Завтра эти пряди вполне могли стать синими. Или черными. Или красноватыми, цвета черри-колы. Джеки вообще была совершенно непредсказуема.

Некрасивой ее назвать было, пожалуй, нельзя, однако ее квадратная челюсть, острый нос и маслянистые глазки парней что-то не привлекали, и у наших дверей никто не торчал, чтобы пригласить ее на свидание. Но Джеки это, похоже, было безразлично, а почему это так, я поняла далеко не сразу. Как-то раз в сентябре она затащила меня на какую-то вечеринку. Собственно, это была даже не вечеринка, а корпоратив, устроенный организацией «Запланированное материнство», и там, естественно, было полно выпивки и всевозможных закусок, которые Джеки всасывала в себя так, словно на завтрашнее утро был назначен Армагеддон. У нас с ней редко имелись свободные деньги, чтобы купить алкоголь и хотя бы какие-то убогие закуски, однако Джеки всегда ухитрялась где-то изыскать пару долларов себе на курево.

Господи, как же она тогда напилась! В итоге мне пришлось чуть ли не на себе тащить ее по булыжным улицам домой, что оказалось вдвойне сложно, поскольку она еще и пыталась курить, прикуривая свои вонючие сигареты одну от другой.

– Обожаю тебя, Джини, – сказала она, когда я наконец ухитрилась втащить ее в дверь нашей жалкой квартирki.

– И я тебя, Джеко, – машинально откликнулась я. – Чаю хочешь? Или, может, еще чего-нибудь? – Никакого чая у нас, разумеется, не было, и я, открыв банку колы, попыталась скормить Джеки пару таблеток аспирина.

– Я хочу поцелуй, – сказала она, рухнув на кровать, и потянула меня за собой. От нее сильно пахло пачулями и красным вином. – Иди сюда, Джини. Поцелуй меня.

Однако Джеки хотелось не просто чмока; она хотела долгого влажного поцелуя.

На следующий день за кофе она со смехом вспомнила об этом и извинилась:

– Извини, детка. Вчера я, кажется, была несколько не в себе.

Патрику я об этом никогда не рассказывала.

– О чем задумалась? – Вопрос Патрика застает меня врасплох, и я так вздрагиваю, что толченые помидоры брызгами разлетаются по всему столу.

О чем я задумалась? Пожалуй, о том, где в итоге оказалась Джеки Хуарес. Если она так и не решила сменить сексуальную ориентацию, то в итоге вполне могла оказаться в одном из тех лагерей, куда сгоняли всех

выловленных представителей ЛГБТ. Я бы, пожалуй, поставила на лагерь.

Преподобный Карл некоторое время грезил идеей разместить геев и лесбиянок группами в одной тюремной камере, и эта идея невероятно пришлась по вкусу Истинному Большинству, но потом они от столь радикального решения отказались, сочтя это контрпродуктивным. Ведь, подумайте только, до чего они могли бы дойти! Так что преподобному Карлу пришлось модифицировать свой план, и он приказал помещать представителей сексуальных меньшинств по двое в каждую камеру: мужчину и женщину. «Ничего, они довольно скоро разберутся, что к чему», – заявил он.

Разумеется, утверждал Карл Корбин, эти лагеря – мера всего лишь временная, «пока мы не найдем нужный путь».

Только лагеря эти были вовсе даже и не лагерями, а самыми настоящими тюрьмами. Во всяком случае, официально считались тюрьмами до того, как были подписаны новые исполнительные требования относительно исполнения наказаний. И тогда, собственно, в тюрьмах нужда практически отпала, что отнюдь не означало, что и преступления больше не совершались. Преступления, конечно, по-прежнему совершаются, но вот преступников больше никуда помещать не нужно. Во всяком случае – надолго.

Я сперва вытираю красные помидорные кляксы со стола и с плиток пола, а уж потом отвечаю Патрику:

– Так, ни о чем. – *Тик. Звяк. Легкий укол. Ты вышла за свой лимит, детка.* Стрелки часов, похоже, после того звонка решили двигаться со скоростью улитки.

Патрик целует меня в щеку.

– Потерпи еще несколько минут, и все мы снова вернемся к нормальной жизни.

Я молча киваю. Конечно, вернемся. Но эта жизнь продлится ровно до того дня, когда мной будет найдено целительное средство для брата президента.

Глава двадцать вторая

Обед, несмотря на все мои усилия и томатный соус, приготовленный по маминему рецепту, проходит ужасно.

Во-первых, Соня за столом вообще не появляется, так и сидит в своей комнате. Я целый час успокаивала ее после того, как Томас – тот самый, в мрачном темном костюме и с таким же мрачным выражением лица – снял с наших рук счетчики. С Сониным ему пришлось повозиться, потому что она никак не желала сидеть спокойно, все старалась вывернуться, а во время второй попытки даже за руку его укусила. Не до крови, конечно, но Томас взвизгнул, как щенок, которому нечаянно отдавили лапу, и было слышно, как он себе под нос бормочет ругательства, направляясь к своей машине.

– Все хорошо, детка. Теперь ты можешь говорить сколько угодно, – утешала я Соню, когда мы с ней остались одни.

Но добилась от нее лишь одного слова «нет».

– Тебе больше не нужно будет ходить в школу, – уговаривала ее я, – и всеми предметами мы с тобой будем заниматься здесь, дома. А еще мы будем читать разные интересные истории. А когда я буду на работе, ты сможешь смотреть мультики у миссис Кинг. – Вообще-то мне ненавистна даже мысль о том, что Соня хотя бы несколько минут проведет в обществе Эвана и Оливии Кинг, но еще более отвратительной мне представляется возможность возвращения моей дочери в «школу для Истинных девочек».

В последнее время, похоже, все представляет собой некий выбор между двумя разновидностями чего-то очень плохого, ненавистного.

Стоило мне упомянуть о школе, и Соня снова расплакалась.

– Неужели тебе там действительно так нравится? – спросила я.

Она кивнула.

– Пользуйся словами, Соня. Говори.

Она села, выпрямившись, и крепко сжала губы. Сперва я подумала, что она просто решила немного поупрямиться – как это умеют шестилетние девочки, когда не желают ни с кем разговаривать и сидят, завернувшись в розовую простынку и окружив себя игрушечными кроликами и единорогами. Но оказалось, что Соня только еще готовится к решительному бою.

– Я завтра должна была победить! – заявила она и снова упрямо стиснула губы. Я почти слышала, как щелкает стальной ключ, поворачиваясь в невидимом замке – с такой любовью и тоской смотрела

Соня на свое опустевшее запястье.

Наконец Лео, просунув в дверь голову, сообщил:

– Мам, там твой соус кипит. Очень сильно.

– А ты что, не можешь сделать огонек поменьше? – спросила у него я, думая о том, как, интересно, я собираюсь в течение ближайших месяцев со всем этим управиться – вести работу в лаборатории, заниматься с Соней, готовить еду и вообще вести дом, где обитают четверо мужчин, абсолютно ничего не умеющих по хозяйству. Затем я снова повернулась к Соне и сказала: – Завтра мы с тобой сами разработаем систему призов, хорошо? А теперь пойдём-ка есть.

Она лишь молча помотала головой, прижимая к себе лохматого игрушечного кролика.

И вот за столом не кто-нибудь, а Стивен облакает в словесную форму то, что не дает мне покоя.

– А как же ты, мам, собираешься и Соню учить, и работать, и домашнее хозяйство вести? – проглотив очередную порцию пасты. – Кстати, у нас по-прежнему нет молока.

Мысленно я беру его за шиворот и трясу, пока у него башка не закружится. А на самом деле говорю:

– А ты и сам прекрасно мог бы съездить на своем велосипеде в «Родман» и купить себе молока. Или попросту дойти пешком до продуктового.

– В мои обязанности, мам, походы в магазин не входят.

Сэм и Лео моментально утыкаются носом в тарелки с пастой. Патрик багровеет и грозно предупреждает:

– Стивен, еще одно подобное высказывание, и можешь убираться из-за стола.

– А тебе, пап, следует более четко следовать государственной программе, – нагло отвечает Стивен и сует в рот еще порцию пасты – прямо-таки целую лопату! – а затем, поставив локти на стол и слегка наклонившись вперед, тычет указующим перстом в воздух. – Вот почему нам так необходимы новые правила и законы! Чтобы все в нашей жизни шло как полагается!

Он, похоже, не замечает, что я уставилась на него так, словно он явился из далекого космоса.

– Возьмем, к примеру, меня и Джулию...

– Джулию и меня, – машинально поправляю я.

– Да какая разница! Вот мы с Джулией уже все спланировали. Когда мы поженимся и у нас родятся дети, я буду ходить на работу, а она в это

время будет заниматься всеми домашними делами. Она это просто обожает. И все решения буду принимать я, а Джулия будет им соответствовать. И никаких камней преткновения.

Я так резко бросаю вилку, что она, звякнув, задевает краешек тарелки.

– Молод ты еще, чтобы говорить о женитьбе. Патрик, поговори с ним.

– Ты слышал, что твоя мать сказала? – говорит Патрик. – У тебя еще действительно молоко на губах не обсохло.

– Но мы уже все обсудили.

– Это ты все обсудил, – говорю я, так и не начав есть. – Да и как вообще ты мог обсуждать такие серьезные вещи с Джулией при ее сотне слов в день? Любопытно было бы узнать.

Стивен снова накладывает себе полную тарелку пасты, садится и нарочито медленно произносит:

– А я вовсе и не с Джулией это обсуждал. Я все обсудил с Эваном.

Я чувствую, что начинаю закипать.

– А что, Джулия права голоса не имеет?

Мой сын даже ответом меня не удостаивает; он лишь бросает на меня недоуменный взгляд, словно я вдруг заговорила на тарабарском языке. И мы с ним сидим, уставившись друг на друга через стол, словно незнакомцы, пока не вмешивается Патрик.

– Оставь это, Джин. Не имеет смысла ссориться из-за такой ерунды. Ему же просто по возрасту жениться нельзя – зелен слишком. – Он выразительно смотрит на Стивена. – Вот-вот, слишком зелен!

– И снова ты не прав, папа. Сегодня к нам в школу приходил один парень из департамента здравоохранения. У нас общее собрание устроили. И он нам рассказывал, что на следующий год запускают новую программу. Представляешь: десять тысяч долларов стипендии, бесплатное высшее образование и соответствующая, гарантированная правительством работа каждому, кто к восемнадцати годам вступит в брак. Естественно, речь о мальчиках. И еще по десять тысяч будут платить за каждого ребенка, который у тебя родится. Недурно, правда?

«Да уж, слаще змеиного яда», – думаю я и говорю:

– Но ты, деточка, в восемнадцать лет разрешения на брак точно не получишь!

На губах Стивена возникает некое подобие улыбки, но глаза его при этом ничуть не улыбаются. Да это и вообще никакая не улыбка. Во всяком случае, судя по тому тону, которым он произносит:

– А тебе, мам, и не придется давать мне никаких разрешений. Это папа решать будет.

Наверное, примерно так это происходило в Германии, когда к власти пришли нацисты, или в Боснии при сербах, или в Руанде, когда верх взяли бахуту. Я и раньше частенько размышляла об этом – о том, как дети способны превратиться в монстров и научиться тому, что убивать других людей правильно, что подавлять других людей законно; а еще я думала о том, как в течение одного-единственного поколения твой мир может совершенно слететь с катушек и стать неузнаваемым.

Легче, легче, думаю я и встаю, резко оттолкнув стул.

– Пойду, позвоню родителям, – говорю я. Вчера я пыталась это сделать, но на мои звонки никто не отвечал. И сегодня утром тоже. И перед обедом. Для Италии сейчас, конечно, уже слишком поздно, там почти полночь, но мне хочется поговорить с мамой.

Что-то слишком давно я этого не делала.

Глава двадцать третья

Утром в четверг я впервые за год с лишним надела деловой костюм. Чтобы его отыскать, пришлось подняться на чердак и как следует порыться в коробках, битком набитых моей лучшей одеждой, которую я убрала туда сразу после того дня, когда нам с Соней надели на запястье счетчики слов. Я не очень хорошо помню свои тогдашние действия, помню лишь, что у меня была потребность хоть чем-то постоянно заниматься, лучше всего какой-нибудь обычной домашней работой, иначе я, наверное, вполне могла бы разбить себе голову об стену или выброситься в окно.

Выбранный мною костюм в самый раз для жары – светло-бежевый, льняной. И я едва успеваю его отгладить – ликвидировать замятости годичной давности оказалось не так-то просто – и собраться с мыслями, когда раздается звонок, и Патрик впускает в дом какого-то мужчину. Впрочем, я моментально его узнаю.

Это Морган ЛеБрон с нашей, бывшей моей, кафедры, излишне молодящийся и абсолютно никчемный тип, к тому же оказавшийся полным дерьмом. Именно он занял место Лин Кван, и ничего удивительного, что президент так быстро согласился на поставленные мной условия: Морган – дурак, который не понимает, что он дурак, то есть наихудший вариант дурака.

Он входит в гостиную и, протягивая мне наманикюренную руку, восклицает:

– Доктор Макклеллан, как я рад, что вы в моей команде! Нет, ей-богу, я ужасно этому рад!

Ну, еще бы!

И команда, разумеется, *его*. Не просто команда, не наша команда, а именно *его*.

Я пожимаю ему руку. Я всегда отличалась слишком крепким для женщины рукопожатием, однако пожимать руку Моргану – все равно что лапку новорожденному котенку.

– Я тоже очень рада, – говорю я. *Ссыкло*.

А он сразу предлагает:

– Ну что, перейдем к делу? Я тут принес кое-какие бумаги вам на подпись, а потом нам нужно будет открыть депозитный счет в банке на имя вашего мужа. Ох, ну и жара у вас тут!

– Кондей барахлит, – говорю я. – Но можно пройти в заднюю комнату,

там большое окно в сад. – Нет смысла спрашивать у ЛеБрона, почему моя зарплата будет поступать на счет Патрика; все мои деньги еще год назад были переведены на его счет. Слова, паспорта, деньги – даже у преступников есть, по крайней мере, две вещи из этих трех. Во всяком случае, раньше были.

Я веду их в заднюю часть дома, заглянув по дороге на кухню, чтобы налить Патрику и себе еще кофе. Моргану я тоже предлагаю выпить чашечку, и он просит положить ему в кофе три ложки сахара и налить побольше молока. Только тут я вспоминаю, что молоко-то у нас кончилось еще вчера вечером, однако я об этом совсем позабыла из-за неприятного объяснения за обедом со Стивенем и из-за того, что Соня вчера так раскисла. Впрочем, утром она несколько оживилась, когда за ней пришла Оливия Кинг, но это, возможно, потому, что я сказала, что у миссис Кинг есть мультипликационный кабельный канал и что она вроде бы собирается испечь шоколадное печенье. Но, может быть, улыбка на лице моей дочери появилась потому, что она увидела на запястье нашей соседки счетчик цвета лаванды? Наконец хоть что-то привычное?

Первая пачка бумаг, которые Морган извлекает из своего портфеля, – это контракт, причем договор эксклюзивный (словно у меня есть еще какие-то перспективы на работу), с требованием не разглашать производственные тайны, а также приказ о временном допуске к работе в лаборатории. Это соглашение о временной работе по найму являет собой пятистраничное напоминание о том, что по закону все результаты проделанной мной работы принадлежат не мне, а нашему правительству. Я беру ручку, заботливо подsunутую мне Морганом, и подписываю все, не читая и удивляясь тому, зачем им вообще понадобилась моя подпись: ведь они в любом случае поступят так, как захотят сами. Патрик тоже подписывает соответствующие документы относительно банковского счета и передает их Моргану.

Я тем не менее все же отмечаю про себя условия оплаты: пять тысяч долларов в неделю и бонус в сто тысяч долларов, если я завершу создание сыворотки, исцеляющей от афазии, к 31 августа. Этот бонус будет уменьшаться на 10 % за каждый лишний месяц сверх означенного срока. Что, видимо, должно побудить меня работать быстрее, но мне совершенно ясно: чем скорее я закончу работу, тем скорее металлические наручники вернутся на наши с Соней запястья. Хотя, конечно, они так или иначе вернутся, и это всего лишь вопрос времени.

– Замечательно, – говорит Морган, вытаскивает из портфеля какое-то устройство и ставит его на кофейный столик между нами. Это изящный

черный предмет, похожий на айфон, только побольше. – А это для органов безопасности, – поясняет он, нажимает на какую-то кнопку, что-то набирает на клавиатуре и вводит мое имя. – Так, первым поднесите к экрану большой палец, затем указательный и так далее. Просто следуйте инструкциям и держите палец у экрана, пока не услышите «бип».

Ну, естественно, им захочется проверить мои отпечатки пальцев. Я послушно выполняю все инструкции и убираю руку лишь после того, как машинка сканирует мой левый мизинчик. Затем Морган прячет ее в портфель и ждет.

– Это займет всего несколько секунд. Если все будет в порядке, мы сможем прямо сейчас открыть ваши файлы, а потом отправимся напрямиком в мою лабораторию.

Снова это «мою». Интересно, сколько *моей* работы – моей и Лин – будет подсунуто начальству за подписью Моргана?

– Ну вот и отличненько! – говорит Морган, когда из его портфеля доносится писк машинки. – Вас проверили, и все у вас чисто. – Он поворачивается к Патрику, который в течение всей этой процедуры с бесконечными подписями и отпечатками пальцев нетерпеливо крутит в руках связку ключей. – Ну что ж, сэр...

Патрик выходит из комнаты и начинает отпирать двери. Сперва дверь в кабинет. Затем дверцу металлического сейфа, стоящего возле окна. Затем дверцы того шкафа, где, как я предполагаю, весь последний год проторчали мой ноутбук, флешки и папки с записями. Пока он этим занимается, Морган достает очередную стопку каких-то бумаг.

– Вот здесь список членов команды, – говорит он, вручая мне копию. Слава богу, на этот раз он не сказал «моей». Если бы он это сделал, я бы, пожалуй, влепила ему пощечину.

Руководитель команды, разумеется – сам Морган ЛеБрон. После его имени следует краткая биографическая справка, включая упоминание о его последней должности: профессор, кафедра лингвистики, университет Джорджтауна. Ниже перечислены все остальные в алфавитном порядке: первой стоит Лин Кван, и приводятся все ее данные, включая определение «бывшая»; затем иду я, тоже «бывшая». Каждый раз это слово – словно тычок в глаз.

Но я не готова к тому удару, который получаю уже в следующую секунду. Вот уж действительно удар под дых.

Третьей в списке следует фамилия Росси. Имя – Лоренцо.

Глава двадцать четвертая

Как же давно я не включала свой ноутбук! Боюсь, батарея у него окончательно села и этот год бездействия отправил его в такое же состояние сонного молчания и бездействия, в какое была погружена я. Но он послушен, как старый друг, ждущий телефонного звонка, или как пес, терпеливо сидящий у двери, пока хозяин не вернется домой. Я провожу пальцем по гладким клавишам, стираю пыль с экрана и стараюсь взять себя в руки.

Все-таки год – это довольно долго. Черт возьми, когда у нас в доме как-то на два часа отключился Интернет, это всем показалось чем-то вроде конца света.

Восемь тысяч семьсот шестьдесят часов – это на целую жизнь дольше, чем те два часа; вот почему мне нужна еще минутка, чтобы прийти в себя, а потом выйти из дома, завести свою «Хонду» и следом за Морганом поехать в лабораторию, где отныне и буду проводить по три дня в неделю до тех пор, пока нам не удастся привести в порядок президентского брата.

Эта минутка мне нужна также и для того, чтобы быстренько просмотреть те свои файлы, которые я всегда тайком копировала и держала дома, чтобы не таскать одни и те же материалы туда-сюда из своего рабочего кабинета в университетском кампусе. Среди них есть, например, кое-какие данные, которые мне не хотелось бы показывать Моргану, пока я не переговорю с Лин.

Верхняя папка – это именно то, что мне нужно; на обложке у нее красная буква «Х». Патрик уже уехал на работу, а Морган вышел, уселся в свой «Мерседес» и кому-то звонит – наверное, преподобному Карлу, чтобы похвастаться, какую фантастическую команду ему удалось собрать. В общем, пока что я осталась одна в этой практически нежилой комнате, отделанной деревянными панелями, где негромко бормочет вставленный в окно кондиционер, а по стенам размещено – ну, не знаю точно – что-нибудь около пяти миллионов фунтов книг. Книги, конечно, столько не весят, но наваленные грудями стопки бумаг и академических журналов и впрямь выглядят как самые настоящие горы.

Стоящим здесь раскладным диваном мы не пользовались уже года полтора – со времен приезда нашего последнего гостя. А больше к нам никто и не приезжает. Зачем? Как-то раз мы попытались пригласить на обед наших старых друзей, с которыми я познакомилась, когда Стивен был еще в

пеленках, но за столом все выдержали не больше часа: мужчины разговаривали друг с другом, а женщины молча смотрели в свои тарелки с лососями. И в итоге все решили разойтись по домам.

Подтащив к себе подушку в дешевой вельветовой наволочке, я засовываю внутрь папку с красной буквой «Х», даже не пытаюсь вытряхнуть оттуда крошки от крекеров, кусочки попкорна и случайно завалившиеся монетки.

То, что хранится в сером почтовом конверте, лоснящемся от бесчисленных прикосновений моих собственных рук, – результат той работы, которая, когда я сама буду к этому готова, заставит афазию Вернике повернуть вспять. Я думала о том, чтобы найти более подходящее и надежное место для хранения этих результатов, но пришла к выводу, что, учитывая количество скопившегося за год мусора между подушками дивана, на котором никто не спит, в этом нет особой необходимости.

Никто, даже Патрик, не знает, что мы, по сути дела, уже пересекли ту грань, которая отличает понятие «проект закрыт» от понятия «проект завершен»; хотя, по-моему, Лин и Лоренцо что-то такое подозревали.

За день до того, как Томас и его вооруженные электрошокерами люди в первый раз за мной явились, я как раз просматривала одну свою лекцию о речевых процессах и их связи с задней долей левого полушария головного мозга – с той его зоной, где встречаются височная и теменная доли, то есть с зоной Вернике. Темой лекции были речевые нарушения, связанные с повреждениями столь сложного узла в коре головного мозга, а потому большинство моих студентов записались на участие в этом семинаре, и в тот день аудитория была набита битком; пришли также мои коллеги и коллеги моих коллег, пришел наш декан, приехали исследователи из других городов, заинтригованные тем последним прорывом, который удалось осуществить нашей группе. Пока я выступала, Лин и Лоренцо сидели в заднем ряду.

Они, должно быть, заметили, как заблестели мои глаза, когда я, одно за другим меняя на экране изображения различных отделов головного мозга, подобралась наконец к заветной зоне. Собственно, изобретение сыворотки, которую мы намеревались использовать для борьбы с афазией Вернике, было плодом не только моих усилий. Да и положительного результата можно было бы добиться только с помощью «интерлейкина-1»^[24], который давно уже применяется для снижения болевых ощущений при ревматоидном артрите; необходимо было также использование стволовых клеток младенцев, которые увеличили бы пластичность головного мозга пациента и способствовали бы более быстрому восстановлению его

функций. Одним из моих вкладов – наших вкладов – в борьбу с афазией Вернике было определение той конкретной точки, где следовало вводить сыворотку в мозг, не опасаясь ее возможного пагубного воздействия на те зоны коры головного мозга, что расположены рядом с зоной Вернике.

Однако у нас в рукаве был припрятан и еще один, возможно самый главный, козырь. Прошлой весной как-то утром в среду, когда вишни в садах словно взорвались цветом, создавая чрезвычайно фотогеничный пейзаж для любителей фотографироваться, и Вашингтон, как и каждый год, начали заполнять толпы туристов, Лоренцо затащил меня к себе в кабинет.

Конечно же, сперва он меня поцеловал. Я и сейчас помню горьковатый вкус эспрессо у него на губах. Странно, как поцелуй способен даже горечь превратить в сладость.

Он целовал меня страстно и долго – так целуются любовники, особенно если поцелуи украдены или достались дорогой ценой, – но потом вдруг оторвался от меня и улыбнулся.

– Погоди, я еще не закончила работу, – сказала я.

Он смерил меня взглядом с головы до ног, от «вдовьей морщинки» у меня на лбу до черных лакированных туфелек, которые я недавно стала носить на работу вместо куда более удобных лоферов.

– Я тоже, – сказал он. – Но у меня есть для тебя один сюрприз.

Мне страшно нравились сюрпризы Лоренцо. Они мне и сейчас нравятся.

И пока я спускалась с высот нашей страсти, он расчищал место на столе, швыряя в сторону папки и журнальные статьи, а потом выложил там искомые материалы.

– Вот. Проверь-ка заодно для меня все цифры.

Статистика выглядела очень хорошо. Отличные значения «р»^[25] и само построение экспериментальных данных свидетельствовали о том, что со статистикой у Лоренцо все в порядке. А вообще эти данные я воспринимала с таким восторгом, словно это вода и манна небесная, посланные Робинзону Крузо на его необитаемом острове.

– Ты уверен? – спросила я, еще раз просматривая данные.

– Вполне. – Он стоял у меня за спиной, обнимая меня за талию обеими руками, и его пальцы, точно пятиногие пауки, украдкой подползали к моим грудям. – Во всяком случае, кое в чем.

В университетском кампусе мы с ним до сих пор ничем таким не занимались. Не пили, так сказать, из священной Чаши Грааля, то есть до

самого конца не доходили, только целовались и ласкали друг друга в кабинете Лоренцо или в моем, заперев дверь на ключ. А однажды он проник следом за мной в факультетскую душевую и – просто стыдно в этом признаваться – довел меня до оргазма всего лишь с помощью пальца. После семнадцати лет брака и четырех родов много времени на это не потребовалось.

Вот и теперь он, должно быть, почувствовал, что во мне разгорается желание, потому что сразу меня отпустил и дал мне возможность как следует прочитать текст.

– Черт побери! – воскликнула я. – Неужели тебе все-таки удалось выделить этот белок?

Мы как раз бились над решением этой последней задачи, пытаюсь выделить некую биохимическую субстанцию, которая, как мы знали, у одних людей есть, а у других отсутствует. Лоренцо собрал данные, обследовав более двух сотен человек и пытаюсь выделить некий возможный индикатор, способный предсказывать речевые способности индивида. Он назвал свой проект «проектом Киссинджера». Разностороннее образование и обширные знания Лоренцо как в области биохимии, так и семантики делали его поистине незаменимым для поисков связующего звена между талантом красноречия и химией мозга.

– У тебя карта, а у меня ключ, дорогая. – И руки Лоренцо скользнули вниз, за пояс моей юбки.

– Как ты насчет того, чтобы немного потренироваться в отпираании замка? – спросила я. Лоренцо всегда пробуждал во мне глубоко затаенное кокетство. – Скажем, через некоторое время?

– Чуть позже. На том же месте.

У нас был маленький домик – Крабья Норка, как мы его называли, – в Энн-Арундель-каунти на берегу Чесапикского залива, то есть достаточно далеко от того бунгало в пригородах Мэриленда, где я жила с Патриком и детьми. О существовании этого убежища никто не знал. Лоренцо арендовал его на свое имя еще два месяца назад.

Но сейчас нам, конечно, лучше бы туда не ездить. Впрочем, Лоренцо наверняка уже отказался от этого домишки.

Я укладываю ноутбук и папки – все кроме одной – в старый портфель, с которым ходила еще в те времена, когда вместе с Джеки училась в аспирантуре, и выхожу из дверей с приятной улыбкой на лице, которая, надеюсь, поможет мне скрыть от Моргана истинную причину моей задержки. Я вообще хочу этим летом купить себе как можно больше времени, постаравшись растянуть работу на максимально возможный срок,

чтобы успеть вернуть Соню в нормальное русло.

Сидя в машине и направляясь из нашего деревенского Мэриленда в перенаселенный Вашингтон, округ Колумбия, я думаю о том, что физическая локация исследуемого недуга мной найдена, а работа Лоренцо над вербальной и семантической беглостью речи позволит идентифицировать тот белок, который в этом участвует. Я и раньше это знала, Лин и Лоренцо, естественно, тоже, но Моргану знать об этом вовсе не обязательно. Пока что.

Глава двадцать пятая

Мой кабинет – это нечто среднее между первобытной пещерой и монашеской кельей, но, пожалуй, менее роскошный, чем келья, если учесть, что туда втиснуты сразу два рабочих стола и несколько стульев. Кроме того, в нем отсутствует нормальное окно, если, конечно, не считать окном узкую стеклянную панель в верхней части двери, отчего мое рабочее место напоминает закрытый садок для рыбы или аквариум. На одном из столов я вижу шарф и сумочку, оба весьма поношенные, и сразу узнаю в них вещи Лин.

Морган пропускает меня в кабинет и уходит, чтобы я могла «освоиться». Но обещает вернуться через несколько минут и самолично провести меня по всей лаборатории, а заодно выдать мне пропуск и показать, где находятся ксероксы и принтеры. Теперь мне окончательно понятно, что любое мое действие здесь будет происходить под наблюдением еще чьих-то глаз.

Как ни странно, меня это совершенно не трогает. Мне было достаточно одной лишь мысли о том, что я снова увижу Лин, смогу поговорить с ней, поработать с ней вместе, и эта мысль приводит меня в такой восторг, какой, должно быть, испытывает юная школьница, когда ее впервые на балу приглашают потанцевать.

– О господи! – доносится от дверей еле слышный шепот, больше похожий на вздох.

Лин Кван – женщина крошечная. Я часто говорила Патрику, что она вполне могла бы уместиться в одной моей штанине – а ведь и я не великан, во мне всего пять с половиной футов роста, да и вешу я 120 фунтов, но исключительно благодаря строгой диете, которую я соблюдаю последние месяцы. У Лин все маленькое – ее голосок, ее миндалевидные глаза, ее аккуратный гладкий «боб», едва прикрывающий мочки ушей. Когда я смотрю на грудь и попку Лин, то чувствую себя натурщицей Питера Поля Рубенса. Зато мозг Лин – это поистине Левиафан серого вещества. Он и должен быть таким; Мичиганский технологический институт просто так двойную докторскую степень не присуждает.

Как и я, Лин – нейролингвист. Но, в отличие от меня, она еще и настоящий врач, точнее хирург, занимавшийся устранением нарушений в работе головного мозга. Однако пятнадцать лет назад, когда ей было уже порядком за сорок, она решила оставить врачебную практику и переехала в

Бостон. А через пять лет получила сразу два докторских диплома – один по проблемам когнитивности, а второй по лингвистике. Если кто и способен заставить меня почувствовать, что я самая отстающая ученица в классе, так это Лин.

И за это я ее просто обожаю. Она всегда устанавливает планку где-то на высоте Эвереста.

Лин делает шаг ко мне и опускает глаза, уставившись на мое левое запястье.

– Ты тоже, да? – Затем она заключает меня в «медвежьи» объятия, если, конечно, можно так выразиться, поскольку она гораздо ниже меня ростом и вообще существенно мельче, так что эти «медвежьи» объятия больше походят на объятия куколки Барби.

– Да, и я тоже, – говорю я, смеясь и плача.

Она очень долго, чуть ли не час, не выпускает меня из объятий. Потом, чуть отступив назад, оглядывает меня с головы до ног и говорит:

– А ты все такая же. Даже, пожалуй, еще помолодела.

– Что же удивительного, все-таки целый год не работала, а это, как оказалось, творит чудеса, – пытаюсь отшутиться я.

Но шутка не срабатывает. Лин качает головой и, подняв руку, показывает мне крошечное расстояние между двумя пальцами – большим и указательным.

– Вот настолько я была близко от поездки в Малайзию, к семье. Вот настолько. – Она растопыривает пальцы, и они становятся похожи на морскую звезду. А потом выдыхает: – И все, конец. В один треклятый день все исчезло.

– Выражаешься, как королева, – снова пытаюсь пошутить я. – Если не считать слова «треклятый».

– Не обманывай себя. Даже Елизавета II умеет ругаться. А, кстати, тебе уже кто-нибудь рассказывал о последней модели этого наручного монстра? – Последнее слово в ее устах звучит как «мон-ста», звук «р» почти не слышен и элегантен.

– Мне об этом не просто рассказали. – И я поведала Лин о своем восьмичасовом эксперименте с усовершенствованным счетчиком слов. – Знаешь, если бы мне пришлось прочесть эту хрень еще раз, я бы скорее язык себе отрезала.

Лин садится на стол, болтая голой ногой в воздухе, затем вскакивает, проверяет, не стоит ли кто за дверью, и почти шепотом говорит:

– Ты ведь понимаешь, Джин, что они их снова на нас наденут?

Понимаешь ведь, правда? Причем сразу, как только мы работу завершим.

– Мы совершенно не обязаны в ближайшее время ее завершать, – говорю я, повернувшись к двери спиной. – Мы, может, и могли бы, но не обязаны. – Я беру в руки ее шелковый шарф. – Скажи, ты ведь не стала носить это на голове?

– А ты как думаешь?

Я думаю, что – как выражается сама Лин – легче, черт побери, увидеть свинью с крылышками, чем ее в таком шарфе, и эти мои слова все-таки вызывают у нее смех.

Затем она снова становится серьезной.

– Нам нужно срочно что-то придумать, Джин. Нужно сделать еще что-то помимо работы над проектом Вернике.

– Ясное дело, нужно. Например, полностью изменить действие сыворотки и залить ее в водопровод Белого дома. Как ты насчет этого? – Говоря так, я прекрасно понимаю, что это еще менее вероятно, чем заставить Лин носить на голове этот дурацкий шарф, а на воротнике – значок с синенькой буквой «И».

– А что, идея вообще-то неплохая, – говорит она. И я не могу понять, то ли в ее голосе звучит сарказм, то ли одобрение.

Она спрыгивает со стола, берет меня за руку и предлагает:

– Пойдем-ка выпьем по чашке эспрессо, пока Морган не вернулся.

– У них здесь что же, и кофейная машина есть? – удивляюсь я, но позволяю ей увлечь меня куда-то по коридору с серыми стенами. Все рабочие места, как и кабинеты, мимо которых мы проходим, пусты.

– Нет. Но у Лоренцо есть его собственная маленькая кофеварка.

О, господи...

Глава двадцать шестая

Кабинет Лоренцо – это точная копия того, который делим мы с Лин, только в два раза больше, и стол у него деревянный, а не металлический, и рабочее кресло точно из декораций к «Звездному пути», но самое главное – там есть окно, выходящее в парк, где сейчас как раз цветут вишни. Я что-то ворчу себе под нос, но Лин мгновенно вталкивает меня в открытую дверь и исчезает в коридоре, прежде чем я успеваю запротестовать.

– Чао, – слышу я голос Лоренцо. Голос вроде бы и тот же, и какой-то немного другой. По-прежнему низкий, музыкальный, с мягкими согласными, которые сразу вызывают у меня воспоминания о южной Италии, об ином, куда более неторопливом образе жизни. Но уже и в этом единственном его слове слышится некая усталость, которой вполне соответствуют морщины на лице у Лоренцо, ставшие куда глубже всего лишь за два последних месяца. И я ничего не могу с собой поделать: я смотрю и смотрю неотрывно в эти темные глаза и словно вижу там каждое не произнесенное им слово, как бы пойманное в его душе в ловушку.

В горле у меня вдруг возникает огромный комок и стремительно разрастается до размеров волейбольного мяча. Я тоже пытаюсь сказать в ответ «чао», но этот ужасный ком мне мешает, так что я лишь издаю нечто, более всего напоминающее мышиный писк. А потом колени подо мной подгибаются, комната начинает вращаться, мелькают бесчисленные лица Лоренцо, бесчисленные кофеварки, бесчисленные книжные полки – все вертится волчком, завиваясь в разноцветный смерч, состоящий из множества разных предметов...

Лоренцо успевает подхватить меня, когда я уже начинаю падать, и усаживает в большое кожаное кресло, стоящее возле письменного стола, а сам устраивается в маленьком креслице, предназначенном для посетителей.

– Приятно узнать, что я все еще способен вызвать у тебя слабость в коленях, Джианна.

В одной реальности я полностью прихожу в себя, забываю о том, что женщины обычно называют *la petite mort*^[26], выворачиваю шею, чтобы видеть рядом лицо Лоренцо, и крепко обнимаю его обеими руками. И мы целуемся. Сперва неторопливо, затем все более яростно, страстно, и наконец все тормоза летят к черту. То ли я затаскиваю его на стол, то ли он затаскивает меня, но в итоге мы оба оказываемся под столом, и все

получается просто прекрасно: громко, мокро, потно – в общем, фантастика.

Но в другой реальности, настоящей, у меня едва хватает времени, чтобы подтащить к себе пластмассовое ведерко для мусора и вытошнить туда весь съеденный утром завтрак, причем с весьма несексуальным звуком.

– Ого, – только и произносит Лоренцо.

– Мне поскорей надо... – бормочу я, с трудом вставая и держась за край стола, чтобы снова не упасть, – в дамскую комнату.

По-моему, по-настоящему проверить мужчину можно, например, в такой малоприятный момент, когда женщину в его присутствии выворачивает наизнанку, причем в его собственном кабинете и в его мусорную корзину. Тут очень важно посмотреть, как он поведет себя. Единственное, что сделал Лоренцо после того, как проводил меня до дверей дамского туалета, находившегося в дальнем конце коридора, это улыбнулся. Всего лишь сказал «ого», а потом улыбнулся. И больше ничего.

Вот за это я его и люблю.

– Сейчас все пройдет, не волнуйся. Я через минуту вернусь, – быстро говорю я, исчезая за дверью туалета и бросаясь к ближайшей кабинке. Там из меня изливаются остатки моего завтрака вместе с кофе, я все это смываю и сажусь на сиденье унитаза, уронив голову чуть ли не на колени и чувствуя, что все горло обожжено горькой желчью и желудочным соком.

Меня никогда не тошнит. Я практически никогда не болею. И моя пищеварительная система отнюдь не отличается чрезмерной чувствительностью. Я просто вспомнить не могу, когда меня в последний раз так выворачивало наизнанку.

Да нет, могу, конечно.

Ведерко из нержавеющей стали с крышкой на петлях и пластмассовой вставкой помещено рядом с унитазом; справа промышленных размеров рулон туалетной бумаги, которого хватило бы для подтирания задниц какой-нибудь небольшой страны, да и то он вряд ли кончился бы. Но мне нечего положить в это ведерко, у меня нет ни аккуратно завернутого тампона, ни плотной салфетки, ни даже самой тоненькой прокладки.

О-господи-черт-побери!

Мне сорок три года. У меня четверо детей – спасибо Патрику и его ирландскому жизнелюбию. У меня одиннадцатилетние сыновья-близнецы. И я достаточно много знаю о репродуктивной биологии, чтобы понимать, что в настоящее время мои шансы на рождение близнецов еще выше, чем одиннадцать-двенадцать лет назад.

Я понимаю также, что у меня в пятидесяти процентах из ста может родиться еще одна девочка. Неужели и у нее на ручонке защелкнут счетчик слов, едва она успеет появиться на свет? Или все же подождут несколько дней? Впрочем, это все равно произойдет очень скоро после ее рождения, а у меня больше не останется ничего такого, что могло бы послужить предметом нового торга с ними.

И мне остается сделать только то, что в моем положении сделала бы любая женщина: снова склониться над унитазом и извергнуть из себя все, что еще осталось у меня внутри.

Глава двадцать седьмая

Лин ждет меня за дверью туалета, на ее лице написана озабоченность.

– С тобой все в порядке, дорогая? – спрашивает она.

– Все отлично. Если не считать того, что половина моего завтрака осталась у него в кабинете.

Она обнимает меня за талию и ведет назад, в нашу хоббичью нору; там она влажной салфеткой, извлеченной из бездонных глубин ее сумочки, стирает с моих глаз размазавшуюся тушь и сразу берет быка за рога:

– У тебя довольно примитивное определение любовной тоски, Джин. И не делай вид, будто не понимаешь, о чем я. Ты что, по-прежнему испытываешь некие чувства к нашему итальянскому коллеге?

Я буквально оседаю в своем рабочем кресле. Я бы и под стол, пожалуй, спряталась.

– Неужели это так заметно? – Интересно было бы знать, неужели весь наш отдел, включая Моргана, в курсе наших с Лоренцо свиданий у него в кабинете? – Кто еще знает?

Лин наклоняется совсем близко ко мне, поставив локти на стол.

– Если тебя волнует, знает ли Морган, то можешь не беспокоиться. В-первых, он дурак, полностью поглощенный самим собой, а во-вторых, он мужик. Он и не заметит, что ты вся светишься при виде Лоренцо, даже если ему самому на голову целую бутылку такого свечения вылить. Сомневаюсь, что он когда-либо замечал перемены в твоём гардеробе. – Усмешка на губах Лин быстро тает, губы презрительно вытягиваются в тонкую линию, а взгляд становится хмурым. – Но будь осторожна. Ты же не хочешь, чтобы за тобой явился проклятый фургон Карла Корбина и тебя забрали как участницу адюльтера?

– Нет, – говорю я, и к горлу у меня вновь подступает тошнота.

В нашем новом ненормальном мире удивительное количество вещей сохранились точно такими, какими были всегда. Мы точно так же едим, ходим по магазинам, спим ночью, отводим детей в школу, занимаемся сексом. Хотя насчет последнего теперь есть строго определенные правила.

– И давно это у вас продолжается? – спрашивает Лин.

– По-моему, уже около двух лет. – Не имеет смысла говорить о том, что я могу назвать совершенно точную дату, когда все началось. Когда я впервые обратила внимание на пальцы Лоренцо, сжимавшие гладкую деревянную крышку музыкальной шкатулки, и впервые испытала нечто

вроде приятных электрических разрядов, скользящих вверх и вниз по моему позвоночнику, при одной лишь мысли о том, как эти пальцы коснутся моего обнаженного тела.

– Вы встречались только до *всего этого*? Или и в последнее время тоже?

А я уже уплываю куда-то вдаль – от Лин, от нашего стерильно-функционального кабинета – в нашу с Лоренцо тесную «крабью нору», в наше убежище в Мэриленде, где стены от пола до потолка покрыты разнообразным «морским» китчем. Там на стене, например, висит рыболовная сеть, на подоконнике стоит бутылка с судном внутри, а в углу прислонен ржавый якорь. И кровать там замечательная. Ее-то я помню лучше всего, потому что эта скрипучая кровать с комковатым матрасом была слишком узка для двоих, и на ней совершенно невозможно было лежать свободно, не переплетаясь конечностями. Я эту кровать обожала.

После того как Движение Истинных приобрело общегосударственный характер, мы лишь однажды сумели воспользоваться этим ложем. Собственно, именно это Лин и имела в виду, спрашивая: *Только до всего этого? Или и в последнее время тоже?* В начале марта, помнится, я села на метро и доехала до Восточного рынка, намереваясь посетить вполне конкретный сырный магазин, ранее принадлежавший одной пожилой паре, хотя теперь там остался лишь овдовевший старик. Уж не помню, что именно мне там было нужно – то ли копченый сыр *scamorza*, то ли свежая *ricotta*. А может, я вовсе и не сыр там искала.

Лоренцо стоял возле булочной с полными руками всевозможной снеди и с цветами, а глаза его словно смотрели куда-то вдаль. Мы не виделись целых десять месяцев, действительно ни разу не виделись и, наверное, так бы и продолжали не видеться, если бы я, выйдя из сырной лавки и заметив Лоренцо, не двинулась прямо к нему через весь рынок.

Я даже рискнула израсходовать три слова:

– Все еще здесь?

– Да, я все еще здесь. Хотя на август у меня уже куплен билет домой. Уеду, как только летний семестр закончится. Не могу я больше в вашей стране оставаться, – говоря это, он старался не смотреть мне в глаза, но все время не отрывал взгляда от моего серебристого браслета-счетчика. – Я бы и на лето здесь не остался, но мне было сделано весьма щедрое предложение.

До августа оставалось еще пять месяцев, и я понимала: если он уедет, то никогда уже в Штаты не вернется. Да на его месте никто бы сюда не вернулся!

Лоренцо расплатился с булочником и быстро сказал мне:

– Никуда не уходи. Я сейчас приду.

И исчез в рыночной толпе на противоположном конце зала, где находились кафе и винный магазин. Это было во вторник утром, и погода стояла необычайно теплая для марта, хотя этот месяц любит атаковать Вашингтон бодрящими зарядами зимней стужи и снега, словно желая напомнить, что зима еще не закончилась. Разум подсказывал мне, что лучше всего поскорее выбежать с рынка через боковую дверь и, забыв о сыре, сесть в метро и вернуться домой. Или поехать еще куда-нибудь. Однако ноги мои не желали мне подчиняться, они были словно приклеены к полу. А Лоренцо тем временем уже успел вернуться, прибавив к накупленной снеди еще один пакет.

– Встречаемся через десять минут в переулке на Восьмой улице, – мимоходом бросил он мне.

Секс не с мужем, а с другими мужчинами – как до вступления в брак, так и после этого, – теперь официально считается нарушением закона. Собственно, адюльтер всегда считался уголовно наказуемым в большей части американских штатов, что, на мой взгляд, было типичным пережитком тех, принятых еще до Средних веков, законов о содомии, запрещавших даже супружеским парам использовать какую бы то ни было иную разновидность сексуального соития, кроме вагинального. «Аморальный» и «неестественный» – такими определениями секса пользовались, оценивая уровень морального падения прелюбодеев. Редко, впрочем, кого-то по-настоящему обвиняли и судили за фелляцию или анальный секс, да и любовные утехы вне законного супружеского ложа воспринимались скорее как норма, хотя и не поощрялись.

А контролируемая рождаемость? Еще один пример. Полки в аптеках, где раньше лежали груды противозачаточных средств «Троян» и «Дюрекс», а также коробки с «ЛайфСтайлз», теперь были битком забиты детским питанием и упаковками памперсов. Логичное замещение.

У преподобного Карла имелась масса соображений касательно секса и нравственных устоев общества, когда он достиг нынешних высот своего могущества. Никаких выборов не проводилось, никаких слушаний и одобрения его кандидатуры не было – просто президенту нужны были голоса избирателей, и благодаря Карлу он их получил. И теперь от Сэма Майерса требовалось одно: внимательно слушать, что говорит ему этот человек, неофициально считающийся его «правой рукой»; человек, которому внемлют миллионы внимательных слушателей; человек, который полагает, что вернуться на сто лет назад – шаг в высшей степени

желательный.

И да благословит Господь эту хитрую уловку.

Я не знаю, действительно ли существует фургон Карла Корбина для особ, подозреваемых в адюльтере, зато я хорошо знаю, как поступили с Энни Уилсон с нашей улицы, когда ее муж позвонил и сообщил о совершенном ею прелюбодеянии. Это показали по телевизору всего через несколько дней после того, как мой мир встал с ног на голову.

Энни Уильсон, собственно, была проституткой в обличье домохозяйки – во всяком случае, именно так она выглядела, когда ее муж бывал дома. Видимо, по средам с утра, как только ее муж уходил на работу, она кому-то звонила и мгновенно меняла свой гардероб до неузнаваемости, а после обеда этот кукольный процесс переодевания осуществлялся в обратном направлении, поскольку мужчина, приехавший к ней на стареньком синем пикапе, вновь заводил мотор и отбывал восвояси до следующей среды. Наверное, на сей счет между ними существовала определенная договоренность.

Вообще-то мне не следовало бы называть ее шлюхой. Я и сама ничуть не лучше. Да и мужа Энни никак не назовешь Принцем Очарование. Она, кстати, целых два года пыталась от него уйти, и однажды он попросту аннулировал ее кредитные карты и прекратил выплаты за ее автомобиль. Энни с тем же успехом могла бы жить и в тюрьме строгого режима. Однажды в среду я, помнится, подбадривала ее без слов, давая понять, что у нее есть все основания просто выйти сейчас из дома, сесть в этот синий пикап и никогда больше назад не оглядываться.

Если бы у нее не было двух мальчишек – оба еще маленькие, старшему и десяти не исполнилось, – она бы, может, так и поступила. Если бы она в ту среду все-таки решилась и действительно убежала со своим любовником, мне, возможно, не пришлось бы смотреть ту жуткую передачу по телевизору, во время которой преподобный Карл Корбин собственноручно передал ее двум невзрачным особам с серыми лицами и в таких же серых долгополых балахонах. И мне, возможно, не пришлось бы слушать, как он рассказывает о монастыре в Северной Дакоте, где отныне Энни Уилсон и останется до конца жизни, оснащенная наручным счетчиком с суточным лимитом слов, равным нулю.

То, что в тот мартовский день заставило меня выйти из Восточного рынка и направиться напрямиком к машине Лоренцо, стоявшей на противоположной стороне улицы, в тихом переулке, было вызвано не просто приступом сладострастия и отнюдь не было связано с тем спором, который случился утром у нас с Патриком, – спор в значительной степени

носила односторонний характер, поскольку говорить-то я практически не могла. Нет, просто затаенная ярость все еще вспыхивала искрами, все еще потрескивала у меня внутри, точно пламя неугасимого костра, который то еле тлеет, то вдруг превращается в адский огонь. Мне было хорошо известно и о двойных стандартах, и о частных мужских клубах, которые как грибы росли в больших и малых городах; в эти клубы одинокие мужчины, имеющие средства, всегда могли пойти, чтобы снять стресс и сбросить излишки спермы, развлекаясь с дамами-профессионалками. Патрик давно рассказал мне о таких клубах, наслушавшись на работе негромких разговоров сослуживцев. Эти клубы были единственным – и последним! – местом, где мужчина мог спокойно достать презервативы.

Говорят, проституция – это древнейшая профессия. И нельзя уничтожить нечто столь древнее. И потом, за геями давно уже отлично присматривают в лагерях-тюрьмах; а любительницы адюльтера, вроде Энни Уилсон, обрабатывают фермерские поля в Северной Дакоте или трудятся на полях так называемого зернового пояса Среднего Запада. Однако Движению Истинных не сразу удалось решить вопрос с женщинами-одиночками, лишенными какой бы то ни было семьи, способной принять их в свое лоно, – эти женщины при новых законах попросту не смогли бы выжить, будучи лишены возможности зарабатывать и возможности говорить. И в итоге им предложили выбор: выйти замуж или перебраться в публичные дома.

Когда я думала о судьбе Сони – о том, что с ней будет, если мы с Патриком, не дай бог, не впишемся в рамки идеальной картины Истинных, и ее тогда заставят либо выйти замуж без любви, либо отошлют в некую коммуну шлюх, где рот ей будет нужен только для того, чтобы отсасывать и мычать, как животное, – кровь моя буквально закипала. Ведь даже шлюхам теперь было приказано заткнуться и подчиниться.

В общем, тогда я вышла из Восточного рынка, перешла через улицу, старательно обходя ямы и покрытые ледком лужи, и села в машину Лоренцо. Только так я могла в тот момент сказать всей этой новой системе: «Да пошли вы все!..»

Благодаря кипящим в моей крови гормонам ярости и моему собственному идиотизму эта система тут же сказала мне в ответ: «Да пошла ты!..» Сексом мы с Лоренцо тогда занимались трижды. Один раз с презервативом. А остальные? Абсолютно без ничего.

Господи, и как же это было хорошо!

Лин берет меня за руку и, возвращая в нынешнее утро, говорит:

– Осторожней, детка. Ты можешь потерять куда больше, чем только

голос.

– Я знаю, – говорю я и стараюсь собраться – тем более к нам уже стучится Морган.

Глава двадцать восьмая

Затем Морган ведет нас по коридору, по дороге прихватывая Лоренцо, но у дверей его кабинета останавливается и, наморщив нос, спрашивает:

– Чем это пахнет?

– Я ничего не чувствую, – спокойно говорит Лоренцо, но глаза его улыбаются мне.

Лин тут же подыгрывает:

– Я тоже никакого запаха не чувствую.

– Хм-м... Ну ладно, ребята, оставим эту тему. У нас уйма дел, а успеть нужно к назначенному сроку.

Я впервые слышу о каком-то «назначенном сроке», и даже те жалкие крохи уважения, которые я могла бы испытывать к Моргану, практически исчезают. Вряд ли ему известно, что мы уже нашли средство для исцеления от синдрома Вернике, но мне бы очень хотелось знать, что именно он успел пообещать президенту. Ведь мы же, черт побери, не пироги печем.

– Какой еще «назначенный срок»? – недовольным тоном спрашиваю я.

Морган колеблется; похоже, он прямо сейчас пытается придумать для нас некое подходящее объяснение. Впрочем, когда он наконец начинает говорить, все это звучит как нечто давно и хорошо отрепетированное.

– Наш президент в конце июня должен поехать во Францию на саммит G-20. Ему необходимо, чтобы брат его сопровождал.

– Но сейчас уже май, – удивлена я, – я была уверена, что у нас несколько больше времени. Да и в контракте ничего не говорилось...

Но он прерывает меня:

– А вы толком ваш контракт так и не прочли, доктор Макклеллан. Иначе вы увидели бы, что крайний срок завершения проекта – это двадцать четвертое июня, то есть за неделю до вылета президента в Европу. Еще вопросы есть?

– Мы занимаемся наукой, – с достоинством говорю я. – В таких делах никаких «крайних сроков» не бывает.

Лоренцо, до сих пор хранивший молчание, захлопывает дверь своего кабинета и предлагает Моргану:

– Давайте я все это попозже им объясню. А сейчас лучше поскорее покончить со всякой административной хренью, чтобы мы могли уже начать спокойно работать над вашей проблемой.

Я бросаю на него недоверчивый взгляд, Лин тоже, но Лоренцо, глядя

на меня, незаметно качает головой и одними губами произносит: «Потом».

Наша первая остановка – это офис охраны. Здесь несколько комнат и комнаток, в которых размещены человек двадцать. Офис находится не в нашем крыле здания и на один этаж ниже нашей лаборатории; наше крыло практически безлюдно, если не считать Лоренцо, Лин и меня. Окон здесь вообще нет, даже в верхней части входной двери, которую Морган отпирает с помощью электронной карточки, висящей на шнурке у него на шее.

– У нас безопасность на первом месте, – говорит он, ведя нас мимо многочисленных компьютеров и разнообразных аппаратов слежения в одну из маленьких комнат.

Мы с Лин переглядываемся, и я спрашиваю:

– Безопасность чего?

Морган не отвечает, хотя совершенно ясно, что он отлично меня слышал.

Я повторяю свой вопрос.

– Просто общая безопасность, доктор Макклеллан. Вам, во всяком случае, по этому поводу беспокоиться нечего. – И, повернувшись к сидящему в этом помещении человеку, он говорит: – Джек, моей команде понадобятся электронные карточки-ключи. – Снова это «моей»!

Джек что-то ворчит и смотрит на нас без улыбки. На мой взгляд, ему лет пятьдесят или чуть больше. Форменный китель он снял и повесил на спинку стула; китель выглядит поношенным и помятым. Белая рубашка туго натянута на пухлом пивном животе, а под мышками цветут желтоватые круги пота. На воротнике серебряный значок – синяя буква «И» в кружочке. Интересно, этот Джек женат? Думаю, если да, то его бедной жене мало радости, когда он наваливается на нее своей тушей, ворча, пыхтя и потея. А если он одинок, то достаточно ли высокую ступень он занимает в своей иерархии, чтобы заслужить право на доступ в один из частных мужских клубов нашего города? И мне во второй раз за сегодняшний день приходит в голову ужасная мысль о том, что Соня лет в двадцать тоже может оказаться вынуждена изображать куртизанку и удовлетворять аппетит такого вот монстра.

– Садитесь сюда, – говорит Джек, кивая мне и указывая на стул, стоящий у противоположного края его стола. – Правую руку положите на экран ладонью вниз. – Плоский экран, лежащий на столе, отполирован до ослепительного блеска.

Я кладу руку на экран. Поверхность у него холодная, но все же, пожалуй, теплее, чем тон самого Джека. Машинка жужжит и светится, сканируя отпечаток моей руки.

– Смотрите прямо перед собой. Не улыбайтесь, – приказывает он. Камера, укрепленная напротив, щелкает, фотографируя меня.

– С вами все. Теперь вы. – Джек кивает Лин, и та проходит ту же процедуру. Когда Джек ворчливым тоном отдает приказ следующему, Лин встает и говорит мне:

– Вы что-нибудь понимаете, Джин? Или примерно столько же, сколько и я?

– Заткнитесь, – немедленно приказывает ей Джек и поворачивается к Лоренцо: – Садитесь, пожалуйста, доктор Росси. Правую руку на экран.

«Вот говнюк», – думаю я.

На рабочем столе Джека не видно никаких фотографий, никаких семейных портретов, никаких школьных фотографий детей на фоне облаков или лесной чащи, никаких декоративных вещиц. Его ланч – во всяком случае, этот предмет, на мой взгляд, является именно его ланчем – засунут в мятый бумажный пакет, который выглядит так, словно существует уже настолько давно, что еще одного использования просто не выдержит. По-моему, этот Джек все-таки не женат, и мне мысль об этом даже, пожалуй, приятна. Пусть уж лучше какая-нибудь «профессионалка» раз в неделю несколько минут потерпит его тяжеловесные толчки и сопение, чем несчастная порядочная женщина будет вынуждена постоянно жить с ним и семь дней в неделю терпеть этот кошмар.

Процедура с Лоренцо тоже завершена, и принтер у Джека за спиной выплевывает три пластиковые карточки, удостоверяющие наши личности. Джек обменивается с Морганом рукопожатием и протягивает руку Лоренцо, но тот и не думает ее пожимать. Мало того, Лоренцо говорит:

– Вряд ли нам стоит это делать. По-моему, я где-то свою руку испачкал.

Вот за что я люблю Лоренцо; впрочем, это всего лишь одна из сотни причин, которые дают мне основание его любить. А, например, Патрик непременно обменялся бы рукопожатием с этим мерзким типом. Еще и улыбнулся бы ему, еще и спасибо ему сказал, получая из его рук ламинированную электронную карточку. Может, в душе Патрик и кипел бы, но внешне, разумеется, следовал бы всем правилам игры.

Покинув комнатку Джека, мы в сопровождении Моргана заходим в небольшой конференц-зал, находящийся в том же крыле, где размещаются сотрудники охраны. Однако зал этот предназначен явно не для конференций; стол придвинут к стене, возле которой стоят два стула, а еще три выстроились с противоположной стороны стола, точно на школьном экзамене. Морган занимает место «экзаменатора», а нам жестом предлагает

занять те три стула, что стоят напротив.

Мы с Лоренцо переглядываемся, и он почти незаметно качает головой. А потом мы ждем.

Минут через десять, в течение которых мы молча слушаем тиканье настенных часов, в открытых дверях конференц-зала появляется какой-то сердитый человек со шрамом на правой щеке и с тем самым, на редкость обаятельным, выражением лица, которое свойственно почти всем ветеранам спецназа.

– Привет, Морган, – здоровается он. – Всей команде тоже доброе утро. – За стол он не садится, а продолжает стоять, глядя на нас, сидящих, сверху вниз.

Вообще-то от мужчины таких габаритов следовало ожидать хотя бы тяжелых шагов в коридоре, мы же не услышала ни малейшего шума; этот тип к нам буквально подкрался. И я уже через пять секунд понимаю, что он мне чрезвычайно неприятен. Судя по кислому выражению на лице Лин, у нее подобная оценка заняла еще меньше времени.

– Я буду краток и сразу изложу суть дела, потому что всем нам, безусловно, есть чем заняться, – говорит он. – Я – мистер По, ответственный за безопасность данного проекта. – Когда он говорит, губы его практически не двигаются, а могучая грудь, похоже, и вовсе остается совершенно неподвижной даже при вдохе. По-моему, он и не моргнул-то ни разу с тех пор, как вошел в зал. – Вы обязаны выполнить здесь только одну работу. Ключевые слова – «только одну» и «здесь». Это значит, что вы занимаетесь только своим делом, затем уходите домой и на следующий день снова возвращаетесь сюда. Мне крайне нежелательно, чтобы вы вели какие-то разговоры о своей работе с остальными сотрудниками лаборатории, а также дополнительно общались между собой в нерабочее время. Вам это ясно?

– Ясно как день, – откликается Лоренцо, изучая собственный ноготь.

По бросает на него гневный взгляд и продолжает:

– Вам запрещается обсуждать проект с кем-либо вне этих стен. Вам запрещается брать работу домой. Если для работы вам потребуется не восемь часов в день, а больше, вы будете работать здесь. Пообедать можно в кафетерии на третьем этаже. – Он сверяется с напечатанным на листке расписанием. – Время на обед вам троим отведено одно и то же.

Лин, повозившись на неудобном стуле, сперва расплетает скрещенные ноги, затем снова кладет их одна на другую, чуть коснувшись меня своей туфлей. Я в ответ тоже слегка ее подталкиваю, словно говоря: «Да, все это звучит очень странно».

Я первая решаюсь задать вопрос:

– Извините, мистер По, а как насчет лаборантов? Нам ведь нужно будет ставить опыты, и мы...

По тут же меня прерывает:

– Все инструкции относительно сотрудников лаборатории – у Моргана. Кстати, вам также запрещается брать домой свои ноутбуки. Один из моих людей сегодня же днем назначит встречу каждому из вас, чтобы обезопасить ваши ноутбуки и подключить к внутренней сети всю вашу часть команды.

– Мне казалось, что мы и есть команда, – суховатым тоном замечает Лоренцо.

– Именно это мистер По и имел в виду, – поспешно вмешивается Морган, быстро глянув на стоявшего рядом с ним мрачного великана. – Не правда ли, мистер По?

– Совершенно верно. Еще вопросы? – Впрочем, дожидаться вопросов он не намерен. – Каждый из вас будет проходить проверку у представителей охраны при входе в здание и при выходе оттуда. Охрана здания работает круглосуточно. – Мистер По кивает Моргану, поворачивается к нам спиной и удаляется столь же бесшумно, как и появился. То есть абсолютно бесшумно.

– Ну, хорошо! – И Морган один раз громко хлопает в ладоши, словно призывая к порядку расшумевшихся школьников. – А теперь пора и за работу. Следуйте за мной, и я покажу вам всю нашу лабораторию.

Мы гуськом покидаем конференц-зал, проходим мимо толстого Джека, который, громко хлюпая, сосет из банки колу, и снова оказываемся за той лишенной даже стеклянных панелей дверью, которую Морган открывает и закрывает своей электронной картой-ключом. Она у него, в отличие от всех наших, синяя. У нас белые.

Лин тянет меня за руку и чуть задерживает, пока мы тащимся по коридору к лифту.

– Этот По тихий, но смертельно опасный тип! – шепчет она.

– Да, точно, – соглашаюсь я. – И как теперь быть с этим «крайним сроком»? И что это еще за изоляция?

– Понятия не имею. Но если во время ланча мы действительно будем предоставлены сами себе, у нас, наверное, все-таки будет возможность поговорить. Лоренцо, похоже, что-то об этом известно.

– Поторопитесь, дамы, – окликает нас Морган, стоя возле кабины лифта, дверцы которой уже открыты.

Мы прибавляем ходу, устремившись к лифту, но в кабину Морган

входит первым, а Лоренцо последним. Едва мы оказываемся внутри, Лоренцо, стоя позади меня, находит мою руку и пожимает ее.

– Волнительный день, не правда ли? – говорит Морган.

О да. И впрямь волнительный.

Глава двадцать девятая

Первое, что я слышу, когда мы идем от лифта в лабораторный корпус, это мышиный писк. Подопытные животные – это абсолютная необходимость, но я до сих пор до ужаса боюсь вводить этим крошечным зверькам пробные дозы сыворотки. Они такие беспомощные, как младенцы. Я просто не в силах взять такую зверюшку в руки и, глядя в эти глаза-бусинки, ввести в ее невинные вены какое-нибудь из моих последних «снадобий». А вот у Лин с этим абсолютно никаких проблем; возможно, медицинское образование сделало ее невосприимчивой к подобным вещам. В общем, инъекции по моей просьбе и раньше всегда делала она.

– Это же просто мыши, Джин, – говорила она в таких случаях – еще там, в нашей лаборатории в Джорджтауне. – Ты же ставишь мышеловки, когда мыши к тебе в кладовку забираются?

Ну, в этом отношении она, конечно, права. Но мышеловки – орудия пассивные. С мышеловками я куда лучше могла бы справиться, чем со шприцами, полными разных химических веществ. Я всегда была девочкой книжной, особенно когда речь идет о головном мозге. А практическую сторону дела предпочитала передоверять медикам.

У дверей Морган достает свою электронную отмычку, потом, вдруг помедлив и словно бы передумав, предлагает:

– А может, кто-то из вас попробует своей картой открыть? Просто чтобы убедиться, что она нормально работает. Может быть, вы, доктор Макклеллан, окажете нам честь? Вы не возражаете?

Лоренцо, усмехнувшись, подбадривает меня:

– Давай, Джанна. Ты же не сможешь узнать, что там внутри, пока двери не откроешь.

Я сую в щель свою белую карточку, и в голову мне приходит мысль о том, что вряд ли Лоренцо понимает, до какой степени я в данный момент чувствую себя Пандорой. Но тут дверь со щелчком отворяется, и мы мгновенно слепнем от яркого флуоресцентного света, который вспыхивает в лаборатории. Здесь, пожалуй, не может быть ничего дурного, думаю я, разве что и надежда ведь тоже таится внутри старинной шкатулки Пандоры.

И все же что-то, связанное с оговоркой По насчет «вашей части команды» – если, конечно, это действительно была оговорка, – странным образом не дает мне покоя. Да и сам этот мистер По вызывает у меня

тревогу. Внешне похож на холодильник, да еще и молчалив, как могила. А в целом вид у него такой, словно ему не раз довелось убивать во имя Господа или отечества. Или денег.

Морган сияет так, словно эта лаборатория – его собственный сын-первенец, и жестами приглашает нас последовать за ним. Лоренцо опять пропускает вперед Лин и меня, затем и сам проходит в распахнутую двустворчатую дверь.

От клеток, выстроившихся вдоль левой стены, по всей лаборатории разносится писк нескольких сотен мышей. Справа находятся клетки с кроликами, но кролики молчат, нюхая воздух и смешно дергая своими розовыми носиками, встревоженные вторжением в их личное пространство стольких людей сразу. Раньше мы никогда с кроликами не работали, и я уже понимаю, что и в данном случае уколы Лин придется взять на себя. Я уж не говорю об экспериментах над более крупными животными. Я совершенно точно не смогла бы воткнуть иглу в этих игрушечных ушастиков – кроме тех случаев, разумеется, когда была бы, черт возьми, абсолютно уверена в качестве вводимого материала.

Но в том-то и дело, что в качестве сыворотки я *совершенно уверена*, и если я хочу как можно дольше растянуть работу над проектом, то мне, хотя бы для вида, все-таки придется убить немало подопытных мышей и кроликов. Вот ведь в чем кошмар.

Лабораторных столов десять, и каждый снабжен собственным штативом и прочими приспособлениями; столы свободно разместились в центре помещения между рядами клеток. Впрочем, все они свободны; как и те кабинеты, мимо которых мы проходили по коридору, как и помещения для отдыха. Видимо, пока что наша лаборатория состоит только из нас троих.

В конце лаборатории есть еще одна дверь, она тоже открывается электронной картой. На этот раз очередь Лин, но, как только она открывает дверь, Морган снова первым проходит мимо нас куда-то в глубь очередного помещения.

– Вот ведь дерьмо какое, – довольно внятно говорит Лин ему вслед.

Морган вздрагивает, явно услышав ее слова. Ну и тем лучше!

А Лоренцо произносит одно-единственное итальянское слово, столь же многозначное и продуктивное, как английское «fuck»: «Cazzo».

И оба они, безусловно, правы. Такого богатства, какое собрано в этом помещении, я никогда в жизни не видела.

Справа от меня три двери, и на каждой табличка: «Кабинет подготовки пациента: пожалуйста, стучите, прежде чем войти». Чуть дальше открытое

пространство с рядами компьютеров; затем шкафчики с разнообразным медицинским оборудованием. Здесь есть все – переносные ультразвуковые установки, МРТ, сканеры, – и под каждым ящиком аккуратная наклейка с надписью.

– Чудесно, – говорит Лоренцо. – Сколько всего имеется аппаратов для транскраниальной магнитной стимуляции?^[27] А для транскраниальной микрополяризации?^[28]

– По пять того и другого, – отвечает Морган, открывая один шкаф за другим. – И три переносные ультразвуковые установки, все с различными датчиками. – Он читает таблички: – Линейный, секторальный, выпуклый, неонатальный, трансвагинальный. – Последний термин вызывает у него маленькую заминку, словно его смущает упоминание о женской анатомии, хотя Моргану полагалось бы знать, что нам необходимы именно трансвагинальные пробы для наиболее мелких наших подопытных. Впрочем, я ведь уже говорила, что как ученый он полное говно.

Лоренцо подмигивает мне.

– А вот здесь у нас и еще всякая аппаратура, – и Морган во главе нашего маленького отряда устремляется в заднюю часть лаборатории. Здесь две двери ведут в помещения, где установлены МРТ.

– У вас целых два магнитно-резонансных томографа? – спрашиваю я, подталкивая Лин, которая уже заранее пускает слюни. В Джорджтауне нам приходилось выпрашивать разрешение попользоваться единственной на весь госпиталь установкой МРТ – и, между прочим, от лаборатории до госпиталя было двадцать минут пешком, а бежать туда приходилось в точно выделенное нам время, которое нам выделяли весьма нечасто.

Морган сияет.

– Да, у нас имеется две установки «Тесла МРТ». А вот тут еще есть позитронный томограф. – Он открывает еще одну дверцу и позволяет нам заглянуть внутрь и полюбоваться.

Когда-то нам приходилось ждать месяцами, чтобы получить доступ к больничному позитронному томографу.

– А как насчет электроэнцефалографов? – спрашивает Лоренцо. – И где у вас, кстати, биохимическая лаборатория?

– Все здесь. Электроэнцефалографы там, в малой лаборатории.

– Электроэнцефалографы, – поправляю я Моргана.

Глаза у Моргана сходятся на переносице.

– Да какая разница. Кстати, я совсем забыл сказать, что всякие там

переходники, электроды и принтер вы найдете в дальнем шкафу справа. А биохимическая лаборатория вот за этими дверями. – Он жестом предлагает Лоренцо воспользоваться своей карточкой. – Давайте. Вас, возможно, особенно заинтересует модуль показателя белка. Его вы найдете прямо здесь, справа от вас.

Морган тычет куда-то пальцем, но Лоренцо туда не смотрит; он все еще удивленно изучает это огромное помещение, где легко поместились бы пять университетских химических лабораторий.

А здесь будем работать только мы трое. Ну, хорошо, четверо, если считать Моргана. Но, по-моему, никто из нас его вообще не учитывает. И биохимик у нас только один.

– Ну, хорошо, ребята. – Морган смотрит на часы. – У меня сейчас встреча с большими людьми, так что я вас покину.

– Покидайте, – говорит Лоренцо и сует свою карточку в щель двери, ведущей в биохимическую лабораторию. – Мы и сами отлично справимся.

– А Интернет здесь есть? – поспешно спрашиваю я, указывая на ряды компьютеров с мониторами размером с большой настенный телевизор, стоящие в основной лаборатории.

– Ни в коем случае, Джин. – Морган включает одну из установок. – Excel, Word, SPSS – это сколько угодно, если вам понадобится статистическая справка. MatLab. Все, что вам нужно.

«Все, что мне нужно, если я хочу работать в вакууме», – думаю я.

– А как насчет доступа к иностранной периодике, Морган? Я, как вы понимаете, не ношу с собой в сумочке номера «Journal of Cognitive Neuroscience» за последние пять лет.

– Ах это... Да, вы правы. – И он перемещается к стойке, буквально забитой флешками. – Здесь все в академическом порядке, по датам. Если не сможете найти то, что вам нужно, позвоните по интеркому, и я все устрою. – Морган улыбается, демонстрируя два аккуратных ряда мелких зубов, и кажется мне похожим на хомяка. Или, точнее, на лабораторную крысу. – Все, я уже должен бежать, ребята, – говорит он, удаляясь через помещение с подопытными животными и исчезая за входными дверями.

Наконец-то мы одни.

– Пятнадцать миллионов только за две установки «Тесла МРТ» и за позитронный томограф! – невольно вырывается у Лин, едва раздается двойной щелчок закрывающейся двери. – Пятнадцать миллионов! И сколько тут еще всякого-разного!

Все эти суммы нам хорошо известны. Национальный Фонд по науке ответил всего лишь смеющейся рожицей на нашу последнюю заявку, хотя

денег мы просили всего на один магнитно-резонансный томограф. Я кое-что вычисляю в уме и пишу на бумажке некое число.

Лоренцо согласно кивает.

– Да, двадцать пять миллионов звучит вполне правдоподобно. Но не это меня беспокоит.

– И меня, – быстро говорю я.

И все мы смотрим друг на друга, и совершенно точно думаем об одном и том же. Все эти дорогостоящие приборы, как и все прочее оборудование, новехонькие. Все сверкает, все только недавно сюда доставлено. И это именно то, что нам необходимо, чтобы работать над созданием средства, исцеляющего от синдрома Вернике. С другой стороны, лабораторию с аппаратурой стоимостью не менее двадцати пяти миллионов долларов за три дня не создашь. Кроме того, еще в самом первом помещении чувствовался довольно сильный запах животных, а это значит, что мыши и кролики находятся там не со вчерашнего дня.

Да нет, животные точно находятся там значительно дольше, чем брат президента – в палате интенсивной терапии.

– Можно подумать, что они заранее знали, что это случится, – говорит Лин. – И заранее это планировали.

Я озираюсь, осторожно продвигаясь от двери, ведущей в биохимическую лабораторию, мимо томографов, энцефалографов и сканеров на более открытое пространство, где размещено менее крупное оборудование. Впрочем, в научном мире менее крупное отнюдь не означает более дешевое.

– Нам необходимо как следует поговорить, – говорю я, поворачиваясь к Лин и Лоренцо, и тут же понимаю, что смотрю только на одного Лоренцо.

Глава тридцатая

Лин уходит, оставив нас в помещении с малым оборудованием под тем предлогом, что ей хочется посмотреть, как работает «Тесла МРТ». У этой маленькой женщины такие глаза, взгляд которых мне, например, проникает прямо в душу; этот ее взгляд – точно удар под дых, нанесенный боксером-тяжеловесом. «Будь осторожна», – говорит этот взгляд.

– Пойдем со мной. – Лоренцо манит меня длинным согнутым пальцем, но в целом ведет себя спокойно и молчит, пока мы не оказываемся в биохимической лаборатории. Там Лоренцо останавливается возле одной из раковин и включает воду на полную мощность, а затем, наклонившись над черным эпоксидным счетчиком, стучит себе по правому уху, а глазами обводит потолок. – Камеры, – беззвучно, одними губами произносит он.

И до меня доходит: если там установлены камеры слежения, то установлены и подслушивающие устройства. Я наклоняюсь близко к нему и делаю вид, будто читаю доклад, который он вытащил из своего нагрудного кармана. Это всего лишь счет за коммунальные услуги, но я так сосредоточенно вглядываюсь в текст, словно там впервые изложено доказательство теоремы Ферма.

– Ты что, сказал им, что у нас все будет готово через месяц? Но зачем? – спрашиваю я.

– Иначе Морган вообще не собирался просить ни за тебя, ни за Лин. Он с самого начала был против того, чтобы в проекте участвовали женщины. Вот мне и пришлось ему сказать, что я гарантирую положительные результаты еще до того, как президенту нужно будет ехать во Францию, но только в том случае, если вас обеих включат в команду. – И он, помолчав минутку, тихо прибавляет: – К тому же мы этих результатов уже достигли.

Я просто не знаю, то ли мне его поцеловать, то ли вlepить ему пощечину.

– А ты понимаешь, что случится со мной, когда все закончится? Понимаешь? А что будет с Лин?

Лоренцо смотрит на мою руку, на поблекший след старого ожога, обвивающий запястье.

– Да, я все понимаю.

Голос у него печальный, но в нем чувствуется некое яростное подводное течение. И это снова напоминает мне о том, как велика разница

между Патриком и Лоренцо. Оба они мне сочувствуют, но желание бороться живо лишь в душе Лоренцо.

– Но, помимо всего прочего, мне очень нужны эти премиальные, – говорит он.

– Для чего?

– Это личное дело.

– Какое личное дело стоит сто тысяч долларов?

Мы несколько секунд просто смотрим друг другу в глаза, склонившись над бешено бьющей из крана струей воды.

– Это очень личное дело. – И Лоренцо выключает воду. – Ну что, теперь ты лучше себя чувствуешь?

– Конечно. – Я не совсем понимаю, что он имеет в виду: то ли то, что утром меня вырвало у него в кабинете, то ли этот наш разговор. – Ясное дело, лучше.

– Это хорошо. Потому что нам пора заняться делом.

– погоди. – Я снова включаю холодную воду. – Когда они обратились к тебе по поводу нашего проекта?

– Сразу после того, как Бобби Майерс разбил себе голову.

Я киваю и медленно говорю:

– Понимаешь, Энцо, невозможно за три дня раздобыть две установки «Тесла МРТ» – заказать их, доставить и установить. Такое не под силу даже нашему правительству.

Его улыбка, когда он слышит свое старое прозвище, похожа на трещину.

– Да. Я знаю. Идем. Давай-ка выкопаяем из лаборатории Лин, поглощенную техно-оргазмом, и слопаем какой-нибудь ланч. – Мы снова выключаем воду и возвращаемся в неврологическое отделение лаборатории. Часы как раз показывают час дня.

– Ты кого про себя назначила нам в первые пациенты? – спрашивает Лоренцо.

– Конечно, Делайлу Рей. Знаешь, я тут на днях встретила с ее сыном... Он наш почтальон.

А еще он – тот человек, который, мигнув три раза, сообщил мне, что у него есть жена и три дочери. И, вспомнив об этом, я делаю в уме зарубку: в следующий раз я должна непременно оказаться у дверей, когда он принесет нам почту. Но сейчас я способна толком думать исключительно о еде.

Глава тридцать первая

В послеполуденное время, когда я тащусь в плотной, извивающейся, как змея, веренице машин по Рок-Крик-Паркуэй, мне приходится как можно ниже пригибаться к рулю, чтобы хоть отчасти избежать изумленных взглядов водителей-мужчин, которые в основном и заполняют улицы в час пик. И, естественно, я снова вспоминаю Джеки Хуарес.

Если она и называла Патрика «полным ссыклом», то Лоренцо она никогда никаких прозвищ не навешивала.

– Среди мужчин встречаются только два типа, – как-то сказала она, – настоящие мужчины и бараны. Тот парень, с которым ты встречаешься...

– ...типичная овца, – закончила я за нее. – Я так и знала, что его таким считаешь.

– Не кажется, Джини. Я уверена. – Джеки раскурила сигарету – в тот год она курила легкие вирджинские сигареты, а нашу квартиру украсила китчем «Детка, ты проделала долгий путь», – и выпустила изо рта облачко ментолового дыма. – Я вот что хочу сказать: если бы я собралась переключиться и присоединиться к вашей команде, то мне бы хотелось получить такого мужчину, который... ну, не знаю... который всегда стоял бы за меня горой.

– Смотрите, какая ты, оказывается, у нас романтичная, – съехидничала я.

В ответ Джеки небрежно пожала плечом, словно показывая, что я несущушь, и серьезно сказала:

– Может, и так, но мне был бы нужен человек, просто способный в случае необходимости проявить должную стойкость.

– Но Патрик такой добрый! – попыталась я защитить своего будущего мужа. – Разве доброта ничего не стоит?

– Только не в моей системе ценностей.

Когда я защитила диссертацию, а Патрик получил постоянную должность, мы поженились. Я не раз приглашала к нам Джеки и очень надеялась, что она все-таки придет.

Она не пришла.

Возможно, я бы на ее месте тоже не пришла.

Я сворачиваю и останавливаюсь у светофора рядом с матово-черным «Корветом». За рулем мужчина средних лет, даже, пожалуй, пожилой. *Менопауза в спортивной машине*, насмешливо думаю я. Черное

непрозрачное окно «Корвета» залеплено наклейками: «МАЙЕРСА В ПРЕЗИДЕНТЫ»; «Я-ТО НАВЕРНЯКА ИСТИННЫЙ, А ТЫ?»; «СНОВА ПРЕВРАТИМ АМЕРИКУ В СТРАНУ ВЫСОКОЙ МОРАЛИ!» Тип за рулем сигналил мне и явно ждет, чтобы я повернула голову в его сторону. Потом он опускает окошко, и я машинально делаю то же самое, полагая, что он просто хочет спросить, как ему проехать на ту или иную улицу, ибо запутался в дьявольском лабиринте вашингтонских диагональных авеню.

Но он всего лишь смачно плюет, стараясь попасть мне прямо в лицо, и, как только красный свет светофора сменяется зеленым, с ревом уносится прочь на своем «Корвете».

Только тут до меня доходит, что у меня на заднем стекле до сих пор красуется наклейка с призывом голосовать за другого кандидата в президенты.

Вот интересно, что бы на моем месте сделала Джеки? Помчалась бы за этим типом вдогонку? Возможно. Или тоже плюнула бы в него? Очень на нее похоже. Но мысли о Джеки быстро вытесняют совсем другие. Я пытаюсь угадать, что сделал бы в этом случае Патрик, и прихожу к выводу: абсолютно ничего.

Он бы, конечно, вздохнул и покачал головой, осуждая столь варварский поступок, а потом стер бы мерзкий плевок и постарался забыть об этом мистере Кризис-среднего-возраста. А как поступил бы Лоренцо? Да Лоренцо бы всю душу из этого ублюдка вытряс!

По какой-то причине я нахожу эту мысль весьма привлекательной, хотя к подобным мыслям и действиям я совсем не привыкла. Просто поразительно, до чего я стала похожа на Джеки! И мне вдруг больше всего на свете хочется снова ее увидеть.

Сомневаюсь, впрочем, что сама-то она этого захочет. А если даже и захочет, то ей сейчас этого не позволят – сейчас она пребывает в таком месте, где слова «посетитель» попросту не существует.

Да, Джеки сейчас в каком-то лагере. (*Скажи уж честно, Джин: в тюрьме!*) Где-то в центральных штатах. Там она с утра до ночи трудится то ли на ферме, то ли на ранчо, то ли на рыбоперерабатывающей фабрике. И в волосах у нее – не помню уж, какого они были цвета в последний раз, – теперь отчетливо видна седина, корни не покрашены, кончики посеклись. А кожа на руках красная, воспаленная и от солнца, и от тяжелой работы. Раньше мы такой загар называли «красная шея», когда краснеют только руки и шея, а плечи остаются бледными. На запястье у Джеки широкий металлический браслет, но никаких цифр он не показывает, потому что в том новом мире, где она теперь обитает, слов не существует и считать их не

нужно. Такие же браслеты теперь наверняка и у тех женщин из супермаркета – тех самых, с маленькими детьми, которые всего лишь попытались с помощью жестов чуточку посплетничать или просто что-то сказать друг другу в утешение, какую-нибудь приятную ерунду вроде: «Я тоже скучаю по нашим с тобой разговорам».

Джеки Хуарес, феминистка, ставшая заключенной, теперь вынуждена ночевать в одной камере с мужчиной, с которым никогда даже знакома не была.

Я прошлой осенью случайно видела по телевизору документальный фильм о таких конверсионных лагерях. Телевизор включил Стивен, явно собиравшийся этот фильм посмотреть.

– Уроды! – злобно бросил он, глядя на экран. – Так им и надо!

Мои последние на тот день слова вылетели у меня изо рта, точно кинжалы, нацеленные в моего старшего сына, который давно уже начал вести себя вовсе не как мой сын, а скорее как преподобный Карл Корбин.

– Неужели ты действительно так считаешь, *деточка*?

Стивен выключил в телевизоре звук, но на экране все шла и шла бесконечная вереница мужчин и женщин, выныривая из какой-то дыры в бетонной стене. Все они направлялись в сторону трудовой фермы. И этот парад заключенных с обеих сторон охраняли джипы с вооруженными солдатами.

– Но, мам, таков их собственный жизненный выбор, – пожал плечами Стивен. – Раз ты в состоянии выбрать один тип сексуальных отношений, значит, с тем же успехом можешь выбрать и другой. Вот и все, что им пытаются предложить.

Я сидела молча, поскольку слов у меня больше не осталось, и смотрела на лица этих людей, облаченных в серые балахоны. Все они некогда были чьими-то матерями и отцами, работали бухгалтерами и юристами, а теперь бесконечной серой вереницей тянулись от той дыры в бетонной стене на работу в поля. Среди них вполне могла быть и Джеки, такая же, как они, смертельно усталая, вся в пузырях от солнечных ожогов, поскольку день за днем вынуждена проводить на палящем солнце...

А Стивен, вновь прибавив громкость, указал мне на экран, где теперь приводились какие-то статистические данные.

– Видишь? Это ведь на самом деле работает. Десять процентов конверсии уже после первого месяца! А к концу сентября показатель наверняка поднимется до тридцати двух процентов. Видишь? – Его явно радовали подобные успехи по смене половой ориентации заключенных.

Нет, никаких цифр я перед собой не видела. Я видела – как вижу это и

сейчас – Джеки Хуарес в грубых ботинках и в форме цвета хаки, выпалывающую сорняки или собирающую урожай до тех пор, пока ее руки не покроются кровавыми мозолями.

Или возможен иной вариант.

Джеки замужем. Возможно, за таким же толстым мудаком, как охранник Джек из нашей лаборатории; а может, она, договорившись, вышла за кого-то из своих старых знакомых-геев. На запястье у нее, естественно, счетчик слов, и она целыми днями что-то печет и варит, а еще очень надеется забеременеть, чтобы власти сочли ее брак *bona fide*, то есть вполне настоящим и добросовестным, чтобы избежать попадания в лагерь.

Нет. Джеки никогда бы не сломилась; никогда не стала бы работать на эту систему; никогда бы не продалась чиновникам в обмен на деньги, или на голос, или хотя бы на месяц относительной свободы. А вот Патрик наверняка так бы и поступил. Лоренцо же – никогда! Вот в чем основное различие между моим мужем и моим любовником.

И все-таки Лоренцо тоже сделал нечто подобное – в то самое мгновение, когда подписал контракт и согласился работать над проектом по избавлению от афазии.

Я уже сворачиваю на свою подъездную дорожку, когда до меня вдруг доходит, по какой причине Лоренцо так поступил: у него совсем иные тайные намерения, которые, как мне кажется, самым непосредственным образом связаны со мной.

Глава тридцать вторая

Я надеваю на лицо маску «жена и мать семейства» и вхожу в дом через заднюю дверь. Соня и близнецы играют в какую-то карточную игру на ковре в гостиной; Патрик на кухне режет овощи, поставив рядом с разделочной доской открытую бутылку пива. Так, думаю я, вряд ли это его первая за сегодняшний день бутылка.

– Привет, – говорю я, швыряя на боковой кухонный столик свою сумку – ее весьма тщательно осмотрели на пункте охраны перед тем, как я покинула здание лаборатории.

– Привет, детка. – Патрик кладет нож и обнимает меня. – Все прошло хорошо?

– Да, неплохо.

– И насколько неплохо?

– Извини, но за пределами лаборатории нам даже под угрозой пытки нельзя ни о чем рассказывать. – И это, возможно, даже больше соответствует истинному положению дел, чем кажется мне самой. – А где Стивен? Он же вот-вот пропустит свою дополнительную шестичасовую кормежку перед обедом.

Патрик подбородком указывает мне куда-то налево.

– Он в соседней комнате.

– Наверное, они опять что-то обсуждают. *Он и Джулия*, – неприязненно замечаю я. – Нет, тебе действительно необходимо как следует с ним поговорить. Что за дурацкая затея с ранним браком? Он же совсем мальчишка!

– Непременно поговорю. Ах да, я по фэйстайму общался с твоими родителями и сказал, что ты позвонишь им завтра, но твоя мама заявила, что непременно хочет поговорить с тобой сегодня.

– Я могу воспользоваться твоим ноутбуком?

– А твой где?

Мой в настоящее время на карантине у одного из компьютерных спецов По.

– Мой крепко заперт где-то в Вашингтоне в некоем здании, не имеющем названия, – говорю я. – Ты уверен, что тебе здесь моя помощь не требуется?

Патрик бросает мне посудное полотенце.

– Давай-ка лучше займись посудой. А всякие жалкие поварята-

неумехи мне не требуются. – Мы оба смеемся, так здорово он подражает говору уличных поваров из южных штатов.

Ладно, так-то оно лучше.

Осуществив молниеносный налет на детей – причем настолько в стиле той старой девы, что преподает у них в первом классе, что Соня даже робко пытается произнести несколько слов в свое оправдание, – я иду в кабинет Патрика, который он оставил незапертым, и связываюсь с родителями. Сначала итальянский, как всегда, возвращается ко мне довольно медленно, но затем выравнивается, становится спокойно-певучим – не язык, а сплошные гласные и рифмующиеся слоги. Папа, как всегда, возмущен и не находит ни одного доброго слова ни в адрес американского президента, ни в адрес его увечного братца, да и о самой Америке он мнения весьма невысокого. Мама сегодня, наоборот, кажется мне на редкость тихой и покорной.

– *Tutto bene, Mammi?*^[29] – спрашиваю я.

Она заверяет меня, что все прекрасно, просто в последнее время у нее часто болит голова.

– Тебе нужно бросить курить, – говорю я.

– Это же Италия, Джанна. Здесь все курят.

Что, в общем-то, правда. После футбольных матчей курение – второе национальное времяпрепровождение итальянцев, особенно на юге. И я решаю пока оставить эту тему и поговорить о чем-то более приятном. Какое-то время родители наперебой рассказывают мне о своих лимонных и апельсиновых деревьях, об огороде, о том, какие сплетни ходят насчет синьора Марко, торговца рыбой, который наконец-то собирается жениться на синьоре Матильде, булочнице. Давно пора – им же, Марко и Матильде вместе, должно быть, лет сто семьдесят!

Как ножом по сердцу, когда мама спрашивает, приеду ли я погостить этим летом.

– Ты же не хочешь, чтобы я умерла в полном одиночестве, – говорит она.

– Никто не умирает, мамочка, тем более в полном одиночестве, – говорю я, но все же чувствую, как по позвоночнику пробегает холодная струйка страха. – Обещай, что непременно сходишь к доктору Микеле, хорошо?

Пока звучат наши бесконечные «чао», поцелуи на расстоянии и обещания завтра же снова поговорить, проходит еще как минимум минут десять, и я наконец закругляюсь. Если бы у итальянских женщин были такие же квоты на слова, как у нас, то они весь свой запас до последнего

слова тратили бы на эту прощальную часть разговора.

Лишь после того, как я закрываю фэйстайм, мне в глаза бросается большой конверт со штампом «совершенно секретно», лежащий у Патрика на столе. Кто, интересно, додумался ставить подобный штамп на документы, если он крупными красными буквами сообщает – или как минимум намекает – каждому, что содержание конверта может оказаться весьма заманчивым? С тем же успехом можно было бы прилепить к письму ярлычок «ОТКРОЙ МЕНЯ!». Вообще-то, если б это касалось меня, то я бы прятала все важные документы в старые номера «Ридерз дайджест».

Патрик на кухне что-то насвистывает, а дети яростно спорят, смухлевал ли Сэм, спрятав во время игры в рукаве даму пик.

Совсем нетрудно было бы хоть одним глазком взглянуть на содержимое этого конверта... Я практически чувствую вес того тяжеленького красного дьяволенка, что сидит на моем левом плече и всячески подстрекает меня совершить это маленькое преступление. *Давай, Джин! Хотя бы посмотри, что там. И никто никогда ничего не узнает.*

В общем, письмо я вскрываю.

Но содержание его меня ничуть не удивляет. Будучи советником президента по науке, Патрик наверняка входит в круг лиц, заинтересованных в проекте Вернике. Я не понимаю одного: почему на первой странице письма, адресованного моему мужу и «в высшей степени секретного», обращение к руководству трех различных команд: Золотой, Красной и Белой. Мы – Лоренцо, Лин и я – явно в Белой команде (судя по нашим электронным картам). Фамилии других сотрудников, перечисленные под грифом «Золотая» и «Красная», мне не знакомы. Возле некоторых фамилий указано военное звание.

– Мапочка! – Звонкий голосок Сони в дверях кабинета заставляет меня вздрогнуть. – Я выиграла в «старую деву»!

Ага, теперь я понимаю, зачем Сэму понадобилось похищать и прятать даму пик. Я поспешно сую секретное, связанное с нашим проектом письмо в конверт, надеясь, что Патрик ничего не заметит. У него на рабочем столе все предметы пребывают в таком порядке, словно их выравняли с помощью рейсшины.

– Просто супер, малышка! – восхищаюсь я. – А теперь, может, пойдём и проверим, как там на кухне наш папочка?

– Я люблю тебя, мамочка. Я очень-очень тебя люблю.

Девять слов – и этого вполне достаточно, чтобы сердце мое радостно забилося.

Глава тридцать третья

– Выяснила что-нибудь интересное? – спрашивает Патрик, когда я возвращаюсь на кухню.

Я всегда плохо умела скрывать что-то от других. Малейший намек на ложь – и мои губы сами начинают улыбаться, а глаза косить. Однажды – в кои-то веки! – я попыталась устроить Патрику сюрприз на тридцатилетие, подключив только его секретаршу и пару надежных ребят с работы. И вот наконец торжественный день настал, и Патрик выглядел настолько изумленным, словно на него с неба бомба упала.

И я думала: «Боже, какой успех!!!» И была в этом уверена вплоть до следующего утра, когда Эван Кинг случайно проболтался, и я поняла, что мой муж давно обо всем знал и просто устроил для меня это грандиозное шоу.

– Я все прочитал по твоим глазам, детка, – сказал Патрик, когда я пристала к нему с расспросами. – Слава богу, что ты не нуждаешься в постоянной проверке благонадежности у представителей госбезопасности.

Ну и все. Больше никаких вечеринок-сюрпризов.

Патрик поворачивается от плиты ко мне и снова спрашивает:

– Хорошие новости?

– Что?

– Хорошие новости? Твои родители тебе что-нибудь интересное сообщили?

И я чувствую, как меня покидает тяжкий страх, сползая по спине и превращаясь в лужицу на плитках кухонного пола.

– Хм... Да, пожалуй, новости неплохие. Папа продал свой магазин какой-то сетевой компании.

– Пора старику на пенсию, – говорит Патрик и зачерпывает ложкой овощное рагу, которое тушит в сотейнике. – Вот. Попробуй и скажи, что еще туда нужно положить.

– Очень вкусно! – хвалю я рагу, хотя, по-моему, оно совершенно невкусное. Впрочем, для меня теперь ничто не имеет прежнего вкуса и запаха. Мне кажется, что красное вино, которое Патрик наливает в бокалы, пахнет прогорклым маслом, а от мяса – по-моему, это цыпленок, хотя с тем же успехом это может оказаться и баранья печенка, – по кухне и столовой расползается дьявольская вонь. В принципе после работы я должна быть голодна как волк, но я ни малейшего голода не чувствую. – Стивен еще не

вернулся? О! Помянешь черта...

Входит мой старший сын, как всегда громко хлопая задней дверью дома. Соня радостно ему улыбается, близнецы тоже. Мы с Патриком еще только собираемся сказать «Привет!», но Стивен, словно не замечая нас, проходит мимо всех и даже, как ни странно, мимо холодильника и напрямик направляется по коридору в свою комнату. Лицо у него пылает странным румянцем: на щеках и на шее словно расцвели какие-то красные пятна. И вид у него на редкость понурый, словно ему добрых тридцать семь, а не семнадцать и на плечи ему обрушилась вся тяжесть мира.

Вот тут-то и выявляются все сложности отношений между детьми и родителями – они словно упакованы в оболочку из одного мрачного, сердитого подростка.

– Пойду-ка я поговорю с ним, – говорю я Патрику, чувствуя, что мне к тому же просто необходимо передохнуть от запахов пищи, пока мои органы обоняния окончательно не взбунтовались, – а ты пока попроси Соню рассказать тебе, как она победила в карточной игре.

Из комнаты Стивена доносится такая громкая музыка, что у меня еще в коридоре буквально все кости начинают трястись. Я стучусь, но ответа нет. Но я снова стучусь, и наконец раздается раздраженное ворчание: «Входи».

– Ты здоров, мальчик? – спрашиваю я, всовывая нос в приоткрытую дверь.

Что за мелодию он там слушает, не разобрать – один сплошной фоновый шум.

– Да, – мрачно роняет он.

– В школе ничего не случилось?

– Нет.

– А как там Джулия?

– Хорошо.

– Ужинать будешь? Уже почти все готово.

– Да, ща приду.

Я поворачиваюсь, чтобы уйти, и тут Стивен вдруг раздражается цепью коротких отрывистых слов.

– Мам? Вот если б кто-то, кого ты знаешь... а может, даже и по-настоящему любишь... совершил гнусный поступок, ты бы... настучала на него?

М-да... ответ придется как следует обдумать.

Когда-то я наверняка сказала бы «да». Заметил, у кого скорость больше 60 поблизости от школы, запиши номер машины. Увидел в «Уолмарте», как

кто-то из родителей ударил своего ребенка, – позови полицию. Стал свидетелем ограбления соседей – немедленно сообщи об этом. На каждое действие должно быть соответствующее противодействие. Только не теперь. Теперь противодействие, может, и найдется, вот только соответствующим его, черт возьми, никак не назовешь. Я же знала насчет Энни Уилсон и ее любовника, который приезжал к ней на синем пикапе и не давал себе труда даже в дом войти незаметно, через заднюю дверь. И я прекрасно знаю, что Лин Кван, которая сейчас живет у брата, принадлежит к числу тех женщин, которые предпочитают представительниц одного с ней пола. Я знаю также, что если бы я тогда – выражаясь словами Стивена – «настучала бы» на Энни Уилсон, то потом вряд ли смогла бы по утрам видеть в зеркале собственную омерзительную физиономию. А уж мысль о том, чтобы донести на Лин, для меня и вовсе абсолютно недопустима, что бы там преподобный Карл и его клика Истинных ни твердили насчет преступности однополый любви.

– Это зависит от многих вещей, – наконец отвечаю я. – А что?

– Да не важно, я просто так спросил. – Стивен вдруг вскакивает с кровати. – Я, пожалуй, быстренько душ приму, хорошо?

Он вихрем пронесется мимо меня и исчезает в ванной, а я продолжаю слушать безвкусную электронную музыку – хотя это современная переработка какой-то старой песни, слова которой, пожалуй, не слишком хорошо сочетаются с идеями, изложенными в учебнике «Основы современной христианской философии», или с кодексом Истинного Мужчины, или с извращенным видением мира Карла Корбина, – и чувствую, что меня вновь охватывает дрожь как предвкушение близкой беды. И беда эта неумолимо надвигается на меня, выдавливая воздух из легких, заставляя не дышать, не существовать, не жить...

Нет, это абсолютно невозможно, убеждаю я себя; Стивен никак не мог узнать о наших с Лоренцо отношениях. Никоим образом. Мы были чрезвычайно осторожны тогда, в тот последний раз, когда случайно встретились на Восточном рынке, а потом ехали по запруженным автомобилями улицам в свою «крабью нору», и я всю дорогу проторчала на полу, скорчившись под задним сиденьем. К тому же это было в марте, и Стивен наверняка находился в школе на занятиях.

Тревога и усталость наваливаются на меня одновременно, тяжелые, как мешки с кирпичами, и я уныло тащусь вниз, на кухню, чтобы помочь Патрику.

А Патрик по-прежнему что-то насвистывает.

Глава тридцать четвертая

Меня будят сирены. Их вопли в ночной тиши, похожие на крики диких зверей, становятся все громче и громче, и мне уже начинает казаться, что звучат они прямо у нас под окном. За жалюзи вспыхивают красные и синие сполохи, и я понимаю, что все это мне не снится.

– Какого черта? – бормочет Патрик, поворачиваясь с боку на бок раз, потом другой, потом накрывая голову подушкой, но и там он выдерживает недолго: реальная действительность упорно просачивается сквозь занавес сна, и Патрик встает.

А у меня в голове крутится тот разговор, который сегодня утром был у нас с Лин в ее кабинете. «Ты что, по-прежнему питаешь нежные чувства к нашему итальянскому коллеге?.. И давно это у вас продолжается?.. Будь осторожна, детка. Ты можешь потерять куда больше, чем только голос».

И потом еще Стивен. Его загадочный вопрос до сих пор звучит у меня в ушах.

– О господи, – говорю я и подхожу к окну.

Самое большее, что я могу разглядеть, это два легковых автомобиля, и третий побольше, квадратный, похожий на «Скорую помощь», но не белый. Затем подъезжает и еще один легковой автомобиль и пристраивается за этим приземистым грузовичком, полностью заблокировав нашу подъездную дорожку.

Теперь к нам не подъехать ни одной машине. И не выехать.

Я что-то такое говорю, но мои слова вряд ли слышнее хриплого шепота, они лишь слабо скребут воздух. Да и все во мне, похоже, перестает нормально функционировать – колени трясутся, как желе, голос мне не повинуется, желудок вот-вот готов снова взбунтоваться. Тошнота волнами подступает к горлу, пока я неотрывно смотрю на яркие автомобильные фары, вереницей выстроившиеся на улице перед нашим домом.

Я жду, когда позвонят в дверь – что ж, самое обычное дело, нечто подобное я давно уже предвкушала. А раньше такой звонок в дверь означал гостей, приехавших на выходные, или курьера с ожидаемыми мной покупками, или приятную пару из Юты, несмотря на мое нежелание обращаться в какую-либо религию, всегда почему-то выглядели очень приятными и хорошо отмытыми. А еще звонок в дверь в былые времена мог означать появление всяких карнавальных персонажей во время Хеллоуина – привидений, гоблинов, принцесс или героев последних

знаменитых боевиков.

– Я схожу, – говорит Патрик.

А я все жду, когда у нас на двери звякнет звонок, и думаю о По с его ужасным шрамом, замашками бывшего спецназовца и фантастической немногословностью. Нет, сегодня для меня зазвонят не серебряные или золотые колокольчики, а железные.

Ох, так вашу мать...

И я уже вижу, как они входят в дом – в военной форме, вооруженные этими своими черными электрошокерами, – и идут по полированным половицам моего дома, оставляя вмятины и следы. Я вижу среди них Томаса, преподобного Карла и других Истинных, и у одного из них в руках маленькая коробочка, а в ней браслет-счетчик, лимит слов в котором равен нулю, и он вскоре защелкнется на моем запястье, точно железный наручник. Я вижу телевизионные камеры и новых репортеров, которые щелкают камерами со вспышкой в попытках поймать в объектив бывшего доктора Джин Макклеллан, отныне приговоренную к жизни в абсолютном молчании и каторжной работе на полях Айовы, или на рыбозаводах Мэна, или на текстильных фабриках Алабамы. Ну и, естественно, подлежащую публичному осуждению и осмеянию.

«Стивен, – думаю я. – Что же ты наделал?»

За Лоренцо они не придут. Это я знаю. К прихотям мужчин в любом обществе всегда относились терпимо.

Соня с горящими глазами влетает в мою спальню. А в коридоре слышны шаги близнецов – они явно направляются в другую часть дома, куда ушел и Патрик.

– Ничего страшного, малышка, – говорю я, обнимая Соню. – Все хорошо.

Но нет, все совсем не хорошо. И очень страшно. Но я так и сижу на полу, прислонившись спиной к кровати и баюкая дочь в ожидании неизбежного, как Судный день, звонка в дверь.

Глава тридцать пятая

Проходит целых пять ужасных минут, прежде чем я слышу в коридоре торопливые шаги Патрика.

– Все это просто отвратительно, – говорит он. – Что бы там ни случилось, это что-то плохое. – Тревожные морщины как-то особенно отчетливо проступили у него на лице – точно бесчисленные линии на бледном фоне контурной карты.

Но в дверь к нам так никто и не позвонил.

Я заставляю себя встать, беру Соню в охапку и следом за Патриком иду на кухню. Парад автомобилей на нашей улице по-прежнему продолжается, по-прежнему пронзительно воют полицейские сирены, по-прежнему вспышки синего и красного света тревожат ночную тьму. Шестеро мужчин выстроились у парадного крыльца Кингов, еще двое стоят на страже у задней двери.

«Это не за мной, – крутится у меня в голове. – Не за мной. Не за мной. Не за мной».

Женский пронзительный вопль вдруг разрывает ночную тишину, он отчетливо слышен даже у нас на кухне, и я все же решаюсь выглянуть из окна.

Лео делает шаг к выключателю, намереваясь зажечь свет, но я поспешно его останавливаю:

– Нет. Не включай. Пусть будет темно.

Господи, что такого могла сделать Оливия Кинг?

...если б кто-то, кого ты знаешь... а может, даже и по-настоящему любишь... совершил гнусный поступок, ты бы... настучала на него?

И тут до меня доходит: все эти мужчины явились сюда вовсе не за Оливией, а за Джулией.

Я отворачиваюсь от окна. Патрик по-прежнему стоит рядом со мной, бледный как привидение. Соню я усадила на один из барных табуретов у стойки посреди кухни. Сэм и Лео тоже здесь и смотрят на происходящее у соседей круглыми от ужаса и изумления глазами размером с тарелку «фрисби».

И только Стивена здесь нет.

А женские вопли за окном усиливаются. Должно быть, это кричит Оливия – по-моему, это именно она. Господи, Оливия с обмотанной дурацким розовым шарфом головой, с розовой Библией под мышкой и с

пустой мерной чашкой в руках! Но на сей раз она спустила с поводка настоящий ад.

– Вы не можете ее забрать! Эван! Сделай же что-нибудь! Ради бога! Да сделай же что-нибудь, черт побери, не стой, сунув свои гребаные руки в гребаные карманы! Ну что ты стоишь и смотришь? Убей их. Застрели этих гребаных ублюдков! Скажи им, что она ни в чем не виновата! Ни в чем...

На мгновение ее тирада прерывается пронзительным стоном, но уже через пару секунд она снова принимается то яростно вопить, то рыдать от бессилия, а тем временем двое мужчин выволакивают из дома Джулию Кинг. Но Эван Кинг все так же безмолвно и безучастно стоит возле крыльца, сунув руки в карманы, и лицо его в свете висящего над крыльцом светильника кажется желтым.

Остановить меня Патрик не успевает, и я опрометью вылетаю из задней двери нашего дома, не обращая внимания на то, что льет довольно сильный майский дождь. Шлепая босыми ногами по траве и подъездной дорожке, я вбегаю во двор Кингов и кричу:

– Прекратите это! Снимите же, наконец, с нее счетчик! – кричу я, вбегая во двор Кингов.

Все, за исключением Оливии, тут же поворачивают голову в мою сторону.

А Оливия все продолжает выкрикивать – теперь уже умоляющим тоном, обливаясь слезами:

– Пожалуйста, не забирайте ее! Пожалуйста! Возьмите меня вместо нее, прошу вас. – Теперь уже буквально за каждым ее словом следует тошнотворный щелчок электрического разряда и пронзительный вопль боли.

– Да снимите же с нее этот гребаный счетчик! – снова ору я.

– Вернитесь к себе в дом, мэм, – слышу я чей-то голос. И узнаю Томаса, того самого Томаса в темном деловом костюме и с еще более темной душой. Затем, обращаясь к кому-то из своих подручных, он приказывает: – Сажайте ее в фургон.

Ее – это, конечно, Джулию, хотя та до сих пор не проронила ни слова. Может быть, пока не проронила? Но, когда она поворачивается и я вижу ее лицо, освещенное неярким светом фонаря на крыльце, мне становится ясно, что у нее шок. Ее лицо абсолютно ничего не выражает. А на ее левое запястье уже надет широкий металлический наручник. Значит, и Джулия вот-вот пополнит ряды лишенных голоса женщин – как те молодые матери из супермаркета, как Джеки, как многие другие, и одному Богу известно, сколько их еще, этих других, пребывающих в нынешней извращенной

версии одиночного тюремного заключения. *Ноль слов в течение дня, девчата. Посмотрим, сколько времени вам понадобится, чтобы вписаться в наши ряды.*

Оливия мне всегда, в общем-то, была почти безразлична, но сейчас ноги сами несут меня к ней, и я склоняюсь над ее скрюченным, бьющимся в судорогах телом. На ней лишь легкий пеньюар персикового цвета, который под дождем промок насквозь и прилип к ее коже, точно прозрачная пленка. Собственно, и я в своей ночной рубашке, должно быть, выгляжу не лучше. Собственно, наши рубашки промокли даже не столько от дождя, сколько от пота, поскольку крылечко у Кингов закрытое, а дождь сейчас не идет. Томас что-то приказывает жестом одному из своих людей, и тот делает шаг ко мне; его рука с растопыренными, как морская звезда, пальцами на рукояти пистолета.

– Ступайте домой, мэ. Ничего интересного здесь нет.

– Но я...

«Морская звезда» еще на дюйм подползает к спусковому крючку.

И тут я становлюсь свидетельницей, пожалуй, самого страшного события в моей жизни, когда Джулию Кинг стаскивают с крыльца и уводят от матери к тому темному фургону. Мужчина, сопровождающий девушку, а лучше сказать, поддерживающий ее, совершенно утратившую и все силы, и волю к жизни, в вертикальном положении, зачитывает ее права.

Вот только никакие это не права. Там нет ни одной фразы, которая начиналась бы словами «вы имеете право на»; там лишь монотонно перечисляются разнообразные обязанности – «вы должны...».

На подъездной дорожке я больно ударяюсь ногой о какой-то камень. Собственно, вся дорожка посыпана довольно крупным гравием, и мне хочется набрать их в горсть и с силой втереть себе в глаза, чтобы ослепнуть, чтобы никогда больше не видеть того, что я только что видела и, наверное, не раз увижу еще.

Мне, например, больше не хочется видеть, как Патрик стоит у нас в кухне и ровным счетом ничего не предпринимает. И Стивена мне не хочется больше видеть; он появляется из своей комнаты как раз в тот момент, когда я уже стою на коврике у нашей входной двери. С меня буквально течет вода, а мой сын смотрит ничего не выражающими – кукольными – глазами и на меня, и на черный фургон, разумеется, ничуть не похожий на «Скорую помощь», который увозит Джулию Кинг в ее новое и отныне постоянное место обитания.

Сэм и Лео уже притащили мне полотенца. Я набрасываю одно из них на плечи и отсылаю мальчиков и Соню спать. А сама накидываюсь на

Стивена:

– Какого хрена ты это сделал, Стивен?

Услышав мой гневный голос, он резко вздрагивает и отшатывается от меня. Он больше уже не выглядит тем задиристым подростком, каким был еще вчера за обедом.

– Ничего.

– Нет, ты ответь, что ты сделал?

– Отстань, мам!

Правильно. И я не выдерживаю – я хватаю своего семнадцатилетнего сына за ворот рубашки и чувствую, что могла бы до тех пор стискивать края ворота у него на шее, пока он не побагровеет и не покроется испариной. Но это совсем не то, чего мне хотелось бы. И свое сегодняшнее лицо мне не хотелось бы видеть в зеркале завтра утром. И я, уже гораздо тише, почти ласково спрашиваю:

– Что ты натворил, мальчик?

И Стивен вдруг как-то съеживается, забивается на кухне в угол за холодильник и под ту полку, на которой когда-то – тысячу или миллион лет назад – стояли мои книжки по кулинарии. А я молча смотрю на Патрика, говоря ему глазами: «Ты мне нужен сейчас».

– Я ничего не... – заикаясь, выдавливает из себя Стивен. – Я в этом не виноват!

В этом? В чем «в этом»? Старая песенка Эрты Китт^[30] молотом стучит у меня в голове: «Давай сделаем это».

– Ох, Стивен, – вздыхаю я.

И это – ЭТО – тут же выскакивает наружу.

– Она сама это предложила; сказала, что просто хочет поцеловаться, так, побаловаться. И мы... – Стивен смотрит на Патрика, надеясь на его помощь, но тот лишь молча качает головой. – Мы не думали, что у нас вообще это получится.

Это.

Я про себя даю себе обещание никогда больше не употреблять слово «это».

А за окном, на освещенном крыльце Кингов Эван что-то кричит, но я ничего не могу понять, пока не вижу, как Оливия сползает по кирпичной стене на землю.

– От сегодняшнего ей уже никогда не оправиться, – говорю я, ни к кому конкретно не обращаясь. Потом поворачиваюсь к Патрику: – Ты можешь хоть что-нибудь сделать? Можешь, например, поговорить с Карлом

Корбином или с самим Майерсом?

Голос Патрика звучит тухло:

– И что мне им сказать?

– Господи. Не знаю. Ты же умный. А если ты скажешь, что во всем виноват Стивен? Что это он все начал, хотя Джулия говорила «нет», но он все-таки настаивал? Что они еще дети и просто запутались? Что на самом деле *этого* вовсе и не было? – Снова проклятое «это»! – Ну, что они по-настоящему никаким сексом не занимались. Можешь ты так сказать?

– Но это была бы ложь, – говорит Стивен, прежде чем Патрик успевает рот открыть.

– Мне все равно, ложь это или нет! – ору я. – Ты хоть понимаешь, что теперь будет с Джулией? Понимаешь?

И юная Джулия возникает у меня перед глазами, точно в старом семейном видеофильме; вот она катается на коньках или гоняет по нашей улице на велосипеде в своем вызывающе коротком топике, одновременно слушая музыку через наушники; вот она разговаривает со мной через ограду, когда я подрезаю посаженные миссис Рей розы; а вот она держит за руку Стивена... И почти сразу передо мной вспыхивает экран телевизора, и на нем совсем иная Джулия, одетая в серый балахон, испуганно моргающая под вспышками сотен камер и безмолвно застывшая рядом с преподобным Карлом, который, естественно, зачитывает вслух строки из своего «Манифеста Истинных»... Ладно, прокрутим еще немного вперед, и вот уже передо мной Джулия, усталая, согбенная, тощая, выдергивает из земли сорняки или разделяет рыбу...

И никто в этой комнате ничего с этим поделать не может.

Как я уже говорила: шалости мужчин у нас обычно прощаются.

Глава тридцать шестая

По пятницам, согласно моему контракту, у меня выходной, но в крови у меня бушует слишком много адреналина, чтобы спать, так что я встаю – пусть Патрик продолжает преспокойно сопеть носом – и иду на кухню. Именно там мне лучше всего думается.

Я хочу бороться, но не знаю как.

Если бы Джеки была здесь, уж она-то нашла бы, что мне посоветовать. Лучше всего я помню ее последние наставления – это было в конце апреля, и мы еще жили вместе в Джорджтауне в нашей квартирке с ковриками из «Икеи» и посудой из «Икеи», дополненной, пожалуй, несколькими кастрюлями и сковородками, купленными на уличной распродаже.

– Ты можешь начать с малого, Джини, – говорила Джеки. – Сходи на пару митингов, раздай листовки, обсуди с людьми кое-какие спорные вопросы. Ты ведь совершенно не обязана менять мир в одиночку, знаешь ли.

А еще я вспоминаю ее любимые выражения: *народное движение, шаг за шагом, теория малых дел, надейся-на-перемены-и-да-мы-сможем!* Патрик все посмеивался над этими словами, и я посмеивалась с ним вместе.

В шесть часов утра Стивен нехотя заглядывает на кухню, наливает стакан молока и уносит его к себе.

Ну и прекрасно. Я просто смотреть на него сейчас не могу.

Я поджариваю себе несколько очень сухих тостов и завариваю чай. Мой мозг требует кофе, но внутренности мои сразу взбунтовались, стоило мне открыть пакет с кофейными зернами и засыпать их в кофемолку. Мне кажется, что даже этот несчастный тост пахнет какой-то дрянью, словно вся еда, имеющаяся у меня дома, успела за ночь протухнуть. И все приобрело вкус и запах лежалой рыбы.

После Стивена встает Соня, у которой возникло множество вопросов насчет минувшей ночи. «Что случилось в доме у Кингов?», «А я пойду сегодня играть к миссис Кинг?», «Джулия заболела?». Господи, сколько же слов сразу она произносит! Для меня ее речь звучит как музыка, вот только слова совершенно не те.

– Все в порядке, детка, ничего особенного не случилось, – вру я, – но мне кажется, что миссис Кинг сегодня лучше немного передохнуть. – А сама думаю: но ведь это значит, что мне нужно срочно придумывать, с кем

оставить Соню хотя бы на то время, пока я на работе.

И я в уме перебираю возможные кандидатуры из числа других наших соседей. Одна слишком стара, другая чересчур религиозна, третья вообще какая-то очень странная, четвертая излишне беззаботна... Я, разумеется, совсем не хочу, чтобы Соня свалилась с качелей или – что, на мой взгляд, было бы еще хуже – вернулась домой, с удовольствием повторяя наизусть целые куски из манифеста Истинных. Я отчаянно тру покрасневшие глаза, пытаюсь прогнать сон, и копаюсь в мозгах в поисках решения.

И неожиданно его нахожу: только сейчас я наконец понимаю, что означало тройное подмигивание нашего почтальона. И сообщение о том, что у него три дочери.

Пока Соня хрустит хлопьями, я прикидываю, как мне построить день. Назначить встречу с врачом, дождаться почтальона, проверить, как там Оливия (сперва убедившись, что Эван отбыл на службу), затем заехать в лабораторию и как-то попытаться сообщить Лин о том, что я вчера обнаружила в кабинете Патрика. Вот чего я точно делать не намерена, так это смотреть, как Джулию Кинг будут подвергать публичному позору.

Эту новостную программу наверняка покажут сегодня и днем, и вечером, а также, скорее всего, ее будут повторять в течение всего следующего месяца, пока не появится новая жертва, и тогда уже ее отдадут на растерзание прессы. Они всегда так поступают: вставляют уже отснятый «полюбившийся» сюжет в наиболее популярное шоу, прекрасно зная, что люди будут это смотреть. Гадость! Хотя, конечно, никого силой смотреть подобные передачи не заставляют, однако единственная альтернатива этому – выключить телевизор. Но даже и тогда от бесконечного повторения этих сюжетов не спастись, потому что они еще долгое время появляются на экране, причем в такие моменты, когда меньше всего этого ожидаешь – например, во время кулинарного шоу, или передачи «Ваш старый дом», или посреди документального фильма о зебрах.

Стивен снова прокрадывается в кухню и говорит:

– Я что-то неважно себя чувствую. Пожалуй, даже в школу сегодня не пойду.

Ну, еще бы! А ведь сегодня главным героем шоу в их школе для Истинных мальчиков будет Джулия Кинг.

– Ты совершенно здоров, Стивен, – холодно замечаю я, – так что давай, буди младших братьев и одевайся. – Я смотрю на часы. – Автобус придет через час.

– Но, мам...

– Даже не начинай, деточка.

Нет уж, Стивену совершенно необходимо посмотреть эту передачу; если понадобится, его нужно попросту привязать ремнями и насильно заставить держать глаза открытыми, как того сукиного сына в фильме Стэнли Кубрика. Возможно, чтобы уж наверняка подействовало, в сюжетец вставят еще и несколько клипов из той жизни, которая теперь светит Джулии где-нибудь на ферме в диком краю или в рыбозаготовительном цеху.

Телефон звонит, когда я перемываю тарелки.

– Стивен, возьми, пожалуйста, трубку. А потом разбуди, наконец, Сэма и Лео. – Я поворачиваюсь к Соне. – А ты, может быть, сходишь и посмотришь, проснулся ли твой папочка? Можешь, кстати, отнести ему это, только осторожней, пожалуйста. – И я вручаю ей наполовину полную кружку с кофе, слегка морщась от противного запаха. Никогда раньше мне и в голову не приходило, до чего запах кофе способен напоминать запах дерьма.

– Хорошо! – И Соня удаляется, крепко держа кружку обеими руками и передвигаясь мелкими шажками со скоростью улитки. Надеюсь, где-нибудь к началу следующей недели Патрик свой кофе все-таки получит.

– Это тебя, – говорит Стивен, передавая мне трубку. – Это Баббо.

Меня словечко «баббо» в устах Стивена просто убивает. Это детское прозвище он дал деду еще в те времена, когда был того же возраста, что сейчас Соня, и бегал по дому в ярко-красных вельветовых штанишках и желтой, как солнышко, футболке с яркой надписью на груди: СУПЕРРЕБЕНОК! И я вдруг ясно вспоминаю, как мы сидели на этой вот самой кухне еще до того, как начали перестраивать весь дом; тогда многие бытовые приборы были еще нам недоступны, а кухонные столы были покрыты обыкновенным пластиком с золотистыми крапинками. Я собиралась печь шоколадное печенье, а Стивен вместо того, чтобы спросить, можно ли облизать ложку, подтащил к себе всю масляную плоскую из-под теста и выгребал остатки, пользуясь своей крошечной лапкой как лопаткой.

И почему это, черт побери, дети так быстро вырастают?

Я беру трубку и слышу голос отца.

– Привет, папа. Чего это ты звонишь? Ты же больше любишь по фэйстайму общаться.

Но никакого ответа на свой вопрос, даже если он его и заготовил заранее, я не слышу, потому что мой отец плачет, хрипло, надрывно, а на заднем плане явственно чувствуется знакомый шум итальянской больницы, легко просачивающийся в телефонную трубку.

– Папа. Что случилось? – в ужасе спрашиваю я.

И тут в трубке возникает совсем новый, незнакомый мне женский голос:

– Профессоресса Макклеллан? – Она произносит отнюдь не итальянскую фамилию Патрика как *macalella*^[31], избегая скопления согласных и превращая ее в нечто для себя знакомое.

– Да, это я. – Чай и тост начинают непристойное вращение у меня в животе. – А в чем дело?

Снова «это». Кажется, мне никуда не деться от этого проклятого словечка.

– Дело в том, что у вашей матери аневризма, – объясняет, представившись, эта женщина-доктор. Ее английский достаточно хорош, так что я могу не беспокоиться насчет итальянского медицинского жаргона, которым так давно не пользовалась. – И сегодня рано утром эта аневризма прорвалась.

Чай и тост поднимаются еще выше и явно просятся наружу.

– Локализация? – с трудом выговариваю я.

– Головной мозг, – говорит врач.

– Да. Это я знаю. Я бы хотела знать, в каком конкретно отделе головного мозга произошло кровоизлияние. Видите ли, я обладаю кое-какими знаниями в области неврологии.

– В заднем отделе верхней височной извилины.

– Левое или правое полушарие? – спрашиваю я, уже зная ответ.

В телефонной трубке слышится шуршание бумаги.

– Левое.

Я наклоняюсь над стойкой и прижимаюсь лбом к холодной гранитной столешнице.

– Зона Вернике, – шепчу я.

– Да, поблизости от зоны Вернике. – Еще чья-то бурная итальянская речь врывается в наш разговор, заглушая слова врача, и она говорит: – Извините, ради бога, извините, но мне срочно нужно заняться другим пациентом. Если сможете, перезвоните, пожалуйста, через несколько часов, тогда нам, наверное, будет более понятно, каково состояние вашей матери.

Она передает трубку моему отцу, и я спрашиваю у него:

– Мама в сознании?

– Нет.

Когда мы заканчиваем разговор, у меня упорно крутятся в голове слова Джеки. *Шаг за шагом, Джини. Начни с малого.*

Но я все равно не понимаю, с чего мне начать и что здесь «большое», а

что «малое», зато я отлично понимаю: на что бы я дальше ни решилась, оно должно быть поистине огромным.

Как же мне хочется, чтобы Джеки сейчас здесь оказалась!

Глава тридцать седьмая

Все, кроме Сони, уже убралось из дома, когда подъезжает знакомый грузовичок, и наш почтальон, разбрызгивая лужи, идет по дорожке к почтовому ящику. Он достает из своей сумки пачку конвертов, роется в них, потом здоровается со мной:

– Доброе утро, доктор Макклеллан.

– Доброе утро, – отвечаю я.

– Ох, не стоит вам зря расходовать слова, мэм, на разговоры с такими людьми, как я. Я и так все отлично пойму.

Я поднимаю левую руку, демонстрируя ему запястье.

– Вот, получила временное послабление – благодаря брату нашего президента.

– Я вас не понимаю...

– Я вернулась на работу. И нам понадобятся пациенты для клинических испытаний.

Он некоторое время переваривает это сообщение.

– Что ж, мэм, новость хороша. А можно мне Шэрон рассказать? Это моя жена.

– Конечно.

– Ох, она так обрадуется! Моя мать к ней всегда как к родной дочери относилась. Очень они друг друга любили. – Лицо его вдруг мрачнеет. – Я понимаю, маме, конечно, все равно придется носить один из этих браслетов, но все же сто слов в день лучше, чем ничего, верно?

– Наверное, да, – говорю я, хотя отнюдь не уверена, что так уж с этим согласна. Я все пытаюсь прочесть обратные адреса на тех конвертах, которые он держит в руках, но он не дает, крепко прижимая их к груди. – Как вы думаете, не согласится ли ваша жена немного посидеть с моей дочкой? Видите ли, дочка у меня еще маленькая, а те люди, что за ней присматривали... в общем... они сейчас недоступны.

– Думаю, мы непременно что-нибудь придумаем. – Он поднимает металлический клапан и заглядывает внутрь запертого ящика. – Ага. Сегодня кое-что нужно отправить. Одну секундочку. – На ремне у него висит целая связка ключей, но он выбирает один, серебристый, с виду совершенно новый, и такой бородки я никогда раньше не видела – разве что на тех особых ключах, которые Патрик всегда носит при себе. Дно ящика открывается, повисая на петлях, и почтальон вынимает какой-то одинокий

конверт, старательно прикрывая ладонью то место, где написан адрес. Затем снова запирает ящик и, словно вдруг опомнившись, опускает принесенную им пачку писем в металлическую щель под клапаном.

– Вы как, доктор Макклеллан, Истинная или нет? – спрашивает он и трижды моргает, прежде чем повернуться и посмотреть прямо на ту камеру, что висит у нас над дверью. Это явно намек.

Я качаю головой. Точнее, делаю еле заметное движение головой справа налево. Медленно, но вполне определенно. Во всяком случае, понять этот жест нетрудно.

– Хм... – говорит он. – Ладно, давайте я сперва с женой переговорю, а потом посмотрим, как нам лучше о вашей девочке позаботиться. Как ее зовут?

– Соня.

– Хорошенькое имя. – И он произносит несколько слов прямо в свои наручные часы, которые издают негромкий писк. – Шэрон, дорогая, меня тут *та самая* женщина-доктор с Парк-авеню просит немного помочь ей с маленькой дочкой. Как ты насчет этого? Ничего, если я их через некоторое время к нам домой пришлю? – Часы снова издают свое «бип», и он завершает разговор. – Хе-хе-хе. Моргните один раз, если «да», и два раза, если «нет», запомнили?

Я абсолютно не понимаю, о чем это он.

– Ну и чудесненько. Тогда я, пожалуй, двинусь дальше, а вы, когда увидите Шэрон, передайте ей, что сегодня я приеду домой попозже. Есть кое-какая дополнительная работенка, чтобы подзаработать и чтобы дома огонь в очаге горел, и все такое прочее. Понимаете, о чем я?

– Конечно, – говорю я, хотя уже начинаю думать, что мы с мистером Почтальоном говорим на взаимно несовместимых языках. – И я непременно оставлю вам свой номер телефона, чтобы мы чуть позже созвонились и назначили день для осмотра и лечения миссис Рей.

Он что-то царапает на клочке блестящей бумаги – похоже, рекламный ярлычок от упаковки «Валпакс».

– Ненавижу писать на таких полиэтиленовых штуковинах. Да они и всем осточертели. Только разве их выпуск теперь остановишь? В общем, вот вам адрес. Шэрон будет вас ждать.

Я беру у него плотный блестящий прямоугольничек и говорю:

– Спасибо. И вскоре ждите моего звонка.

Почтальон садится в свой грузовичок и, пятясь задом, уезжает, разбрызгивая лужи на нашей посыпанной гравием дорожке и что-то насвистывая себе под нос. Что-то очень странное – вроде бы и не песню, но

что-то очень знакомое и весьма мелодичное.

Когда я возвращаюсь в дом, Соня все еще смотрит свои мультфильмы.

– Нет, дорогая, довольно. Давай-ка на время выключим телевизор.

– Нет! – верещит она.

Чтобы отыскать пульт и выключить телевизор, мне требуется всего пара секунд, и все-таки я не успеваю: на экране возникает Джулия Кинг в мерзком сером балахоне до щиколоток и с длинными рукавами – это в такую-то жару. Волосы ей уже обкорнали, хотя я не помню, чтобы они так поступили с Энни, «прославившейся» адюльтером с мистером Синий Пикап. Возможно, впрочем, основанный ими ритуал публичного осмеяния уже успел претерпеть кое-какие изменения, и они стремятся еще сильнее унижить свою жертву. Преподобный Карл, разумеется, стоит рядом с Джулией, суровый и печальный, и один за другим изрекает подходящие к случаю куски из своего манифеста.

– «Смотрите не на себя, а на других, которые подобно Христу были покорны до самой смерти, а Он даже смерть на кресте принял со смирением раба».

И еще:

– «Если вам выпали страдания во имя правого дела, то будьте счастливы, ибо такова воля Господа, повелевающего вам страдать. И страдание это продлится всего лишь миг и явится для вас ключом к вечному свету и славе в царствии небесном».

Бла-бла-бла.

Соня уже сидит совершенно прямо, уставившись на экран куда более внимательно, чем когда там показывали очередной мультфильм.

– Это Джулия? – удивленно спрашивает она.

И я снова вру:

– Нет, что ты. Это какая-то другая девушка, просто она немного похожа на Джулию. – И я поспешно выключаю телевизор, пока преподобный Карл не продолжил свою нудную проповедь.

– Давай-ка... быстренько собирайся. Мы с тобой сейчас поедим к нашим новым друзьям.

И я поспешно делаю три вещи: во-первых, заставляю Соню как следует почистить зубы и потратить на это чуть больше пяти секунд. Затем бегом бросаюсь в туалет и все-таки исторгаю в унитаз съеденный мной на завтрак тост с чаем. И лишь потом я разворачиваю записку, сделанную мистером Почтальоном на обрывке рекламного листка.

Там адрес и еще несколько слов: *Не слишком удивляйтесь.*

Глава тридцать восьмая

Дом Шэрон Рей больше похож на сарай; это исхлестанное непогодой деревянное строение, которое выглядит так, словно какой-то великан в гнев молотил по нему своей дубиной.

Я пробираюсь по двум грязноватым колеям проселочной дороги, ведущей к нему от шоссе, и сперва миную огород размером с небольшую ферму. Затем я ставлю свою машину за джипом, украшенным пестрыми наклейками с упаковок вирджинского табака, заглавные буквы в которых при внимательном взгляде складываются в слово НЕ ИСТИННЫЙ. И глушу двигатель.

Соня отстегивает привязной ремень и вылетает из машины, устремляясь к двум пасущимся козочкам.

– Эй, малышка, погоди-ка минутку, – останавливаю ее я. Все сорок пять минут, что мы сюда ехали, я объясняла ей, что те девочки, с которыми она сегодня проведет день, говорить так много, как она, возможно, не смогут, и она должна об этом помнить. Я советую ей говорить с дочерьми почтальона не больше, чем она говорила в школе с другими девочками. Хотя, скорее всего, они и сами еще в школе, ведь сегодня только пятница.

Затянутая сеткой дверь, болтающаяся на петлях, со стуком распаивается, и в то же мгновение на покосившемся крыльце появляется Шэрон Рей. На ней потертый комбинезон и хлопчатобумажная рубашка в клетку; голова повязана голубой банданой, стянутой узлом на макушке и придерживающей ее распущенные волосы. Рукава рубашки закатаны, и видно, что руки у Шэрон очень сильные, мускулистые, как у мужчины; в одной руке у нее гаечный ключ, а в другой хозяйственное пластмассовое ведерко.

Шэрон Рей запросто могла бы в наши дни сыграть роль «клепальщицы Розы»^[32], если бы Розы было лет сорок, она была бы чернокожей и носила на запястье серебристый счетчик слов.

Шэрон улыбается нам с крыльца, затем кладет гаечный ключ, ставит ведро, спускается на землю и мимолетным жестом, слегка склонив голову к правому плечу, приглашает нас пройти к еще одному строению, стоящему несколько поодаль, но выглядящему, пожалуй, даже несколько лучше, чем их жилой дом. Мы молча направляемся к этому сараю следом за хозяйкой, и Соня возбужденно таращит глаза и все время вертится, потому что по

двору свободно бродят козы, куры и даже три мохнатых альпака.

– Это кто? – спрашивает она, указывая на альпака.

– Ш-ш-ш, – я прижимаю палец к губам.

Шэрон, оглянувшись, снова улыбается, но не произносит ни слова, пока мы не входим в сарай. С легкостью отодвинув здоровенную деревянную балку засова толщиной с мужское бедро, она распахивает дверь, и меня чуть не сбивает с ног мощная волна деревенских ароматов – сладкий запах свежего сена и отнюдь не столь сладкий запах конского навоза.

– А что, всегда неплохо с утра взбодриться запахом конского дерьма, – говорит Шэрон. – Да его тут и немного совсем. – И, словно спохватившись, поправляется: – Ох, извините. Я хотела сказать, конских какашек. Я иногда забываюсь.

– Да все нормально. – Я и сама никогда не принадлежала к числу людей, которые как-то особенно тщательно выбирают слова в присутствии детей.

– Так ты, значит, Соня? – Шэрон наклоняется, берет мою дочь за левую руку и большим пальцем проводит по тому месту, где должен быть счетчик. – А меня зовут миссис Шэрон, и, по-моему, мы с тобой скоро подружимся. Ты лошадей любишь?

Соня кивает.

– Пользуйся словами, девочка. У тебя ведь есть такая возможность, верно?

– Но я ей сказала... – пытаюсь объяснить я, но Шэрон не дает мне закончить.

– Вас, верно, удивляет, чего это я так разболталась? – И она, с легкостью расстегнув свой серебристый браслет, снимает его с руки и отшвыривает в сторону. – Не волнуйтесь, он фальшивый. Мне его Дэл еще в прошлом году изготовил – разобрался, как можно снять настоящий счетчик, и сразу на меня этот надел. А потом и еще три таких сделал – для наших девочек. – И Шэрон снова поворачивается к Соне, заводя разговор о животных, словно ничто из того, о чем она мне только что сообщила, особого внимания не заслуживает и уж точно не может быть интересней ее питомцев. – Вон тот, в заднем стойле, это Катон. Рядом с ним Менкен. А вон ту чалую кобылу со здоровенной, как у быка, головой, что в сторонке стоит, зовут Аристотель. Может, хочешь подойти и с ними поздороваться, а я пока с твоей мамой поговорю.

Соне дважды предлагать не нужно, и она бегом бросается к стойлу Аристотель.

– Она ведь не укусит девочку? – спрашиваю я, кивая в сторону кобылы.

– Пока я сама ей не велю, – успокаивает меня Шэрон и замечает: – Вид у вас уж больно удивленный, доктор Макклеллан.

– Джин. Просто Джин. И, если честно, я просто потрясена!

– На самом деле мой Дэл – самый настоящий инженер, но в обличье почтальона. Он все здесь так здорово устроил, словно мы всем законам следуем и все такие милые и тихие. Хороший он человек, мой Дэл, хоть и был обыкновенным городским белым парнем. Подойдите-ка сюда, я вам еще кое-что покажу. – Она ведет меня мимо Катона и Менкена – странные имена для лошадей, думаю я; впрочем, все же не настолько странные, как у этой кобылы, которая носит имя древнегреческого философа, да к тому же мужчины. А Шэрон между тем открывает дверь в заднее помещение, где у Дэла мастерская.

Собственно, это не столько мастерская, сколько научная лаборатория, хотя она и представляет собой полную противоположность всем тем лабораториям, какие мне доводилось видеть. Большая часть имеющихся здесь приборов и приспособлений выглядит так, словно они собраны из разрозненных деталей от всяких радиол, проигрывателей и кухонных машин. Справа от меня, например, выпотрошенный старый слайд-проектор, а слева на идеально чистом рабочем столе целых пять телевизионных пультов времен 1980-х, их внутренности тоже аккуратно разложены рядами.

– Что он здесь мастерит? – спрашиваю я.

– Так, кое-что. Чинит, лудит, паяет.

– Зачем?

Шэрон с удивлением на меня смотрит.

– А вы как думаете? Посмотрите-ка на меня хорошенько, Джин. Я же черная женщина.

– Я это заметила. И что?

– А то! Сколько, по-вашему, еще времени потребуется преподобному Карлу и его пастве из этих Истинных Синих Овец, чтобы они додумались до того, что не только женщину и мужчину Господь создал различными, но и людей с черной и белой кожей? Неужели вы думаете, что они оставят в покое такие смешанные браки, как наш? Что они и впредь будут позволять черным и белым совокупляться? Если вы и впрямь так думаете, значит, вы не так умны, как мне показалось.

Я чувствую, что краснею, и лепечу в ответ:

– Я никогда об этом не задумывалась...

– Конечно, никогда. Слушайте, не хочется вас обижать, а все же вы, белые девушки, беспокоитесь только о том... в общем, вы беспокоитесь только о себе любимых. О белых девушках. Ну а у меня куда более серьезные поводы для беспокойства, чем те сто слов, которые мне на день положены. У меня ведь еще и дочери есть. Но пока что мы заставляем их посещать эту их школу, как полагается. Мы вообще все делаем так, чтобы не особенно к себе внимание привлекать, особенно по выходным. Но это только до тех пор, пока мы не придумаем, как отсюда выбраться и, главное, как границу пересечь. Только мы с Дэлом хорошо знаем: что-то грядет. Думается, через годик-другой здесь появится кое-что поинтересней отдельных школ для Истинных мальчиков и Истинных девочек. И уж конечно, эти новые школы – как и нынешние – равноценными ни в коем случае не будут.

В голосе Шэрон не слышно ни особых эмоций, ни жалости к себе, в нем лишь холодная, ясная наблюдательность; да и рассуждения свои она излагает так спокойно, словно это кулинарный рецепт или сводка погоды на завтра. Зато с меня пот катится градом.

– Так или иначе, – говорит Шэрон, открывая холодильник и доставая оттуда пучок толстеньких морковок, – а вам пора на работу. – Морковками она угощает лошадей, показывая Соне, что морковку надо держать на ладошке, вытянув перед собой руку, тогда лошадь аккуратно возьмет угощение, не прихватив заодно и пальцы. – Может, вы поедете, а мы с Соней тут немного делом займемся? Кстати, у вас уже есть какие-то соображения насчет того, когда это ваше волшебное средство готово будет? Мне бы очень хотелось с матерью поговорить. Ну да, конечно, это не моя мать, а Дэла, так ведь другой-то у меня теперь нет.

– Да, и мне бы тоже очень хотелось с ней поговорить. – И я рассказываю Шэрон о том, что случилось с моей мамой и с ее аневризмой.

– Ох, Джин, похоже, у нас с вами одна и та же беда, – вздыхает Шэрон и берет Соню за руку. – Не завидую я вашему положению. Ведь стоит вам это чудодейственное средство придумать, и чертов браслетик мигом к вам вернется. А если вы это свое лекарство создать не сумеете, так ваша мама по-прежнему будет чепуху молоть. Либо одно, либо другое – у клиента только один выбор, как мой папа говаривал.

– Я, наверное, смогу сделать операцию вашей маме уже где-нибудь в начале следующей недели. Скажем, во вторник?

– Вот это и впрямь было бы здорово.

Мы обмениваемся телефонами, и Шэрон спрашивает, будет ли удобно, если Дэл позвонит после этих выходных.

– Между прочим, вы уж постарайтесь никому не рассказывать о том, что я вам тут наговорила, хорошо? – говорит она. – Дэлу ведь и правда есть что терять. Он же у них связной, у групп сопротивления. И мне совсем не хочется, чтоб он в беду попал. Или еще кто.

– Значит, сопротивление все-таки существует? – Ах, как сладко звучит само это слово!

– Милая моя, сопротивление существует всегда. Вы разве в колледже не учились?

Мы бредем обратно к дому, и эта женщина, идущая рядом со мной, кажется мне все больше и больше похожей на Джеки. Я легко могу себе представить, как она идет в толпе демонстрантов с плакатом в руках или участвует в сидячей забастовке; да, может, она уже и участвовала во всем этом, пока я сидела дома, уткнув нос в книгу, а на улицу выходила вместе с Патриком исключительно для того, чтобы впихнуть в себя какой-нибудь чизбургер, и всегда круглыми от удивления глазами смотрела на очередной митинг протеста на кампусе. Я искоса смотрю на Шэрон, на ее грубые башмаки, перепачканные засохшей землей, на ее старый рваный комбинезон и чувствую грязной именно себя.

– Я заберу Соню в шесть, если это не слишком поздно, – говорю я, целуя дочку на прощанье.

– Отлично. К этому времени мы и будем вас ждать.

Я еду на прием к врачу и думаю о Дэле, о моем мистере Почтальоне, который выполняет обязанности связного для некой подпольной группы, борющейся с Движением Истинных. И мне вдруг становится весело.

Этим подпольщикам почтальон точно очень даже кстати.

Глава тридцать девятая

Итак, подтверждено официально: я беременна.

Гинеколог, занявший место доктора Клаудии, говорит, что беременность у меня примерно десять недель плюс-минус несколько дней – никогда ведь нельзя сказать наверняка, в какой именно день произошло зачатие, – и вручает мне запечатанный конверт, адресованный Патрику. В нем содержится информация о моем следующем визите к гинекологу, кое-какая литература общего характера, график моих действий на разных сроках беременности и еще некие сведения, которые я, возможно, сочту для себя полезными. Но это и все, что он может мне сообщить.

Вопросы так и кипят у меня внутри, так что слова вырываются наружу, как гейзер.

– А если возникнут осложнения? Или неожиданно начнутся боли? Где я тогда возьму столько слов, если мне понадобится описать симптомы? – Естественно, сейчас я могу думать только о том, что будет, когда на мою руку вновь вернется счетчик слов.

Но одного вопроса я вслух, разумеется, не задаю: «А что, если я не хочу этого ребенка?» Впрочем, ответ на него я знаю и так.

Доктор Мендоза терпеливо ждет, пока я закончу; глаза спокойные, уголки рта слегка опущены. Невозможно сказать, раздражает его этот мой взрыв эмоций или вызывает сочувствие.

– Миссис Макклеллан, – начинает он.

Не «доктор», не «профессор». «Миссис».

– Миссис Макклеллан, вы здоровая женщина, и у плода прослушивается сильное регулярное сердцебиение. Вы у нас попадаете в категорию продвинутого возраста материнства, это верно, и ваш возраст, вероятно, вызывал бы у меня некоторое беспокойство, если бы у вас это была первая беременность. Но она далеко не первая, так что волноваться вам совершенно ни к чему. Я уверен, что вы благополучно доносите до срока и... давайте-ка посмотрим... – и он, сделав паузу, набирает какие-то цифры на маленьком колесике калькулятора, какими до сих пор любят пользоваться врачи, хотя у них имеются компьютеры, способные легко сделать подобные вычисления, – да, благополучно родите здоровенького малыша где-то числа двадцатого декабря. Прекрасный рождественский подарок.

Но мне не нужен здоровенький малыш к двадцатому декабря. Мне вообще никакой ребенок не нужен. Тем более если это девочка.

– Мистер Макклеллан получит всю информацию. – Доктор Мендоза постукивает пальцами по запечатанному конверту. – Я посоветовал ему быть настороже на тот случай, если у вас появятся беспокоящие признаки, потеря аппетита, изменение цвета кожи, изменение веса и так далее. Разумеется, мы со своей стороны тоже будем регулярно следить, как у вас продвигаются дела. Если хотите, я могу в начале следующей недели назначить вам биопсию хориона^[33]. Тогда вы заодно узнаете и пол ребенка. – Он сверяется с графиком в своем айпаде. – Как вам, например, понедельник? Часов в двенадцать?

Я киваю. В понедельник, в среду, в следующем месяце, двадцатого декабря. Впрочем, надо бы поскорей все выяснить.

Теперь он похлопывает меня по колену. Отечески похлопывает. Или так, как похлопывают по спине собаку, которая хорошо себя ведет. Вот бы это его похлопывание вызвало у меня произвольное движение ноги вверх, тогда я с полным правом врезала бы ему носком туфли прямо в пах! И оправдание тут же нашлось бы: чисто рефлекторное движение, некий спазм.

– Хорошо. Значит, мы обо всем договорились? Еще раз поздравляю вас, миссис Макклеллан.

И доктор Мендоза выходит из кабинета, а я поспешно натягиваю белье, надеваю джинсы и блузку. Запах латекса и обеззараживающей жидкости для рук так и висит в воздухе, и это уже совершенно невыносимо. К тому же между ногами у меня мокро, потому что второпях я как следует не вытерла это дурацкое желе, или что там они используют для ультразвукового обследования. Но находиться в этом кабинете я больше не в состоянии – здесь же просто дышать нечем! Хотя теперь я вообще нигде не могу больше нормально дышать.

Домой я еду кружным путем и останавливаюсь возле продуктового, чтобы купить пачку «Кэмел». Я же могу выкурить его из своего нутра! Могу табачным дымом отравить весь его маленький уютный дворец! Могу поставить, так сказать, опыт по тератологии^[34] за закрытыми дверями собственного дома. «Дедовским» способом устроить нечто вроде аборта.

Вот только права на такой выбор, как аборт, я не имею.

И дело не только в преподобном Карле и его стае Истинных

фанатиков. Они вынуждены ограничивать право на подобный выбор по чисто прагматическим причинам. При нынешнем положении дел – а точнее, при том положении, в которое сейчас поставлены все женщины, – дочерей никто из родителей не хочет. Что естественно. Кому, если, конечно, этот человек в здравом уме, захочется выбирать цвет счетчика, который защелкнут на запястье трехмесячной крошки? Мне бы точно не захотелось.

Что ж, через три дня я узнаю, придется ли мне это делать.

Глава сороковая

К тому времени, как я приезжаю в лабораторию, Лоренцо и Лин уже погрузились в работу – сидят, склонившись головой к голове, и спорят о полученных образцах белка и о том, так ли уж необходимо добавлять примата к богатому выбору других лабораторных животных.

– Это вовсе не обязательно, – встречаю я. – Зато совершенно необходимо как следует проверить вторую установку МРТ.

Собственно, никаких причин проверять второй магнитно-резонансный томограф у меня нет; Лин давно уже все проверила. Но я-то провела возле этих приборов немало времени и много раз слышала, как испытуемые даже с заткнутыми ушами жалуются на какой-то грохот. Лежать в трубе такого томографа – это все равно что извиваться в танце непосредственно под динамиком, врубленным на полную мощность, откуда доносятся завывания гитары Эдди Ван Халена, исполняющего соло. Иными словами, шум МРТ вызывает у человека почти физическую боль.

Как только мы трое заходим в это помещение, я тут же включаю установку. Сила, примерно в шестьдесят тысяч раз превышающая естественное земное магнитное поле, сотрясает мои кости. И я, пытаюсь перекрыть шум в 125 децибел, готовый вот-вот расплющить мои барабанные перепонки, рассказываю Лоренцо и Лин о болезни матери и о содержании того письма, которое я прошлым вечером обнаружила в кабинете Патрика.

– Три команды?! – кричит Лин. – Ты уверена?

– Совершенно! – ору я в ответ. Наши голоса едва слышны, но мы вполне понимаем друг друга. – К тому же у нас практически все готово. Все данные у меня дома, и я хочу уже во вторник провести первую операцию на реальном пациенте. На миссис Рей. Или даже в понедельник, если успеем. Но в таком случае нам придется работать весь уик-энд и провести дополнительные испытания на лабораторных животных. Лин, ты сможешь ввести лекарство нескольким десяткам мышей?

– Я сразу понял, что ты свою работу закончила! – Лоренцо обнимает меня, и мне одновременно приятно и страшно. – Я видел это в твоих глазах еще тогда, в Джорджтауне.

Правильно. Но хорошо бы знать, что еще он прочел по моим глазам.

– Лин, выйди, пожалуйста, на минутку, мне нужно поговорить с Лоренцо.

Лин удивленно приподнимает бровь, но ничего не говорит. Еще мгновение – и все помещение МРТ в нашем с Лоренцо полном распоряжении.

– У меня есть для тебя кое-какие новости. Не очень хорошие, – говорю я, перекрывая жуткий грохот томографа. Я и сама не могу понять, когда и почему я вдруг решила все ему рассказать.

Лицо Лоренцо становится белым, как стены лаборатории. Не сдержавшись, он что было силы бьет кулаком по кожуху установки, и ее грохот слегка захлебывается, но тут же возобновляется с прежней силой. За этим следует поток итальянских ругательств.

– В чем дело, Джианна? Что с тобой? Чем ты больна?

– Нет, нет, я вовсе не больна. Я совершенно здорова. Ну, не то чтобы совсем, но...

Лоренцо делает мне знак и начинает проверять каждый уголок в этом помещении, осматривает каждую плитку пола, каждое вентиляционное отверстие в потолке. Целых пять минут я стою, окруженная волнами оглушительного шума, и жду, пока Лоренцо обшарит все вокруг. Наконец он, кажется, удовлетворен и подходит ко мне, а потом, запустив мне в волосы свои длинные пальцы, прижимается губами к моим губам. Его руки скользят по моему телу, гладят ямку у меня на шее, играют беззвучную мелодию у меня на спине. Я чувствую, что вся моя кожа под блузкой покрывается пупырышками, потом начинает гореть, и вот уже я сама целую его, вся участвуя в этом поцелуе – и губами, и языком, – вкладывая в него всю свою немую любовь. Нет, Патрик никогда так не целуется – только Лоренцо!

Мне хочется остаться в этом жутком помещении навсегда.

Тяжело дыша, мы разжимаем объятия. Я чувствую, как его набухший член упирается мне в живот, словно пытаюсь прощупать, что там у меня внутри, какие тайны я храню в своем темном женском чреве. Еще несколько мгновений ни один из нас не может вымолвить ни слова.

– Это мой? – спрашивает Лоренцо, чуть отступая и нежно прижимая руку к тому месту, куда только что упиралась совсем другая часть его тела. – Скажи мне, Джианна.

Я уже столько раз пересчитывала все сроки, но, в общем-то, мне вовсе не нужен ни калькулятор, ни составление графика. Я отлично помню, что десять недель назад был холодный мартовский день, и я отправилась на Восточный рынок за куском сыра, и вернулась домой, спрятав у себя внутри частичку Лоренцо после нескольких счастливых часов, проведенных в нашем маленьком убежище в Мэриленде. В нашей «крабей

норе», в норке для нашего ребенка. А с Патриком мы тогда уже довольно давно никакой любовью не занимались.

– Да, – шепчу я.

Он притягивает меня к себе. И на этот раз его объятия – сплошная нежность; никаких крайностей, никакого «прощупывания», только теплый кокон из его губ, рук и нашего смешанного дыхания. Я чувствую себя в полной безопасности здесь, в этом стерильном помещении, среди супермагнитов и непрерывного грохота, где нет никаких камер слежения и записывающих устройств, способных зафиксировать любое наше движение или звук. В течение нескольких мгновений здесь существуем только мы. И в данный момент у меня нет ни детей, ни мужа, есть только Лоренцо и его ребенок в моем чреве, и я охвачена отчаянным желанием навсегда в этом состоянии и остаться.

– Я работаю над этим, Джианна, – шепчет он мне в самое ухо. – Я усиленно над этим работаю.

Мне хочется спросить, над чем это он так усиленно работает. Может быть, это имеет какое-то отношение к той сумме денег, необходимых ему для решения некой личной проблемы, о которой он упомянул вчера? Мне хочется спросить, не придумал ли он какой-нибудь выход – для меня, для Сони, для нашего будущего ребенка. Но это означало бы, что мне придется оставить Патрика и мальчиков здесь. Возможно, лишь на время; возможно, до тех пор, пока они не смогут сами выезжать за границу, и мы с ними там встретимся. Ну, встретимся, и что? Обнимет ли меня Патрик так, как сейчас обнимает Лоренцо? Сумеем ли мы с ним вернуться к прежней жизни где-то на новом месте? Захочет ли Стивен еще хоть раз в жизни поговорить со мной?

Нет, все эти вопросы совершенно ни к чему. И никакого выхода у меня нет. И никогда мне отсюда не выбраться.

И вдруг в грохоте томографа я отчетливо слышу голос Джеки, которая повторяет одно и то же:

«Я же тебе говорила. Я же тебе говорила. Я же тебе говорила».

Глава сорок первая

И вдруг грохот МРТ стихает.

– Ладно, голубки, хватит с вас, – говорит Лин. – У нас гость. Мистер По. Хорошо еще, я вовремя глаза подняла. Этот тип двигается абсолютно бесшумно! Просто ноль звуков. Упырь проклятый!

Я так резко высвобождаюсь из объятий Лоренцо, что невольно отлетаю к стене и стукаюсь об нее спиной. В ушах у меня все еще звучит монотонный гул установки и слова Джеки. Лин, бодрая как огурчик, берет меня за руку и ведет в основное помещение лаборатории.

– Что там у вас, черт побери, такое творилось? – сердито спрашивает По. – Звук был такой, словно все распроклятое здание вот-вот на куски развалится.

– Это магнитно-резонансный томограф, – поясняет Лин. – Он и должен с таким звуком работать.

По ворчит:

– А почему он оказался включен? Ведь другие-то включены не были.

– Мы всегда включаем их по очереди, – говорю я, стараясь смотреть не на По, а в ту сторону, где находится другая установка МРТ.

А По, не говоря больше ни слова, начинает медленно обходить лабораторию, открывая ящики и шкафы. Он, как и сказала Лин, движется совершенно бесшумно, и я вдруг осознаю, что, если бы Лин случайно его не заметила, он бы застал нас с Лоренцо обнимающимися под звуки грохочущей установки, и вскоре я бы присоединилась на телевизионном «подиуме» к Джулии Кинг и слушала, как проповедует преподобный Карл, призывая сограждан блюсти мораль. Да, если бы не Лин, вполне могло бы быть уже слишком поздно: мы ни за что не услышали бы, как входит По.

Судя по выражению лица Лоренцо, ему тоже только сейчас пришла в голову подобная возможность.

– Морган хочет видеть вас у себя в кабинете, – говорит По, завершив инспектирование лаборатории и обращаясь ко мне. – Прямо сейчас.

Я оставляю Лоренцо и Лин номер телефона Шэрон Рей и прошу их предварительно договориться на утро понедельника. Если удача продолжит нам улыбаться, то за выходные мы сумеем окончательно подготовиться, и я хочу, чтобы миссис Рей оказалась здесь как можно скорее. Если я снова смогу подарить ей голос, Шэрон и Дэл, возможно, более благосклонно отнесутся к моей просьбе оказать мне одну небольшую услугу...

В лифте По всовывает в щель свою карточку и нажимает на кнопку с цифрой «5». Я впервые заметила эту щель и теперь, пожалуй, понимаю: без специального электронного ключа для нас троих доступны только те этажи, где находятся наши кабинеты и наша лаборатория. Пятый этаж. Двери лифта открываются, и По указывает вытянутой рукой:

– Сюда.

В коридоре пятого этажа пол покрыт плотным ворсистым ковром, точно это пятизвездочный отель, а не государственная научная лаборатория. Ковер, естественно, синий, и мои туфли ступают по нему абсолютно бесшумно. Я читаю на ходу фамилии на дверях кабинетов: генерал такой-то, адмирал такой-то, доктор такой-то. Имена сплошь мужские. Кое-кто из хозяев этих кабинетов изумленно поднимает голову, заметив меня в полуоткрытую дверь. А один весьма злобно хмурится.

По стучится в одну из дверей, и из-за нее доносится негромкий голос Моргана: «Входите!» Он сидит за столом и явно пытается изобразить из себя очень большого и очень занятого начальника. И мне тут же хочется ему сообщить, что на меня подобные уловки не действуют.

– Где вы были сегодня утром? – спрашивает он, не поднимая глаз от того, что якобы читает.

– У меня возникли непредвиденные семейные проблемы. Предполагалось, что одна моя соседка присмотрит за моей дочерью, пока я...

Он прерывает меня, громко хлопнув по столу толстой папкой для бумаг и положив сверху чистый лист бумаги, чтобы я никак не могла прочесть надпись на папке. Затем он снова садится поудобней и закладывает руки за голову, так что локти торчат вперед. Возможно, ему кажется, что так он выглядит более мощным и внушительным.

– Поймите, – говорит он, – именно по этой причине старый порядок не работал. Вечно находилось какое-то оправдание. То больной ребенок, то школьный спектакль, то критические дни, то необходимость в дополнительном отпуске по беременности или уходу за новорожденным. Какие-то проблемы возникали постоянно.

Я открываю рот, но не для того, чтобы что-то сказать. Просто от изумления. И рот мой открывается как бы сам собой.

Но Морган еще далеко не закончил. Размахивая в воздухе какой-то ручкой, он продолжает вещать:

– Вы, Джин, должны наконец вбить себе в голову, что на вас, женщин, никогда нельзя положиться. Система не будет нормально работать при тех условиях, какие существовали раньше. Возьмем 50-е годы. Все было

прекрасно. Каждый имел хороший дом, машину в гараже и достаточно еды на столе. И все колесики очень даже неплохо крутились! Женщины не нужны нам в качестве рабочей силы. Вы и сами это поймете, когда преодолеете этот ваш нелепый гнев. Поймете, что наше общество стремится к лучшему будущему. Лучшему – для ваших детей. – Он перестает писать ручкой в воздухе и кладет ее на стол. – Так что давайте не будем на сей счет спорить. Будьте хорошей девочкой и отныне являйтесь на работу ровно в девять часов, а я не стану докладывать шефу о вашем сегодняшнем опоздании.

– В пятницу у меня выходной, – говорю я. – Это записано в моем контракте. – Я изо всех сил стараюсь говорить спокойно и прячу дрожащие руки.

– Что ж, я внес изменения в ваш контракт, – говорит он, барабаня пальцами по той толстой папке, что прячется за его компьютером. Между прочим, он так и не предложил мне сесть. – Причем еще до того, как вы его подписали. Кстати, мы передвинули крайний срок завершения работ на третью неделю июня.

– Почему?

Теперь он меняет тон: теперь это учитель, что-то внушающий непонятливому малышу.

– Джин, Джин, Джин. Вам об этом знать вовсе не обязательно.

– Хорошо, Морган. Как вам будет угодно. Но, между прочим, нам придется работать и в эти выходные, а в понедельник или во вторник мы собираемся впервые ввести свою сыворотку реальному пациенту. – И я, не выдержав, сажусь на стул напротив него.

Он, похоже, потрясен моим сообщением.

– Вы удивлены?

– Ну, да. Я не предполагал...

– Чего вы не предполагали, Морган? Что Лоренцо, Лин и я действительно на что-то способны? Что мы смогли выполнить эту работу? Ну, говорите же. Ведь вы тоже работали в нашем отделе. И должны были бы прекрасно понимать, что Лин – настоящая звезда. – Я сдерживаюсь, хотя мне очень хочется сказать: *Хотя, если вы зайдете в ее кабинет, вам, возможно, придется опустить лабораторный табурет ниже, а то вы просто до пола ногами не достанете.* Ни к чему дразнить его и сбивать с толку, когда мне от него еще что-то может понадобиться.

Он изучает меня своими глазками-бусинками, яркими и живыми, как у терьера. Нет. Не как у терьера. Все-таки терьеры – умные маленькие собаки.

– Но, Джин, это же просто великолепно! Просто великолепно! – И он встает, давая понять, что аудиенция окончена. – Я же знал, что мы сумеем это сделать.

Я его не поправляю – насчет этого «мы». Зато я успешно роняю свою сумочку и наклоняюсь, чтобы ее поднять, благодаря чему оказываюсь в состоянии прочесть надпись на корешке той папки, которую Морган столь поспешно спрятал за листом бумаги. Надпись перевернута вверх ногами, но два слова видны совершенно отчетливо.

Синими печатными буквами на белом фоне написано: **ПРОЕКТ
ВЕРНИКЕ.**

Глава сорок вторая

По, который, похоже, обязан следить за всеми, от офицера, отвечающего за внешнюю безопасность, до бэбиситтеров и простых охранников, ждет за дверями кабинета Моргана, чтобы снова отвести меня в нашу лабораторию. Я послушно следую за ним по застланному синим ковром коридору, где на дверях кабинетов таблички с именами генералов, адмиралов и докторов наук. Войдя в кабину лифта, он снова использует свою электронную карту-ключ.

Должно быть, это единственный способ проникнуть на пятый этаж или покинуть его. Во всяком случае, мне, чтобы попасть в *свою* лабораторию на *своем* этаже, пользоваться картой не нужно. А сюда я в любом случае попасть не сумею. Думаю, что это именно так. Они же хотят точно знать, кто именно и когда покидает отведенное ему помещение.

А если захотят, то смогут любому помешать оттуда выйти.

Спускаясь в лифте, я думаю о той папке, которую видела у Моргана на столе. Интересно, что в ней? Хотя, например, для того, чтобы вместить все наши общие документы – мои, Лоренцо и Лин, – потребовалось бы несколько таких папок. Ведь в их количество входят справочные и статистические материалы, проекты экспериментов, заявления на гранты, отчеты о проделанной работе, да мало ли что еще – вся академическая кухня плюс раковина. А еще общеинститутские документы – отчеты об открытиях и неудачах, подписанные пациентами согласия на экспериментальное лечение и тому подобное. Все это мы тщательно собирали и хранили, чтобы наверняка обезопасить университет от любых скандальных разбирательств вроде «сифилитического скандала» в Таскиджи^[35], где опыты ставились над ничего не подозревавшими заключенными. В общем, все это могло бы заполнить целый шкаф, а не несколько папок.

Так что среди наших документов никак не могло быть одной-единственной папки с наклейкой «Проект Вернике»; там должна была бы быть добрая сотня таких папок, вмещающих годы исследований.

Но у Моргана была только одна папка, и никакого порядкового номера на ней не было, так что, скорее всего, эта папка единственная.

Кроме того, я заметила, что пружина скоросшивателя сломана, значит, этой папкой пользуются достаточно часто.

Я обдумываю все это, пока лифт неторопливо спускается вниз. Мистер По безмолвно высится слева от меня и, по-моему, даже не дышит – столь мало звуков от него исходит.

Во-первых, в лаборатории совершенно точно работают три различные команды: Белая, Золотая и Красная. Это я выяснила вчера вечером, сунув нос в секретное письмо, адресованное Патрику. Кроме того, теперь мне понятна оговорка По насчет каких-то других установок МРТ: это означает, что на других установках работают другие команды в других лабораториях. А другие лаборатории – это другие проекты.

Во-вторых, наше оборудование явно установили не три дня назад. Это совершенно невозможно. Ниоим образом. Во всяком случае, оба МР-томографа – сколь бы велики они ни были и как бы сложна ни была их установка, – появились здесь не вчера и используются, по крайней мере, несколько месяцев.

В-третьих, у той папки на столе Моргана корешок был сломан явно от слишком частого открывания-закрывания.

Я ловлю собственное отражение в полированных стальных стенах кабины лифта, и до меня доходит, что я, по всей видимости, все это время разговаривала сама с собой, причем вслух. По – он тоже отражается в стенке лифта и от этого почему-то кажется мне меньше ростом, – еле заметно улыбается. Точнее, на лице у него присутствует некий призрачный улыбки, и мне в голову сразу приходит мысль о том, какие острые зубы, должно быть, за этой улыбкой таятся. Настолько острые, что я и пикнуть не успею, как окажусь разорвана на куски.

– Приехали.

Я вздрагиваю от звука его голоса, который холодным негромким эхом отдается от внутренних стенок кабины. Я мысленно *приказываю* дверям отвориться, и после нескольких нескончаемо долгих секунд они действительно отворяются, и мы выходим в тот коридор с желтовато-белыми стенами, где находится наша лаборатория. Свой электронный ключ я так и не успела вытащить из сумки, поскольку он оказался на самом дне под всякой дребеденью вроде помады, кошелька и прочего, на что в первую очередь натыкаются мои пальцы.

«Лоренцо, – думаю я, – мне нужно найти Лоренцо».

Разумеется, я тут же проваливаюсь каблуком в щель между кабиной лифта и полом – до чего все-таки они дурацкие, эти высокие тонкие каблуки! Джеки всегда утверждала, что они вредны не меньше старинного китайского обычая бинтовать девочкам ноги. «Треклятые каблуки! И создал же их какой-то осёл – мужчина, разумеется! – заставив женщин

страдать при ходьбе и всегда отставать шага на два от своего спутника!» – рассуждала Джеки, сидя на диване и помахивая в воздухе ногой, обутой в «ужасно удобную» сандалию. Впрочем сейчас я никуда не иду и ни от кого не отстаю; я весьма некрасиво шлепнулась мордой вниз, и одна половина моего тела так и осталась внутри лифта, а вторая распростерта на плиточном полу коридора. Это куда хуже.

Лежа на полу и касаясь его щекой, я вижу в пяти шагах от меня запертую дверь нашей лаборатории и с трудом пытаюсь подняться. Чья-то холодная рука, тяжелая, как крюк для свиных туш в мясной лавке, сжимает мне плечо и тянет вверх.

– Ничего, со мной все в порядке, я сейчас встану, – хрипло бормочу я. А может, мне только кажется, что я что-то бормочу.

– Осторожней, доктор Макклеллан, – произносит голос, который может принадлежать только этому крюку для свиных туш.

И я наконец понимаю, что стою на ногах. Вытащив свою электронную карточку и зажав ее в руке, я чуть ли не бегом бросаюсь к двери, ведущей в лабораторию, и слышу шаги у себя за спиной. Значит, мистер По все-таки не всегда ступает абсолютно беззвучно. Я вставляю карту в щель, но ничего не происходит.

За спиной у меня раздается смех, тихий такой смешок, от которого я прямо-таки подпрыгиваю на месте и, разумеется, тут же роняю карту.

И снова эта рука, принадлежащая крюку для свиных туш, впивается мне в плечо длинными пальцами и поворачивает меня вокруг собственной оси.

– С тобой все в порядке, Джианна?

Я поднимаю голову и падаю Лоренцо на грудь. Коридор у него за спиной пуст. По исчез.

Глава сорок третья

Мы больше не можем рисковать, без какой-либо конкретной цели включая МРТ, так что, когда я говорю, что нам необходимо срочно кое-что обсудить, Лин и Лоренцо предлагают другой план.

– Ты заболела, – говорит Лин, когда мы приближаемся к посту охраны, – а мы провожаем тебя до твоей машины.

Она идет справа, якобы поддерживая меня, а Лоренцо и вовсе обнимает меня за талию. Наши сумки и портфели в очередной раз подвергаются тщательному осмотру, и человек в форме – армейской, как мне кажется, но, возможно, и морской, – ощупывает нас по одному.

– Эти чистые! – рявкает он, и другой охранник у дверей переключает свет с красного на зеленый. – Приятных вам выходных, – как ни в чем не бывало желает нам этот тип, словно только что минут пять не обшаривал нас с головы до ног, словно мы находимся не в этой тюрьме, а в любом другом, нормальном, офисе Вашингтона.

Двери раздвигаются и выпускают нас на свет божий, когда майское солнце уже клонится к западу. Лоренцо по-прежнему обнимает меня за талию, еще крепче прижимая к себе и сам прижимаясь ко мне бедром. Вполне возможно, кое-кто наблюдает за нами из окон пятого этажа, и я на всякий случай останавливаюсь и сгибаюсь пополам – якобы страдая от боли, – а затем некоторое время стою, упершись руками в колени, словно пытаюсь перевести дух. Особого актерского мастерства для этого не требуется.

– Все три проекта имеют свой особый цвет, – говорю я, стоя все в той же идиотской позе и старательно глядя на асфальт. – Красный, Золотой и Белый. Последним занимаемся мы. Потому мы и называемся «Белая команда».

– Это тебе Морган сказал? – спрашивает Лоренцо.

– Ну, конечно! – ехидно отвечаю я. – Морган всего лишь имел намерение прочесть мне лекцию о том, как идеален был тот мир, когда женщины сидели дома. Нет. Морган ни словом об этих проектах не обмолвился, но у него на столе была такая толстая папка, которую он все старался от меня спрятать. Разумеется, у него ничего не получилось. Все-таки Морган еще раза в два глупее, чем выглядит.

– Ты можешь спросить об этих командах у Патрика? – говорит Лин, присев возле меня на корточки и повернувшись спиной к зданию. – Нет, не

обращай внимания... Ну, а еще раз пробраться к нему в кабинет и снова попытаться прочесть это письмо сможешь? Только повнимательней.

– Может, и удастся. В последнее время Патрик стал многовато пить, да к тому же сегодня пятница. Так что ближе к ночи я, возможно, и сумею туда проникнуть. – Я обещаю это, сама толком не понимая, откуда у меня берутся такие слова. И откуда у меня в голове вообще какие-то полушпионские, совершенно не свойственные мне, мысли? Вот Джеки, например, вполне могла бы специально напоить мужа, чтобы затем беспрепятственно забраться к нему в кабинет и обшарить ящики письменного стола. Но только не я, Джин Макклеллан. За все семнадцать лет брака мне ни разу даже в голову не пришло шарить в бумагах Патрика, ни в личных, ни в деловых, в поисках свидетельств того, что у него есть любовница или хотя бы подружка на одну ночь. Однажды я никак я не могла найти свой ежедневник, и мне показалось, что я, наверное, оставила его у Патрика в машине. Однако даже при таких обстоятельствах и держа в руках ключ от машины я, открыв дверцу с водительской стороны, тут же почувствовала себя преступником, тайно перешедшим границу.

– У нас с тобой нет секретов друг от друга, детка, – сказал Патрик, когда я сообщила ему насчет пропавшего ежедневника. – Нет и никогда не было. И, я надеюсь, не будет. И мне совершенно все равно, станешь ли ты рыться в бардачке моей машины. Ищи, где считаешь нужным. Впрочем, в бардачке ты, возможно, наткнешься на грязный носовой платок, так что на всякий случай осторожней. Вошки, знаешь ли. – И он легко пробежал пальцами по моей руке сверху вниз. – Берегись ирландских вошек!

И, разумеется, именно у меня первой возникли от него какие-то секреты. Точнее, один секрет. Итальянский. Ростом в шесть футов.

Нет, неправда. Теперь секретов уже два. Один пока что маленький, размером с небольшой апельсин.

– Я, пожалуй, лучше уже поеду, – говорю я, выпрямляясь. Поездка на крошечную ферму Шэрон Рей при таком трафике займет, пожалуй, не меньше часа, а я хочу еще успеть до ужина заглянуть к Кингам и проверить, как там Оливия, а затем позвонить в больницу, где находится моя мать, а еще мне нужно – *не забудь об этом, Джин!* – напоить мужа, чтобы спокойно пробраться к нему в кабинет и выкрасть секретные документы. Для одного пятничного вечера планы прямо-таки грандиозные.

Лоренцо помогает мне сесть в «Хонду» – не то чтобы мне нужна была помощь, но так мне легче продолжать притворяться. А еще теперь он может сказать мне несколько слов, чтобы их не услышала Лин.

– Ты ему сказала? – спрашивает он.

– Нет.

– А собираешься?

– Он же медик, доктор наук. Он сразу поймет, что просто никак не может быть отцом этого ребенка.

Лицо Лоренцо искажается, превращаясь в один вопросительный знак, и я поспешно поясняю:

– Мы не занимались этим... мы вообще уже довольно давно как-то не слишком активны в этом отношении.

Он вздыхает с явным облегчением, на губах появляется улыбка.

– Понятно. Так что никаких сомнений нет?

– Абсолютно никаких. – Я уже чувствую небольшое вздутие в самом низу живота, да и пояс юбки теперь куда сильнее давит мне на талию, чем две недели назад. Рано или поздно – скорее, видимо, рано, – выбора у меня не будет, и придется все рассказать Патрику.

Он, конечно, не станет стучать на меня, как выражается Стивен, и из дома меня не выгонит, даже если ему этого очень захочется. В этом я уверена. Но даже и тогда подобное известие обрушится на наших детей с силой грузового поезда. И этот «поезд» появится неожиданно, вторгнется в их жизнь, когда Соня будет смотреть мультфильмы, или во время футбольного матча, или в перерыве между новостями Си-эн-эн. И тогда пребывание в школе станет для них ежедневным путешествием в ад. Патрик наверняка это поймет и, скорее всего, будет хранить молчание.

Но знание об этом – о, вечное проклятое ЭТО! – всегда будет висеть над нами подобно грозовой туче. Нет, не так. Не будет оно висеть. Оно будет ползти, ковылять, бродить где-то рядом, смеяться и служить *живым* напоминанием о том, как однажды холодным мартовским днем я самозабвенно трахалась с Лоренцо. И протрахала всю свою жизнь.

– Помнишь, я говорил, что работаю еще над одним вопросом? Так вот, возможно, к понедельнику я уже буду кое-что знать. – Лоренцо вдруг снова вытаскивает меня из машины на парковку и быстро шепчет: – Продержись до тех пор, хорошо?

– В чем дело?

Лоренцо тут же распрямляется, незаметно выпустив мою руку.

– В чем дело? – вновь слышу я чей-то голос. – Объясните мне, вы двое, что здесь происходит?

Мистер По стоит прямо перед моей «Хондой», скрестив руки на массивной груди; глаза его почти полностью скрыты за темными очками-«авиаторами». Я ненавижу Моргана, но По – единственный человек, которого я боюсь до смерти. Да, я безумно боюсь этого великана,

умеющего двигаться абсолютно бесшумно.

Я все же ухитряюсь улыбнуться ему, поспешно включаю заднюю скорость и выбираюсь с парковки, стараясь ни в коем случае не встретиться взглядом с По.

Глава сорок четвертая

«Никогда не возите маленьких детей в гости на ферму», – думаю я, везя Соню домой. Они непременно захотят остаться там навсегда.

Всего два дня назад Соня освободилась от счетчика слов, но к ней уже вернулась привычка болтать без умолку – о кобыле по кличке Аристотель, «на самом деле она девочка, но с мальчиковым именем», о том, что коричневые курочки несут коричневые яички, а белые курочки – обыкновенные, то есть белые. Она с трудом способна дождаться завтрашнего дня, когда ее снова туда отвезут, так, может, думаю я, ее и на ночь в семействе Рей оставить?

Нет уж, лучше пусть она пока побудет дома. Если в понедельник экспериментальная операция у Делайлы Рей пройдет удачно, у меня, возможно, останется не больше недели на то, чтобы свободно разговаривать с дочерью.

Я планирую непременно спросить у Дэла, не сможет ли он и нам оказать ту же услугу, какую оказал своей жене и дочерям – то есть снять наши наручные счетчики и заменить их фальшивкой. Пока что я на это так и не решилась. Пока нет. Ибо какой-то тихий голос все время нашептывает мне: помни о Стивене. Его буквально опоили тем напитком, который Истинные щедро подсластили своими идеями и обещаниями. Да и близнецы вполне могут сболтнуть что-нибудь в школе и выдать нашу с Соней тайну. Нет, такими вещами рисковать нельзя.

По мере того как мы приближаемся к городу, приятный сельский пейзаж, естественно, меняется, и дома в пригородах все больше кажутся мне похожими на маленькие тюрьмы с относительно удобными камерами, где есть кухня, спальня и чулан для стирки. Мне снова вспоминаются суховатые рассуждения Моргана о том, насколько лучше все было устроено в те давние времена, когда мужчины работали, а женщины занимались исключительно домом и семьей – готовили, убрали, стирали и рожали детей.

Вряд ли я по-настоящему была способна поверить, что с нами может случиться такое. Вряд ли вообще хоть кто-то из нас мог в нечто подобное поверить.

Хотя после выборов мы уже начали понемногу в это верить. И, кстати, именно тогда кое-кто из нас впервые стал выражать свои мысли вслух. Собственно, именно женщины в первую очередь и возглавили кампанию

против Майерса – и это были такие же женщины, как я, которым раньше даже в голову не приходило примерить кроссовки для пеших маршей, а теперь они десятками загружались в автобусы и в вагоны метро и часами мерзли на зимнем вашингтонском ветру. Были среди участников подобных демонстраций и мужчины, это я, конечно же, помню. Например, Барри и Кейт, один из них был старше другого на тридцать лет и на столько же дольше вел борьбу за права геев; оба как-то всю субботу рисовали на стенах своего дома, который был в двух шагах от нашего, соответствующие лозунги и рисунки; или пятеро ребят-аспирантов с моей кафедры, которые сразу заявили, что поддерживают нас. И действительно поддерживали – какое-то время.

Трудно точно сказать, против чего – или кого – мы тогда протестовали. Выбор Сэма Майерса в качестве главы исполнительной власти был поистине чудовищным. Он был молод, неопытен и абсолютно несведущ в большой политике, да и его военная подготовка в мужском студенческом подразделении ROTC, которую он прошел, еще учась в колледже, оставляла желать лучшего. Собственно, и президентскую гонку Майерс вел, опираясь на два костыля: во-первых, практическими советами ему помогал его старший брат Бобби, карьерный сенатор, и легко догадаться, что таких советов Сэм Майерс получил от него чертову пропасть; а вторым костылем служил, разумеется, преподобный Карл, который и обеспечил нынешнему президенту нужное количество голосов. Уже тогда многие повсюду прислушивались к Карлу Корбину. И только жена Сэма, Анна Майерс, хорошенькая и пользовавшаяся популярностью, никак на выборную кампанию не влияла, зато эта кампания в итоге оказала сильнейшее влияние на нее и нанесла ей огромный вред.

Нашей единственной реальной надеждой был тогда Верховный суд. Но при одном пустом месте на скамье, уже успевшей наклониться вправо, и двух грядущих отправок на пенсию, которые буквально висели в воздухе, особо надеяться на членов ВС тоже смысла не имело. Даже теперь, как мне говорили, нужны месяцы, чтобы горстка неких ограничительных указов смогла бы пробиться сквозь лабиринт новой политической системы. Если, конечно, ей вообще это удастся.

Две зимы назад Патрик терпеливо сносил мои регулярные отлучки из дома, сам подогревал суп и второе к обеду, а по выходным вообще брал всю заботу о детях на себя, пока я где-то маршировала, кому-то звонила по телефону и вообще протестовала. И ему, похоже, не требовалось от меня никаких объяснений или извинений, в отличие, скажем, от Эвана Кинга, нашего соседа, который коршуном набросился бы на Оливию, если б та

вдруг решила стать образцовой бунтаркой. Мы с Патриком без лишних слов понимали, что само направление наших жизней – особенно моей – искривится и зайдет в тупик, если я так и буду молчать.

Но подобная терпимость отнюдь не была свойственна тем ответственным лицам – мужчинам, разумеется, – под началом которых работал Патрик.

В их среде тоже вовсю слышались глухие раскаты грома, но куда более громкие, чем наши протесты.

Однажды весной – и я могу с точностью указать в календаре этот день (весь первый год после введения в обиход счетчиков слов я часто отмечала в календаре некие особые дни), – когда наши магнолии были еще только беременны своими чудесными белыми цветами-звездами, Патрик пораньше отправил детей спать, а меня вывел в сад и, остановившись под густой кроной дерева, прижал к себе и прошептал прямо в ухо:

– Я кое-что слышал у нас в офисе. Правительство всерьез обсуждает способы заставить вас замолчать.

– Кого это «вас»? Меня?

– Всех вас. Так что сделай мне одолжение, пропусти ваш намеченный на следующую неделю марш к Капитолию. Пусть другие идут, если хотят, а ты задержись, пожалуйста, у себя в лаборатории под любым предлогом, Джин. Работа, которой ты занимаешься, слишком важна, чтобы...

Сердито шлепнув ладонью по стволу дерева, я заставила его замолкнуть.

– И каковы же в действительности их планы? Насильственная ларингэктомия? Или нам попросту языки отрежут, как средневековым преступникам? Ты сам подумай, Патрик, ты же ученый! Разве можно заткнуть рот половине населения страны? Этого не сможет даже тот ублюдок, советником которого ты сейчас являешься!

– Послушай меня, Джин. Мне известно гораздо больше, чем тебе. И я очень тебя прошу: останься на этот раз дома, с нами. – В этот момент верховой ветер разогнал облака, и я увидела, как во влажных, умоляющих глазах Патрика отражается полная луна.

Я не пошла на марш в те выходные. И во все прочие дни тоже не пошла.

Впрочем, уже на следующий день после нашего разговора с Патриком я рассказала своей приятельнице, гинекологу Клаудии, о планах правительства. Я рассказала об этом и Лин, и женщинам из моего книжного клуба, и моему инструктору по йоге – в общем, всем своим знакомым. Но чем больше я об этом рассказывала, тем явственнее мои слова

представлялись чем-то преждевременным, даже невозможным, словно взятые из сценария очередного убогого научно-фантастического фильма. «Ну, просто сплошной мрак и обреченность, – заявила доктор Клаудия. – Такого в нашей стране никогда не случится».

Лин эхом вторила ей, когда мы, сидя у нее в кабинете, обсуждали эту тему:

– Это же чистая экономика! Ты только представь, можно ли разрубить занятое население страны пополам? Просто так, взять и, – она прищелкнула пальцами, – разрубить. За одну ночь.

– Может, нам лучше отсюда уехать? – неуверенно предположила я. – В Европе все-таки лучше. Паспорт у меня есть, а для Патрика и детей паспорта заказать ничего не стоит. Мы могли бы...

Лин не дала мне договорить:

– И что ты собираешься делать в Европе?

Я не знала, что ей ответить.

– Ну, мы что-нибудь придумаем...

– Послушай, Джин, – сказала Лин, – я ненавижу и этого ублюдка, и всех их, вместе взятых, а преподобный Карл – и вовсе просто дурак, посмешище. Ты оглядись повнимательней. Неужели ты видишь в этом огромном городе хоть кого-то, кто действительно верит в ту херню, которую проповедует Карл Корбин?

– Да, такие есть! Например, мой сосед.

Лин наклонилась над столом, грозя поднятым вверх пальцем.

– Это же типичное исключение из правил, Джин! Таких, как он, единицы! Ты достаточно хорошо представляешь себе, что такое статистика, чтобы строить доказательство на одном-единственном примере.

Она была и права, и не права. Моя соседка Оливия, по-моему, вообще всегда сторонилась политики – но человеком, далеким от политики, она казалась только в Вашингтоне. И вот чего, кстати, Лин совсем не учитывала – да и никто из нас тогда этого не учитывал! – что этот город существует обособленно, он как бы заключен в свой собственный отдельный пузырь, и жизнь в нем сильно отличается от жизни во всех прочих местах, где полно таких вот, как Оливия, сторонящихся политики людей, в том числе и бородатых мужчин в дешевых парусиновых штанах, которые объединяются в христианские коммуны, уже успевшие разрастись повсюду, как сорняки. Помнится, даже документальный фильм был снят об одном из таких мест; он назывался то ли «Glorytown», то ли «Gloryville», как-то так, и в этом фильме все женщины носили хорошенькие скромные синие платица с воротничком-стойкой, следовали специальной диете и

сами доили коров. Режиссер фильма во время интервью назвал такую жизнь «прелестной».

Собственно, Джеки первой придумала это сравнение с пузырем; она и меня упрекала в том, что я существую, погрузившись в свои исследования, как в безопасный маленький пузырь; это уже после за ее упреками последовал тот подарок на день рождения – тот проклятый набор предметов, которые легко превращались в пузыри: жвачка, воздушные шарики, игристое вино... А ведь она еще тогда просила меня – теперь кажется, что это было миллион лет назад, – хорошенько подумать, на что я способна пойти, чтобы остаться свободной.

А на что я способна пойти?

Я знаю, что Лоренцо к чему-то готовится. И это «что-то» стоит немалых денег; во всяком случае, больше, чем он сумел бы скопить в качестве приглашенного профессора. Я не осмеливаюсь даже мечтать о таких вещах, как билет на выезд из страны, или краденый поддельный паспорт, или еще что-то в этом роде. И все же я думаю именно об этом, проезжая по нашей улице мимо старого дома Энни Уилсон, где теперь живут одинокий мужчина и одинокий мальчик, а Энни по многу часов в сутки трудится где-то в диком краю.

Экстраординарные обстоятельства требуют экстраординарных действий.

– Мамочка, посмотри! – пищит Соня. – Там снова огни!

Теперь мы поравнялись с домом Кингов, и на этот раз стоящая возле него машина была действительно «скорой помощью».

Глава сорок пятая

Джулия Кинг стала, конечно, далеко не первой жертвой полиции нравственности, возглавляемой преподобным Карлом, и Оливия Кинг была далеко не первой матерью, вынужденной смотреть, как ее дочь среди ночи с позором выводят из дома и увозят прочь, а уже на следующий день ее, полностью преобразенную, демонстрируют на экране телевизора.

Не была Оливия и первой женщиной, пытавшейся найти для себя некий собственный выход из подобной ситуации.

Я не раз видела таких в «Сейфуэй»; это были самые обычные, регулярно посещающие этот магазин покупательницы, которые вдруг исчезали на некоторое время, но где-то через недельку вновь возвращались, но казались теперь какими-то странно сонными, будто одурманенными, а из-под длинных рукавов платья у них выглядывали забинтованные запястья, и это было особенно хорошо видно, когда они старались достать с верхней полки стеллажа какую-нибудь особо приглянувшуюся банку зеленого горошка или куриного супа.

Но, разумеется, случались и похороны, и далеко не всегда хоронили старых мужчин и женщин, умерших естественной смертью.

Утром, когда мы с Соней уезжали, автомобиль Эвана по-прежнему стоял на подъездной дорожке. Значит, догадалась я, он остался дома, чтобы позаботиться о своей жене и как-то ее утешить – хотя, в общем, мне всегда казалось, что утешить кого-то Эван попросту не способен. Возможно, впрочем, что он всего лишь решил не оставлять Оливию одну, поскольку в доме по-прежнему витала опасность самоубийства, и надеялся лишь на то, чтобы врачи до такой степени накачали Оливию успокоительным, чтобы у нее даже попытки подобной возникнуть не могло.

Я паркуюсь и мгновенно отсылаю Соню в дом, поскольку на переднем крыльце дома Кингов как раз появляются люди, которые несут накрытые простыней носилки.

– Ступай быстренько в гостиную, – говорю я Соне, – включай телевизор и посмотри вместе с братишками какой-нибудь мультик, хорошо?

– Почему?

Почему? *Да потому что на этих носилках лежит тело Оливии Кинг!*

– Потому что я так сказала, детка. А теперь беги в дом.

Да, на этих носилках действительно лежит Оливия Кинг, но лицо ее не прикрыто простыней и выглядит абсолютно спокойным. Куда страшнее

выглядит ее левая рука, которая бессильно свисает, выглядывая из-под белой простыни.

Точнее, то, что осталось от ее левой руки.

Вместо пальцев там пять черных обгоревших пеньков, от которых некрозы, точно черные щупальца, ползут вверх по ладони до запястья, ставшего совсем тоненьким, не толще, чем у младенца. Наверное, даже первый детский браслет Сони свободно болтался бы сейчас на этом запястье, постукивая по обнаженной – *обугленной* – кости. В воздухе отчетливо чувствуется странный кисловатый запах, а из дверей дома Кингов выползают ленты ядовитого дыма.

О боже...

Сетчатая дверь нашего дома резко хлопает, и выбежавший оттуда Патрик успевает вовремя подхватить меня, когда ноги подо мной подкашиваются и я почти теряю сознание.

– Ничего, ничего, Джин, ты, главное, не смотри туда. Не смотри на это, не надо.

Это. Все время это.

Втащив меня в дом, Патрик наливает мне выпить и сообщает, что дети смотрят видео.

– Сегодня телевизор лучше не включать. Во всяком случае, после такого... – И, помолчав, он обещает: – Я тебе потом все расскажу. А ты пока выпей.

– Что с ней случилось? – Я слышу, до чего пискляво звучит мой голос, вот-вот сорвется, и поспешно делаю большой глоток скотча. Виски обжигает мне горло.

Патрик тоже наливает себе виски – днем он обычно пьет только пиво – и устраивается за кухонной стойкой.

– Эван говорит, что подумал буквально обо всем. Запер все ножи и вообще все острые предметы. Унес прочь все, что можно было бы использовать в качестве веревки. Он даже электричество отключил.

– Весьма предусмотрительно, – киваю я и думаю: «И все же кое о чем он совершенно позабыл».

– После обеда Оливия сказала, что хочет немного полежать. И он на всякий случай еще раз осмотрел постель и унес из спальни все, что она могла бы использовать... *для этих целей*. О господи, Джин! Я не могу говорить об этом! – Хорошенько глотнув виски, он все же продолжает: – В общем, так: у Оливии есть такое маленькое записывающее устройство, точнее, что-то вроде диктофона. Возможно, он у нее сохранился еще с той поры, когда она работала секретаршей. Не знаю уж, как там было на самом

деле, но Эван говорит, что услышал, как она что-то говорит, и пошел проверить, но оказалось, что сказала она не так уж много, всего несколько слов о Джулии. В целом где-то слов двадцать. А потом притихла, и Эван решил, что она уснула. Ты ведь не хочешь слушать дальше, Джин? Ей-богу, ты этого не хочешь!

– Я *должна* это услышать.

Патрик делает еще один добрый глоток прямо из бутылки и, зарядившись алкогольным мужеством, продолжает:

– Эван пошел в гараж – взять какие-то коробки... не знаю... ну, может, хотел ножи упаковать или еще что, он толком не объяснил. Он считает, что в доме его не было максимум минут десять, когда он заметил, что из окна их спальни валит дым. Окно было лишь чуть-чуть приоткрыто, хотя на улице совсем тепло. Наверное, хотели, чтобы свежий воздух все-таки в дом проникал. Ну, не знаю я, Джин! – Голос Патрика начинает дрожать.

– Все нормально, продолжай, – говорю я и ласково прижимаю ладонью его руку.

Он снова делает большой глоток из бутылки.

– Она поставила свой диктофон на повтор, представляешь? Записала слов двадцать и сделала из них «петлю», чтобы они автоматически повторялись снова и снова. А затем хорошенько спрятала диктофон, чтобы его не сразу нашли, и нажала на «проиграть». И он *ее голосом* повторял одни и те же слова снова и снова... «Мне так жаль, прости меня, Джулия...» А этот проклятый металлический монстр у нее на запястье, слыша ее голос, наносил ей один ожог за другим, въедаясь в ее плоть, пожирая ее, пока... пока...

Я быстро сунула под кран с холодной водой кухонное полотенце, завернула в него несколько кубиков льда и приложила этот ледяной компресс к затылку и шее Патрика.

– Ш-ш-ш. Посиди минутку спокойно.

– Когда мы успели докатиться до такого, Джин? Мы пытаемся сделать все, что в наших силах... Но когда, когда, черт побери, мы все-таки успели докатиться до такого?

Мы.

Из гостиной доносится стон – нет, даже не стон, а низкое, глухое, какое-то звериное рыдание. Я оставляю Патрика на кухне – пусть посидит с холодным компрессом на затылке, – быстро прохожу через столовую и, вытянув шею, выглядываю из-за угла.

В гостиной у окна стоит Стивен и смотрит, как «скорая помощь» задом выезжает с подъездной дорожки Кингов, включает сирену и быстро

удаляется. Плечи моего сына так и ходят, сотрясаемые нервной дрожью.

– С ней все будет в порядке, она поправится, – говорю я, подходя к нему ближе, но все же держась на некотором расстоянии.

– Ничего и никогда уже не будет в порядке! – в отчаянии кричит Стивен.

Сейчас, пожалуй, не самый подходящий момент говорить ему, что уже поздно, что пора ложиться спать, так что я стою и молчу.

– Ты же понятия не имеешь, мам... Ты просто не имеешь понятия, что они сегодня о ней говорили!

Ага. Им в школе показывали ту передачу с Джулией и преподобным Карлом, и Стивен все это видел.

– О Джулии? – стараюсь говорить спокойно, спрашиваю я.

Стивен резко оборачивается; лицо его искажено от ужаса, он страшно бледен и выглядит измученным, глаза припухли. Из носа у него течет, и он вытирает сопли рукавом.

– А о ком же еще?

И вдруг вечно всем недовольный семнадцатилетний оболтус исчезает, и Стивену снова пять лет, и он, хлюпая носом и заливаясь слезами, рассказывает мне об оцарапанной коленке, ободранных и перепачканных ладошках и о том, как он, катаясь на велосипеде по дороге, резко затормозил и упал...

– Хочешь мне рассказать? – предлагаю я.

– Знаешь, на этот раз ребята смотрели шоу совсем не так, как тогда, когда показывали ту женщину с нашей улицы. Помнишь ее? Миссис Уилсон? Тогда они все просто зевали от скуки. – Он снова хлюпнул носом и опять вытер сопли рукавом. – Может, потому, что она уже довольно старая была, а может, просто они ее совсем не знали... Но Джулию-то все знали прекрасно. Мы же все вместе учились до тех пор, пока... пока все это не переменялось.

– Это, – эхом повторяю я.

– И как только она появилась на экране, мистер Густавсон заявил, что подобных девиц мы все должны остерегаться, потому что у каждой из них внутри сидит дьявол, который и потащит нас за собой... Вроде как в ад.

– Господи, Стивен.

Теперь он изо всех сил старается держать себя в руках и делает глубокие вдохи, пытаясь успокоиться, а говорит нарочито медленно, ровным тоном.

– А знаешь, что он еще сказал?

Вряд ли мне хочется это знать.

– Нет. И что же?

– Он сказал, что вообще-то никогда не следует называть людей грязными словами, типа «шлюха», «мразь» или «проститутка», но пояснил, что *некоторые* заслуживают, чтобы их называли именно так. Например, такие особы, как Джулия. А потом он заставлял нас выкрикивать эти гнусные слова, и мы выкрикивали их все то время, пока она была на экране. А она выглядела такой маленькой, мам! И такой беспомощной. И ей срезали все волосы. Совершенно. Знаешь, как матросов стригут. И мистер Густавсон сказал, что это хорошо и правильно. Что так поступали с еретичками еще во времена испанской инквизиции, а также – с ведьмами в Салеме. – И Стивен вдруг начинает истерически смеяться, даже хохотать, и это уже какой-то совершенно безумный смех, который он остановить не в силах.

Однако он все же заставляет себя перестать смеяться и продолжить:

– А потом мистер Густавсон, улыбаясь, прошелся по классу и раздал всем по листку бумаги. Там были написаны самые грязные ругательства. Ты помнишь этот список из семи запрещенных грязных слов? Так вот, там были не только все эти семь слов, но и еще штук пятьдесят не менее грязных ругательств. И мистер Густавсон потребовал, чтобы мы достали тетради и написали письмо – то есть каждый должен был написать письмо Джулии Кинг, используя при этом как можно больше таких дерьмовых слов и выражений. Он заявил, что только так мы сможем внушить ей, что все это она заслужила, чтобы она теперь получала удовольствия на полях, ломая там спину.

И я, глазом не моргнув, спокойно кушаю произнесенное Стивеном слово «дерьмовые». Он запросто мог бы выразиться и покрепче, потому что в сравнении с тем, что он мне только что рассказал, любые ругательства звучат слаще колыбельной.

– И ты написал?

– Мам, я *был вынужден!* Если бы я этого не сделал, они бы все подумали... – Он внезапно умолкает, и губы его кривятся в усмешке. – Знаешь, зло торжествует, когда добрые люди бездействуют. Так ведь, кажется, говорят?

Он уловил суть высказывания Бёрка^[36], хотя и не смог в точности его повторить. Но я понимаю, что он имеет в виду, и согласно киваю.

Думаю, Джеки была бы довольна.

Глава сорок шестая

Обстановка за обедом почти нормальная – все сидят за столом, посреди которого высится стопка коробок с пиццей, Сэм и Лео спорят, чья футбольная команда лучше, Соня преподает нам основы дойки коров и уборки на конюшне. И если я закрою глаза, то не увижу, что Патрик сидит, бессильно опустив плечи, почти сгорбившись, а Стивен с безразличным видом пожирает шестой кусок пиццы вместе с коркой. А вообще все как обычно, нормальный семейный обед – болтовня, споры, короткие внезапные паузы.

Только на самом деле все не так.

Патрик выпил гораздо больше, чем следовало. Стивен взял всего один кусок пиццы и долго снимал с него кусочки сладкого перца и складывал их в кучку на краю тарелки. А я сама? Моя усталость кажется мне некой монотонной нескончаемой песней, от которой уже гудит голова, тяжелеют конечности и все время тянет то присесть, то прилечь.

С другой стороны, сегодня – мой единственный шанс, и удача мне улыбается: все происходит как бы само по себе.

Я укладываю Патрика в постель – с моей стороны это немалый подвиг, если учесть его рост и вес, а также мою усталость, – и отправляюсь читать Соне на ночь одну из историй о медвежонке Пухе. Малышка засыпает быстро, еще до того, как Винни-Пух застревает у Кролика в норе.

«Вот и хорошо, детка, ты просто умница», – думаю я.

Часики, стоящие у Сони на ночном столике, сообщают, что сейчас восемь часов, а значит, еще слишком рано отправлять близнецов в кровать, а уж для Стивена и подавно время детское. И я иду проверить, что там поделывают мои мальчишки.

В гостиной Сэм и Лео учат друг друга новым карточным фокусам – тоже совершенно нормальная вещь. Я стучусь к Стивену, но он из-за двери говорит мне, что хочет немного побыть один и хоть как-то отключиться.

А потому я снова вспоминаю об Оливии.

– У тебя точно все в порядке? – спрашиваю я, однако не произношу вслух того, что мне очень хочется ему сказать: «Только не делай никаких глупостей, мальчик».

Возможно, Стивен читает мои мысли, возможно, он просто куда более здравомыслящий, чем мне кажется, но он говорит из-за двери:

– Ты же знаешь, что я не псих... и ничего такого делать не собираюсь.

Ничего себе, приятная маленькая беседа перед сном на тему суицида с любимым сыном, да еще и через закрытую дверь. И я, пожав плечами, иду искать ключи Патрика.

У моего мужа свой ежевечерний ритуал: примерно час после обеда он, захватив с собой пиво, проводит у себя в кабинете, затем чистит зубы и ложится спать, хотя иногда – впрочем, с течением лет это случается все реже и реже, а в последние двенадцать месяцев эти случаи стали и вовсе столь же редкими, как зубы у несущки, – все же выражает готовность заняться сексом. Но в какой-то момент между сидением в кабинете и заползанием в кровать Патрик непременно запирает все свои ключи в маленьком стальном сейфе, спрятанном у него в тумбочке под ночным столиком – похожие сейфы с электронным замком встречаются порой в гостиничных номерах.

Когда-то он пытался выдать эту, ставшую нормой, последовательность послеобеденных действий за побочный эффект своего нового назначения, но, по-моему, лукавил. Я прекрасно понимаю, что даже если завтра он откажется от своей должности советника президента и вернется к работе консультанта в АМА^[37], то все это останется по-прежнему – и эта связка ключей, и все то, что сложено в ящики и коробки у него в кабинете, – и все будет точно так же, как и в любом другом доме. Я же видела, как Эван Кинг вечером проделывает точно такие же действия, когда однажды, примерно месяц назад, он забыл опустить жалюзи. А ведь Эван – отнюдь не советник президента США по науке, а самый обыкновенный сраный бухгалтер в сетевом продуктовом магазине, и вряд ли его работа связана с большим количеством государственных тайн.

Просто теперь, детка, все вокруг живут по принципу *«отец знает лучше»*. Везде и всюду.

Но сегодня вечером Патрик как раз пропустил большую часть привычного ритуала с отпиранием-запиранием, но, когда он, видимо, уже засыпал, привычка все же заставила его повернуться, открыть дверцу своего сейфа и набрать шестизначный код, который он держит в большей тайне, чем держал бы любовницу. Я услышала, как звякнули брошенные в потайной ящичек ключи, и электроника отсчитала некое... *пятизначное* число, а потом Патрик задвинул ящик, перевернулся на спину и моментально заснул, бормоча неразборчиво, что он очень постарается, но ему нужно чуть больше времени.

Я поставила на столик возле его кровати стакан воды со льдом и положила три таблетки аспирина – на утро. А потом, пока я читала Соне о

приключениях Кролика, Пуха и Тигры, я все вспоминала: а ведь когда Патрик закрывал свой сейф, прозвучали всего *пять* электронных сигналов.

Пять. А не шесть.

Вот почему, проверив, как там мальчишки, я, скинув туфли, тихонько прокрадываюсь по коридору к дверям нашей спальни и обнаруживаю, что Патрик по-прежнему тихонько похрапывает, лежа на спине, голова покоится на подушке, грудь под тонкой простыней мерно поднимается и опускается. В тусклом свете часов, стоящих на прикроватном столике, я нащупываю медную ручку заветного ящика с сейфом и, подцепив ее дрожащим пальцем, тяну на себя, рассчитывая, что выдвинуть ящик будет нетрудно, поскольку он на полозьях. Но от влажности старое дерево разбухло, и вытянуть ящик с сейфом с помощью одного пальца мне не удается. Тогда я вцепляюсь в медную ручку всей пятерней и с силой дергаю.

Законы физики – вещь поистине восхитительная. Не раз, помнится, я отправлялась в бар с друзьями, будучи абсолютно уверенной, что там пиво, конечно же, подают в тяжелых стеклянных кружках, но в самый неподходящий момент – как раз когда я подносила кружку к губам – оказывалось, что кружка эта не из стекла, а из пластика, точнее, из какого-то композитного материала, который только выглядит как стекло, а на самом деле гораздо легче. И вот ты рывком поднимаешь якобы тяжеленную, на вид примерно в фунт весом, пивную кружку, и – плюх! – вся пивная пена летит тебе в физиономию. «Надо меньше пить», – пытаешься пошутить ты и начинаешь вытираться.

А теперь вот у меня возникла аналогичная проблема при попытке выдвинуть проклятый ящик.

Я упираюсь ногами, и теперь моих усилий явно должно хватить, чтобы все-таки его выдвинуть. И, скорее всего, мне бы это удалось, если бы не отвалилась проклятая ручка.

Сжимая ее в руке, я отлетаю назад и с такой силой стукаюсь головой об пол, что даже Патрик перестает храпеть и сонно бормочет:

– Что это ты делаешь, детка?

– Ничего, просто о край ковра споткнулась и упала. Спи, спи.

Как ни странно, это срабатывает; на всякий случай я жду еще полных пять минут, прислушиваясь к дыханию мужа, которое становится все более спокойным и поверхностным, а потом отправляюсь на кухню в поисках отвертки.

Часы показывают уже девять, когда я все-таки ухитрюсь вытянуть ящик с сейфом и нащупать закрытую, но не запертую дверцу сейфа и

просовываю в крохотную щелчку ноготь. Раздается щелчок, и сейф открыт. Я на ощупь нахожу холодную связку ключей, прикрываю дверцу сейфа и легким толчком возвращаю ящик в прежнее положение.

Пора отправлять в постель Сэма и Лео.

Они сопротивляются. Сэм объясняет, что ему осталось продемонстрировать всего один новый карточный фокус.

– Немедленно! – говорю я и жду. Вскоре я слышу, что они укладываются, и, тихо ступая, иду в конец коридора к той запертой двери, что ведет в кабинет Патрика.

У меня уже наготове ложь, которую я непременно выложу Патрику, если он вдруг проснется и обнаружит, что я сижу за его письменным столом и роюсь в стопках бумаг и конвертов. В конце концов, моя мать сейчас в больнице за тысячи миль отсюда, и, возможно, речевой центр ее головного мозга необратимо поврежден. Вот я и скажу, что мне понадобилось в столь поздний час связаться с отцом, который, конечно же, спать сегодня не будет, и хорошенько все выяснить.

Но пока что в кабинете я одна, и мои липкие пальцы роются в аккуратно сложенных Патриком документах, похожих на отряды солдат, в строгом порядке выстроившихся на поверхности письменного стола, как на плацу. Все выглядит точно так же, как и прошлым вечером, и завтра должно выглядеть тоже точно так же, поскольку сегодня Патрик в кабинет вообще не заходил. Вчерашняя жуткая пытка электротоком, которую Оливия сама к себе применила, настолько на него подействовала, что он, видимо, оказался не в силах заниматься такой банальной работой, как просмотр почты и документов. *Попытка самоубийства с помощью электротока*, вспоминаю я формулировку полицейских и тщетно пытаюсь выбросить из головы воспоминания о дочерней обгоревшей руке Оливии.

Да, на столе у Патрика все в точности, как и было вчера, за исключением того, что конверт с наклейкой **СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО** куда-то исчез.

К одиннадцати часам я успеваю обшарить каждый ящик и каждый шкаф, заглянуть под оба якобы персидских ковра, прощупать каждый дюйм плинтуса в надежде, что какой-нибудь его кусок окажется не пришитым. Наконец я сдаюсь и ложусь навзничь прямо на твердый пол. Голова у меня все еще гудит после моего «удачного» падения в спальне.

Я чувствую себя ужасно усталой. Усталой до изнеможения. И с удовольствием осталась бы лежать так, на спине, вытянув ноги и прикрыв глаза, хоть до самого утра.

Это, конечно, было бы хорошо, но в результате на меня обрушилась бы

чертова пропасть всяких неприятностей, и тогда уж не помогла бы даже лживая отговорка насчет того, что я пыталась связаться с отцом по фэйстайму.

Я рывком сажусь, заставляю ноги напрячься и поднять мое тело, а затем снова подхожу к письменному столу Патрика, в последний раз перебирая пачки отчетов и памятных записок и стараясь сдвигать бумаги только ладонями и ничего не переворачивать. Если утром он что-нибудь заметит, я скажу ему, что он пытался работать, хотя был уже совершенно пьян.

Когда я поворачиваю в замке ключ от двери в кабинет, остальные ключи в связке негромко позвякивают, и я судорожно зажимаю их в ладони, чтоб затихли. Потом, взглянув на связку, я пытаюсь вспомнить, что еще могут отпереть эти ключи. Всего там три ключа: один от кабинета и два поменьше. Я предполагаю, что один из них от того сундука на чердаке, где хранятся почти все мои книги. А глядя на самый маленький ключик с круглой головкой, я вспоминаю Джеки.

Мы с ней тогда завели даже специальную вешалку для ключей – это была такая совершенно китчевая штукovina, которую Джеки отыскала где-то на уличной распродаже, – и пристроили ее на стену рядом с входной дверью. Джеки заново ее разрисовала в стиле «индейская этника», украсила отпечатками звериных лап и, закрасив текст, гласивший: «ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО, ЭТО ЛЮБОВЬ... И СОБАКА», написала сверху наши имена и слова «дверь» и «почтовый ящик». Но я вечно путала, куда следует вешать ключ от почтового ящика, и в итоге Джеки заявила, что отныне «эта сволочь» будет висеть на отдельном крючке. Я хорошо помню тот маленький ключик с круглой головкой...

Убедившись в очередной раз, что кабинет Патрика заперт, а Стивен так и не выходил из своей комнаты, чтобы, как обычно, перекусить на ночь глядя миской хлопьев с молоком или сникерсом, я выскальзываю на крыльцо. Холодный ночной воздух щиплет кожу, напоминая, что я только что была буквально мокрая от пота.

Соседний дом Кингов погружен во тьму; даже фонарь на крыльце не горит. Ну да, ведь Эван уехал на машине «Скорой помощи» вместе с Оливией ранним вечером, когда солнце было еще высоко. Возможно, он и сейчас еще из больницы не вернулся. Я ощупываю внешнюю сторону дверной рамы, пытаюсь найти выключатель, но так и не нахожу. Приходится ждать, пока глаза привыкнут к ночной темноте. Надо мной и над крышей Кингов висит серебряный месяц, похожий на крюк.

От волнения ладони у меня снова вспотели, и я тщательно вытираю их

о юбку. Затем выбираю самый маленький ключик в связке и дрожащей рукой вставляю его в замок почтового ящика – туда только сегодня утром заглядывал Дэл Рей, и там, насколько я могла заметить, лежал очередной одинокий конверт. Ключ легко поворачивается в замке, и я от ужаса затаиваю дыхание.

Какого черта ты туда полезла, Джин? Что ты надеешься там обнаружить? Вряд ли в ваш почтовый ящик ночью успели бросить еще какие-то сверхсекретные документы.

И все же при свете тонкого месяца, напоминающего отстриженный кусочек ногтя, но почему-то кажущегося мне странно опасным, словно он может незаметно опуститься с небес и, подхватив соседний дом, унести его куда-то в ночные облака, я вижу в почтовом ящике очертания какого-то плотного конверта.

Глава сорок седьмая

Прошло всего две минуты, но я больше уже не Джин.

Я – воровка.

Или предательница. А интересно, думаю я, какого рода наказание преподобный Карл со своей стаей Истинных Мужчин приберег для предателей или для тех, кого уличили в подрывной деятельности? В таком мире, где женщин ссылают в жуткую «сибирь», то есть в Северную Дакоту, за самые ничтожные преступления – я уж не говорю о прелюбодеянии, ну а Джеки за свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и вовсе осуждена на пожизненное заключение в концлагере для гомосексуалистов, – наверняка должны существовать особые и весьма впечатляющие наказания для женщин, решившихся на кражу государственной тайны.

Из дома-то они меня совершенно точно увезут. И я никогда больше не увижу своих детей. Не увижу ни Патрика, ни Лоренцо.

Я пытаюсь представить себе жизнь где-то в одном из тех мест, что сидельцы обычно называют «дном» или «преисподней»; там образы близких людей и воспоминания о моей прежней жизни с каждым днем станут все больше мутнеть, выцветать, подобно старым фотографиям, на которых со временем не остается почти ничего, кроме едва различимых очертаний. А может, мне ничего этого познать и не придется. Может, последним, что я в своей жизни увижу, будет внутренняя сторона капюшона, который натянут мне на голову, закрыв лицо, и шею мою обовьет петля, или же мою обритую наголо голову плотно обхватит смазанная гелем шапочка, в которой сажают на электрический стул, или же я успею увидеть шприц с ядом и иглу, готовую вонзиться мне в вену.

Нет, это, конечно же, будет не шприц с ядом. Для предательницы такая казнь была бы слишком гуманной.

Я слышу, как настенные часы бьют двенадцать, словно отсчитывая удары моего сердца. Считать их нужды нет; каждый удар отдается у меня в ушах звоном литавр.

Но раз уж я зашла так далеко, то почему бы мне не зайти и чуточку дальше?

Забрав содержимое почтового ящика – это, собственно, единственный конверт, – я снова поворачиваю ключ в замке и возвращаюсь в дом. Несмотря на то что в доме тепло, даже душновато, по спине и рукам

у меня пробегает дрожь, и я вся покрываюсь гусиной кожей.

У нас, конечно, пока еще не настолько плохо, как в мире Уинстона Смита^[38], который был вынужден заползть в самый глухой угол своей однокомнатной квартирki, чтобы хоть на мгновение избежать всевидящего ока Большого Брата, следящего за ним с экрана на стене, но камеры слежения и у нас понатыканы повсюду. Вон одна над передней дверью, одна – над задней, а еще одна – над гаражом, нацеленная на подъездную дорожку. Год назад я смотрела, как их устанавливали – это было в тот самый день, когда нам с Соней надели на запястья счетчики слов. Ясное дело, постоянно наблюдать за всеми окрестными домами абсолютно невозможно – для подобного наблюдения просто не имеется достаточных человеческих ресурсов; но я тем не менее веду себя осторожно, стараюсь держаться к камере спиной и незаметно прижимаю к телу украденный конверт, проскальзывая в приоткрытую дверь. Затем, минуя гостиную и столовую, я напрямик направляюсь в наш «вспомогательный» туалет, находящийся рядом с кухней. Это, кажется, достаточно личное пространство, чтобы там не было установлено наблюдение.

В туалете я сажусь на пол, прислоняюсь спиной к стене и осторожно разгибаю лапки металлической клипсы.

Внутри точно такое же уведомление, какое я читала прошлым вечером. Далее три отдельных набора документов, прикрепленных скрепками к цветной страничке-обложке – белой, золотистой и красной. Сперва я заглядываю под белую обложку и вижу заголовок, определяющий основные цели работы нашей команды:

Развитие, тестирование и массовое производство
сыворотки «анти-Вернике».

Далее следуют диаграммы Гатта^[39] – рабочий инструмент руководителя любого проекта, – оговоренные сроки для промежуточных отчетов и клинических испытаний, а также curriculum vitae членов команды. Здесь я ничего нового не нахожу, но замечаю, что CV Моргана занимает всего одну страницу, тогда как наши – страниц по шесть. Я снова аккуратно все складываю, выравниваю края страниц, скрепляю их скрепкой и кладу «белый» файл рядом с собой на плиточный пол туалета.

В «золотом» пакете почти то же самое, что и в «белом». И цели этой команды, обозначенные под желтым листом обложки, точно такие же:

Развитие, тестирование и массовое производство сыворотки «анти-Вернике».

Снова диаграммы Гатта, пять curriculum vitae с полным списком всех публикаций и академических должностей, но я никого из этих биологов и химиков не знаю; там же, естественно, и CV Моргана. Значит, они решили нас продублировать. Так сказать, содержат подопытных животных в разных загонах. Очень на них похоже. Черт побери, как же это типично для нашего нынешнего правительства! Зачем иметь только одну команду, если есть средства на две?

«Золотой» пакет ложится рядом со мной в ту же стопку, и я перехожу к Красной команде, ожидая, что это будет очередной повтор, но здесь все иначе.

Во-первых, задача у них одна-единственная:

Исследование возможности растворения сыворотки Вернике в воде.

Члены команды перечислены на следующих страницах – их шестеро, все доктора наук. Но под каждым именем указано также военное звание и род войск. Я щурюсь от резкого света, отражающегося от раковины, и вспоминаю те двери, мимо которых проходила сегодня днем, когда По вел меня по коридору к кабинету Моргана.

Одно из имен – Уинтерз – вызывает в моей памяти слабый, но отчетливый звоночек, но тут я слышу, как настенные часы в гостиной отбивают время. Час ночи.

Я осторожно складываю все три пачки в том же порядке: белая, золотая и красная. Но прежде чем снова засунуть их в конверт, я еще раз просматриваю график Гатта в «белой» стопке документов. Срок завершения проекта, цветная горизонталь основной задачи, помечен прошлым (!) годом. Точнее, 8 ноября, то есть тем днем, когда все оборудование нашей лаборатории было реквизировано.

Значит, я была права. Проект Вернике возобновлен не вчера. Это произошло семь месяцев назад.

Ноги мои отказываются стоять. Мало того, они вообще не желают слушаться и совершенно онемели от слишком долгого сидения на жестком полу, да еще и по-турецки. Теперь их словно иголками колет, и я, прислонившись к раковине, по очереди сгибаю и распрямляю коленные суставы, возвращая ногам подвижность.

– Джин? С тобой все в порядке?

Голос, доносящийся с той стороны двери, звучит довольно глухо, но это, безусловно, голос Патрика. Он стучится один раз; затем ручка на двери поворачивается.

Господи, я же не заперла дверь! Даже не подумала, что это необходимо сделать.

Черт. Черт. Черт. Черт.

Я быстро включаю воду и сую конверт в узкую щель между унитазом и стеной. Когда Патрик открывает дверь, я старательно умываюсь холодной водой.

– Господи боже, детка, – говорит он, – ну и вид у тебя!

Да уж. Мое отражение в зеркале с ним полностью согласно. Смешавшись с потом, тушь с ресниц потекла и размазана вокруг глаз; хлопчатобумажная блузка, которую я надела сегодня утром, прилипла к моему телу, точно намазанная клеем; волосы отчасти свисают на лицо беспорядочными прядями, а отчасти самым непристойным образом торчат в разные стороны. Я старательно заворачиваю кран, вытираюсь полотенцем и с овечьим смирением улыбаюсь Патрику, который, похоже, совсем не так уж и пьян, зато чем-то весьма озабочен.

– Чувствую себя не очень, – говорю я. – И, по-моему, в пицце было что-то не то.

Патрик прикладывает мне ко лбу руку, прохладную, тщательно отмытую руку врача с розовой от бесконечного мытья кожей. И на мгновение перед моим мысленным взором возникают руки Лоренцо, совсем, совсем иные. И мне начинает казаться, что руки Патрика, возможно, не так уж и чисты...

– Тебя же никогда не тошнит, детка, – удивляется Патрик и прибавляет со смешком: – Ну, разве что когда ты беременна. Хотя, пожалуй, в течение всех твоих четырех беременностей и можно набрать целый год, когда ты практически единолично пользовалась нашей ванной комнатой.

Я пытаюсь засмеяться в ответ на его шутку, но голос мой звучит хрипло и совсем не весело.

– Ты ведь не... – Патрик быстро переводит взгляд с моего лица на живот и хмурится. Он не глуп, и он врач. И он хорошо умеет считать. А еще он автор учебника по эмбриологии и отлично понимает, что это невозможно, ибо наша сексуальная жизнь в последние несколько месяцев такова, что я либо забеременела три дня назад, либо залетела от волейбольного мяча на пляже.

– Конечно же, нет! – поспешно говорю я. – Нет, это, ей-богу, пицца.

Странный у нее был вкус.

– Ну, хорошо. Давай-ка возвращайся в кровать. – Он берет меня за руку, выключает во «вспомогательном» туалете свет и ведет меня прочь от моей полуночной читальни.

– Сейчас приду, только воды выпью, – говорю я. – А заодно и папе позвоню, раз уж я все равно встала.

Когда шаги Патрика стихают в коридоре в направлении нашей спальни, я стремительно извлекаю злополучный конверт из временного укрытия, на цыпочках бегу к входной двери и проделываю в обратном порядке весь процесс кражи письма. Затем заглядываю на кухню, наливаю себе стакан воды со льдом и, делая небольшие глотки, по памяти набираю номер отца.

– *Pronto*, – говорит он, и голос его звучит незнакомо, словно это не мой папа, а какой-то дряхлый старик.

– Папа, это Джин. Как мама?

Но я уже все поняла по его внезапно состарившемуся голосу. Поняла еще до того, как он произносит уже знакомый мне диагноз «повреждение головного мозга» и говорит, что «эта та самая зона, которая начинается на букву «В», а потом жалуется: «Почему я не могу больше с ней разговаривать, Джианна?» Некоторое время он молчит и вдруг умоляющим тоном спрашивает:

– Ты ведь сможешь это исправить, Джианна?

– Конечно, смогу. – Я вкладываю в свой голос максимум уверенности, надеясь как-то замаскировать ту внутреннюю дрожь, от которой у меня сводит горло. – Скоро смогу, папа. Правда, скоро.

Затем я выпиваю еще стакан ледяной воды, большую часть которого я, правда, использую, чтобы смочить разгоряченное лицо, и бреду по коридору в нашу спальню.

Патрик опять храпит.

Я кладу ключи на ковер, рядом с его ночным столиком, и заползаю под одеяло, рассчитывая часов шесть поспать.

Глава сорок восьмая

Мне снится ужасный сон: мои дети исчезли.

Я вижу, как их одного за другим забирают от меня, их лица словно растворяются в темноте, исчезают, и кто-то – может, Оливия, а может, какой-то солдат, освещенный вспышками фотокамер, – подхватывает Союю на руки. Близнецы машут мне руками, а Сэм подбрасывает колоду игральных карт у Лео над головой и кричит: «Пятьдесят две поймал!» Стивен улыбается нехорошей улыбкой и тоже кричит: «Потом, мам! Потом поговорим!» И наклоняет голову набок, словно желая извиниться.

А Патрик все это время просто стоит, смотрит и ничего не говорит.

Но это сон. На самом деле моя суббота начинается совсем по-другому.

Патрик поднимает жалюзи, и в спальню врывается поток солнечных лучей. И почти сразу входят близнецы и Соня; они торжественно вносят поднос с ароматным кофе и еще горячими пончиками из дрожжевого теста – в любой другой день подобные запахи мгновенно пробудили бы мой аппетит, но сегодня они вызывают у меня очередной приступ тошноты. В серединку одного пончика с мягким сыром воткнута одинокая свечка.

– С днем рождения, мам! – орут сразу четыре голоса.

А я и забыла, что сегодня мне стукнуло сорок четыре.

– Спасибо, – хрипло каркаю я и старательно изображаю, что страшно голодна. – А где же Стивен?

– Спит, – говорит Сэм.

На часах возле моей постели мигают электронные цифры: 9.11. А я обещала Лин и Лоренцо приехать в лабораторию к десяти.

– Задуй свечу и загадай желание, мамочка, – говорит Соня.

Я задуваю, капая воском на мой завтрак, затем вытряхиваю себя из постели и бегом мчусь в ванную.

– Вернись через минутку. Поднимите Стивена. Я хочу поговорить с ним, прежде чем уеду на работу.

Торжественная процессия разворачивается и просачивается обратно в коридор. Через тридцать секунд, когда я выливаю так и не выпитый кофе в раковину, входит Патрик.

– Стивена нет, – тихо говорит он.

Я обдумываю слово «нет» во всех возможных семантических смыслах. Нет – значит, ушел в магазин; нет – значит, пошел на пробежку; нет – значит, отправился покупать к завтраку пиццу; нет – значит, сошел с ума...

Почему-то мне не приходит на ум самое первое, простейшее значение этого слова: «нет» – значит «отсутствует», «находится не здесь», как в том моем сне. Или – и это значение слова «нет» мне в голову тоже не приходит, – «нет в этой жизни», «мертв».

Патрик протягивает мне тетрадный листок.

– Вот. Нашел у него в комнате. На подушке.

Могло быть хуже, думаю я, читая каракули Стивена. Но и этого – снова проклятое ЭТО! – мне вполне достаточно. У меня даже дыхание перехватывает, когда я смотрю на эти несколько слов.

Отправился искать Джулию. Люблю вас. С.

За какие-то четыре дня наша и без того отвратительная жизнь превратилась в полное дерьмо.

– Может, позвонить в полицию? – спрашиваю я.

Патрик качает головой, словно знает, о чем я думаю.

– Пожалуй, этого лучше не делать. – Он ласково касается моей руки и берет у меня пустой кофейник, не спросив: *А что, тебе наш кофе не понравился?* И кофейных потеков в раковине он тоже словно не замечает. И почему-то спрашивает: – Я, наверное, был для тебя не слишком хорошим мужем, да?

И нас словно магнитом притягивает друг к другу; мы снова вместе, мы крепко обнимаемся, и Патрик касается пальцем нежного местечка у меня за ухом, и я чувствую, как бешено стучит мое сердце, сперва неровно, точно синкопой, потом более спокойно. Странно думать о любви в такой момент, когда наш сын исчез, а в раковине коричневые потеки от кофе, но руки Патрика блуждают по моему телу, гладят мою шею, спину, грудь, и под его прикосновениями мои соски как всегда набухают под шелковой ночной сорочкой, и я наслаждаюсь его ласками, хоть разум мой и твердит, что сейчас этого не нужно.

– Прости, но сегодня я никак не могу опаздывать, – говорю я, с трудом отстраняясь от Патрика. Кроме всего прочего, я просто не смогу этим утром заниматься любовью с мужем и не вспоминать, как это было в тот, самый первый, раз, когда мы с ним сделали Стивена.

А еще я думаю о том, как повел бы себя Патрик, если бы на месте Джулии Кинг оказалась я, если бы это меня преподобный Карл вытащил среди ночи из дома, а потом выставил перед телевизионными камерами, чтобы сразу после этого отправить куда-нибудь далеко-далеко, в новую жизнь, полную абсолютной немоты и рабского труда. Последовал бы тогда

за мной Патрик?

Лоренцо точно последовал бы. А вот Патрик вряд ли.

– Как ты думаешь, куда он мог отправиться? – говорю я, включая душ. – Я Стивена имею в виду. – Джулию могли увезти куда угодно – вверх по побережью, в центр страны, на ее противоположный край, в апельсиновые рощи Калифорнии. – Ведь отыскать ее – это все равно что найти черную кошку в угольном подвале.

Патрик качает головой.

– Я так не думаю. Позволь, я кое-что тебе покажу. – Он выходит из ванной, подходит к своему ночному столику и вдруг удивленно вопрошает: – Что тут происходило, черт побери?

Ложь заранее мной заготовлена, и ее гораздо легче произнести, когда можно не смотреть Патрику в глаза.

– А, эта дурацкая ручка еще вчера вечером отвалилась. Ты разве не помнишь?

Возникает пауза: он обдумывает мои слова. Потом я слышу звяканье ключей и озадаченное «Хм?..» и снова поспешно включаю душ.

– Если хочешь, я приготовлю тебе чай, – кричит Патрик. – Когда соберешься, зайди ко мне в кабинет. Мне кажется, я знаю, куда направился Стивен.

Я впервые в жизни принимаю душ с такой скоростью, быстро причесываю невымытые волосы и надеваю самые свободные свои джинсы и льняную рубашку, которую не нужно заправлять внутрь. Хрен с ним, с официальным дресскодом; мне жарко, я тороплюсь, я, в конце концов, беременна! И я бегу по коридору в кабинет Патрика.

Экран заполняет физиономия преподобного Карла; его руки воздеты к небесам, точно в молитве. Это его излюбленная поза во время выступлений с проповедями. Новостной оператор, давно уже насобачившийся его снимать, отъезжает с камерой назад, открывая взору остальную сцену. Джулия Кинг неузнаваема.

Они ее побрили! Нет, я, конечно, ожидала чего-то в этом роде. Я не ожидала только, что они это сделают так хреново; она похожа на овцу, побывавшую в руках какого-то стригаля-любителя, который не только почти слеп, но и страдает параличным дрожанием рук. На голове у Джулии кочками торчат жалкие клочки рыжеватых волос.

– Они что, тупой бритвой ей голову брили? – Я не могу оторвать глаз от экрана ноутбука. А Стивен все это видел еще вчера, его заставили смотреть, заставили вместе с одноклассниками осыпать Джулию грязными прозвищами...

Преподобный Карл призывает аудиторию помолиться с ним вместе и склоняет голову.

– Господи, прости нашу заблудшую дочь и наставь ее на путь истинный, когда она присоединится к своим сестрам в Черных холмах Южной Дакоты. Аминь. – Его слова сопровождает целый хор выкриков и шипения. Несколько человек эхом откликаются: «Аминь», но в основном это не совместная молитва, а демонстрация ненависти. Преподобный Карл, как бы придавливая воздух ладонями поднятых рук, призывает аудиторию к молчанию, но когда он поднимает голову, на лице у него я замечаю слабую, но весьма довольную улыбку.

Теперь камера наезжает, и на экране появляется очень крупно лицо Джулии в потеках слез. Губы у нее дрожат, глаза мечутся из стороны в сторону в поисках хотя бы крошки сочувствия, но сочувствия от этих крикунов она не дождетя. Зато ее плеча покровительственным жестом касается рука преподобного Карла. Она резко отстраняется от него, но он лишь крепче сжимает ее плечо, буквально впиваясь пальцами в ключицу, прикрытую серой тканью балахона с высоким воротником-стойкой и длинными рукавами. Бедная девочка, должно быть, умирает от жары в этой одежде.

Я далеко не впервые думаю о том, как мне ненавистен преподобный Карл Корбин. Но мне впервые действительно хочется его убить.

Глава сорок девятая

Если бы я провела свои последние несколько минут дома, глядя из окна гостиной на подъездную дорожку, а не была занята распутыванием свалывшихся в узлы собственных волос, я, возможно, и заметила бы некий черный SUV, стоявший на противоположной стороне улицы с включенным двигателем и извергавший изрядные клубы выхлопных газов.

Но я в окно не смотрела. А когда я выхожу из задней двери, сажусь в машину и завожу ее, становится слишком поздно. Почтальон Дэл со своей сумкой на плече уже успел подняться на крыльцо и держит в руках ключ от нашего почтового ящика. Дэл машет мне, и я машу ему в ответ, повернувшись к заднему окну «Хонды».

Осознание происходящего обрушивается на меня неожиданно с силой мощной приливной волны: ключи, конверт, Дэл, заглядывавший вчера в глубь нашего почтового ящика и заметивший там некий одинокий конверт, Шэрон, предупреждавшая меня насчет существования некой подпольной организации, где Дэл является связным... и, наконец, слова Патрика после того, как он вчера вечером рассказал мне, что сделала с собой Оливия Кинг, когда, спрятавшись в спальне с диктофоном, включила его на бесконечное громкое повторение собственных слов...

«Мы делаем все, что в наших силах». Вот что сказал тогда Патрик.

И теперь наконец-то все совпадает; все точки над «i» расставлены, и я обретаю то единственно возможное объяснение происходящему, которое меня и пугает, и, как ни странно, приносит мне некое успокоение: Патрик работает не на правительство и не на президента. Он работает против них.

Я даю задний ход и, поравнявшись с крыльцом, наполовину высовываюсь из окошка машины. Дэл уже открыл почтовый ящик и вынул конверт, старательно загораживая его руками и от улицы, и от камеры над входной дверью. Так что поздно кричать: «Стой! Не открывай ящик!»

А он, прижимая конверт к груди, быстро прячет его в почтовую сумку и начинает запирать почтовый ящик. Занятый этим, он так и не услышит, как По, бесшумно ступая, пройдет по подъездной дорожке, поднимется на крыльцо и остановится у него за спиной. Он не услышит тихого щелчка и пения черного электрошокера, когда По своей мощной ручищей слегка ткнет его шокером под ребра и прижмет свое оружие к голове Дэла, нанеся ему двойной удар электричеством.

Затем, словно только что меня заметив, По поворачивается в мою

сторону и машет рукой в сторону подъездной дорожки, словно говоря: «Все, цирк окончен, а теперь поскорей уезжай. Смотреть тут больше не на что».

И сразу из той черной машины выскакивают еще двое мужчин и, подбежав к нашему дому, подхватывают Дэла под мышки и волокут, точно тряпичную куклу, по ступенькам крыльца, по дорожке и запихивают его на заднее сиденье, а я по-прежнему стою на месте и беспомощно жду, что вот сейчас По позвонит в нашу дверь и сделает то же самое с Патриком.

Но ничего подобного он не делает. Он неторопливо идет прочь от нашего дома и тоже садится, сложившись чуть ли не пополам, на заднее сиденье черного SUV рядом с бесчувственным Дэлом. А потом ждет, когда я наконец оттуда уберусь. Я трогаюсь с места, и страшная черная машина тоже выезжает из «кармана» на противоположной стороне улицы и неотступно следует за моей «Хондой» вплоть до Коннектикут-авеню, где наконец сворачивает и едет куда-то в южном направлении. Мне тут же приходит в голову мысль: а не развернуться ли, не поехать ли напрямик на ферму Реев, чтобы рассказать Шэрон о случившемся и предупредить ее, чтобы она вела себя осторожно? Но я почти сразу понимаю, что мне этого делать не следует. Что меня тут же поймают. К тому же наверняка уже слишком поздно предупреждать Шэрон. И потом – хотя это, конечно, сущая ерунда по сравнению со всем остальным, – Морган задаст мне перцу за то, что я в очередной раз опоздала на работу.

Виляя между машинами в плотном утреннем трафике, я перебираю в памяти события этого утра. По, должно быть, думает, что тот конверт все время был у Дэла и он еще только собирался кому-то его передать, причем, возможно, по совершенно иному адресу.

Я, увы, отнюдь не обладаю эйдетической образной памятью, зато зрительная память у меня отличная, и я моментально запоминаю любой текст. В своей прошлой жизни – а может, и в жизни будущей, если, конечно, я вновь обрету доступ к книгам, – я запросто смогу быть, например, неплохим издателем. И дело не в том, что я сама способна написать нечто не слишком дерьмовое; просто я всегда сразу вижу любые ошибки, повторы и опечатки. Вот и сейчас, виляя в потоке машин и стремясь как можно скорее повидаться с Лоренцо и Лин, я мысленно продолжаю вылавливать те ошибки, что были допущены в оформлении документов из «красного» и «золотого» пакетов, находившихся в том конверте, и понимаю, что эти ошибки однотипны, как близнецы.

Но мысль об этих однотипных ошибках далеко не единственная из тех, что крутятся сейчас в моем мозгу, точно ошалевшие хомяки в беличьем

колесе. Дело в том, что сама природа этих трех, столь отчетливо разграниченных команд, по сути дела повторяющих работу друг друга, не должна вроде бы заслуживать классификационного секретного статуса. Собственно, работа моей команды никогда и не была засекречена, а если и была, то наш президент сам же ее и рассекретил три дня назад на пресс-конференции.

Я ставлю «Хонду» на отведенное мне место между «Мустангом» Лоренцо и тем пустым прямоугольником, где должна была бы стоять умненькая машинка Лин, но ее там почему-то нет. Я замечаю, как от дверей здания мне машет рукой какой-то солдат, требуя, чтобы я немедленно прошла через пункт проверки. Для начала он берет мою сумку и кладет ее на транспортер, ползущий сквозь рентгеновское устройство.

– Это еще зачем? – спрашиваю я.

– Новая процедура досмотра, – отвечает солдат, не сводя с меня глаз. На сей раз у него на лице улыбки нет, и он не желает мне весело «Удачного дня!»; я вижу только его глаза, превратившиеся в щелки и бдительно наблюдающие за мной из-под козырька бейсболки, когда забираю свою сумку и направляюсь к лифтам, возле которых уже стоит Морган, грозно скрестив руки на груди и явно поджидая меня.

– Вы опять опоздали, – недовольно замечает он.

– Я всю ночь работала, – с легкостью вру я и вхожу в прибывшую кабину лифта. Морган входит за мной следом и нудным голосом продолжает:

– Вам не полагается брать работу домой, Джин. Или вы уже забыли это простое правило?

Я резко оборачиваюсь к нему. В эту минуту мне жаль, что я не надела какие-нибудь туфли на высоком каблуке вместо своих удобных сандалий – разговаривая с этим ублюдком, я бы с удовольствием смотрела на него сверху вниз. Но и сейчас наши глаза находятся практически на одном уровне, хоть я и в сандалиях на плоской подошве.

– Нет, не забыла, Морган. Я никогда ничего не забываю. Но дело в том, что мозг у меня весьма активный, *работающий*, и если вы не хотите, чтобы я и свои мозги оставляла запертыми в вашей гребаной лаборатории, то отвяжитесь от меня со своими убогими нотациями, жалкий вы мудака, и дайте, наконец, спокойно заниматься делом.

– Я не допущу, чтобы со мной разговаривали в таком тоне! – возмущенно заявляет он.

– Ну и не допускайте. Или просто спокойно сядьте. Или лягте. Или заползите в какую-нибудь дыру. Только не мешайте мне. У меня и без вас

дел хватает.

– Я запишу все ваши высказывания! Я пошлю рапорт...

– Кому? Президенту? Отлично. А заодно сообщите ему, что я отстранена от работы за плохое поведение и беру отпуск за свой счет до конца месяца. – Я выскальзываю из кабины лифта, успев перед этим незаметно нажать на кнопку «двери закрываются», и оставляю Моргана кипеть от ярости.

– Какого черта он на тебя набросился? – спрашивает Лоренцо, явно все слышавший, поскольку стоял в коридоре рядом с лифтом. Он одет отнюдь не официально, что очень приятно – на нем рубашка поло и брюки цвета хаки; сверху, естественно, белый халат.

– До чего же я ненавижу все это дерьмо! – сердито рявкаю я в ответ и тут же спрашиваю: – А где Лин?

– Еще не пришла. И мы, похоже, совершенно одни во всей лаборатории. – Лукавство так и светится у него в глазах, когда он заключает меня в объятия.

Быстрый секс на лабораторном столе с эпоксидным покрытием в мои планы совершенно не входит, а вот поговорить нам действительно очень нужно.

– Покажи, над чем ты в последнее время работал, – говорю я, вставляя электронный ключ в щель двери, ведущей в главное помещение лаборатории. Мыши и кролики приветствуют нас какофонией разных звериных звуков и писков. Жаль, что Лин нет, и не только потому, что мне очень не хочется своими руками вводить сыворотку подопытным животным.

Просто тем, что мне стало известно, я должна непременно поделиться с ними обоими.

Лоренцо включает воду в биохимической лаборатории и начинает мыть руки, тщательно промывая с мылом каждый палец по очереди, отскребая каждый ноготь и проверяя чистоту каждого сустава.

– Ну?

– Понимаешь, эти три команды на первый взгляд кажутся примерно одинаковыми, но на самом деле их цели различны. – Я снова вспоминаю те разложенные под разноцветными обложками пачки документов и те задачи, которые были поставлены перед каждой. Работа первой и второй команд могла показаться совершенно идентичной в одном, а второй и третьей – в другом. Все дело было в крошечном словечке «анти». Когда я сидела ночью, скрестив ноги, на холодном полу в туалете, мне это показалось просто опечаткой.

Лоренцо продолжает шараду с мытьем рук, но еще прибавляет напор воды, и мы с ним наклоняемся почти к самой бьющей в раковину струе.

– Цель нашей команды – создание сыворотки анти-Вернике, – говорю я. – Сперва я думала, что цель Золотой команды точно такая же, но затем до меня дошло: в нашей работе нет ничего сверхсекретного, я имею в виду то, над чем работаем ты, Лин и я.

– Ну да, вряд ли задачи столь секретной работы стали бы раскрывать на какой-то дерьмовой пресс-конференции, – соглашается со мной Лоренцо.

– Вот именно. Так что в пакете документов Золотой команды, там, где указана цель ее работы, как бы выпало одно слово.

Он вопросительно поднимает бровь.

– «Анти», – шепчу я. – Золотая команда не занимается созданием сыворотки «анти-Вернике», а Красная команда работает отнюдь не над проблемой растворимости этой сыворотки в воде. В «красной» пачке документов слово «анти» тоже отсутствовало.

– Черт побери! – вырывается у Лоренцо, и он озадаченно смотрит на свои дочиста отмытые руки. – Ты уверена, что это все-таки не опечатка?

– Нет. Не уверена. И не могу быть уверена. Но в моих предположениях явно есть определенный смысл. В конце концов, только это и объясняет столь странную классификацию материалов, а также то, почему у Моргана *одна-единственная* папка с названием «Проект Вернике». Вспомни, ведь мы-то всегда называли этот проект «анти-Вернике» или, чуть позже, «Вернике-Х». Ну, ты же не стал бы работать над средством излечения от рака и называть эту тему «проект канцер»?

– Такое название подошло бы только в том случае, если занимаешься воспроизведением раковых клеток в лабораторных условиях, – говорит он. – Но и тогда это звучало бы как-то не совсем правильно.

И я рассказываю ему о Патрике, о Дэле, о запертом почтовом ящике и о том, что сегодня утром люди По арестовали Дэла у нас на крыльце и увезли с собой.

– Им известно, – говорю я, – и По, и кое-кому еще, прекрасно известно о существовании подпольного движения, и они знают, что подпольщики готовы действовать, потому что им, подпольщикам, стало известно, какие дела творятся в этой лаборатории на самом деле.

Мы довольно долго смотрим друг другу в глаза, стоя над струей бьющей в раковину воды и стараясь не поднимать голову. Да и о чем тут, собственно, говорить. Мы оба понимаем, что нашей работе – прямо здесь, в этом здании, – как бы придан обратный ход, а достигнутые нами

результаты готовятся использовать в неких преступных целях.

И не имеет значения, кто именно за этим стоит – преподобный Карл, Морган, сам президент или все Движение Истинных. Вполне возможно, все они объединенными усилиями стремятся создать такое средство, которое не избавляет людей от афазии, а вызывает ее.

Глава пятидесятая

Мы подготавливаем для инъекций две группы мышей. Каждая получит один из двух нейропротеинов, формулы которых вывел Лоренцо, и, если повезет, мы уже к концу дня сможем понять, в каком направлении нам нужно двигаться дальше, поскольку половина подопытных мышей неизбежно погибнет. Когда я по очереди вытаскиваю крошечных зверьков из клетки и у каждой на голове выбриваю маленький квадратный участок, в ушах у меня звенит и скачет, точно шарик пинг-понга, одно и то же слово.

Зачем?

Ответ приходит даже слишком легко и тоже в виде единственного слова: *молчание*.

Лоренцо приходит мне на помощь и забирает из моих трясущихся рук маленькую коричневую мышку.

– Ладно, это я сам сделаю, – говорит он, щелкая ножницами. – Ну, вот и готово. Сажай этого Микки-Мауса в клетку с табличкой «Группа 1» и ни о чем не беспокойся. Инъекции я тоже беру на себя.

– Неужели я совсем ни на что не пригодна?

– Скажем так: сегодня утром ты, пожалуй, немного не в себе, но в целом ничего страшного. – Он ласково касается моего плеча, и я подсакиваю чуть ли не до потолка. – Давай действовать не торопясь, шаг за шагом, Джианна.

Я смотрю на его руки с длинными пальцами, кончики которых украшают довольно жесткие мозоли от игры на гитаре и мандолине и регулярной настройки этих инструментов, а он спокойно усыпляет следующую мышь, ждет, когда она расслабится у него на ладони, и выбривает у нее на шкурке квадратик.

– А вот эта уже из «группы 2», – говорит он, передавая мне обмякшее тельце. Очередная Микки или Минни отправляется во вторую клетку.

– Они же просто чудовища! – вырывается у меня.

Лоренцо кивает, прекрасно понимая, что я имею в виду не мышей.

А я мысленно возвращаюсь на две зимы назад. Мы сидим у нас в гостиной с Оливией Кинг, и она, маленькими глотками прихлебывая кофе, смотрит на экран телевизора, где Джеки только что вышла на бой с тремя Истинными Женщинами, одетыми в «двойки» пастельных тонов, которые потрясающе контрастируют с красным бизнес-костюмом Джеки. Оливия

согласно кивает, когда говорят эти женщины в «двойках», и яростно качает головой, стоит Джеки открыть рот.

– По-моему, кто-то давно должен был бы приказать этой женщине заткнуться, – говорит Оливия. – Причем навсегда.

«Ох, Оливия, – думаю я и сама себе удивляюсь: – А какого, собственно, черта ты от нее ожидала?»

Начнут они, пожалуй, с тех женщин, что содержатся в лагерях. В эту категорию попадут Джеки, Джулия и Энни Уилсон с того конца нашей улицы. Вот только по телевизору нам в данном случае ничего не покажут. Затем преподобный Карл загонит в западню таких людей, как Дэл и Шэрон, и постарается уничтожить последнюю надежду на какое бы то ни было сопротивление. Впрочем, прежде чем отнять у Дэла голос, они хорошенько над ним поработают, а в качестве «побудительного мотива», вполне возможно, используют его дочерей. И Дэл, разумеется, заговорит. Какой отец не заговорил бы?

Патрик будет следующим. И у меня буквально перестает биться сердце при мысли о тех методах, которые они к нему применят, и о том, что грозит Соне, если он не заговорит. Нет, он, конечно же, заговорит. И так далее, и так далее, пока не будут обнаружены все до последнего участники сопротивления, которое и без того держалось буквально на нитке. И этот последний его участник тоже будет вынужден заговорить и вскоре навсегда умолкнуть.

И в основе всего этого будет изобретенная мной распроклятая сыворотка!

Нет, я не верю, что таков и будет конец всему!

Рука Лоренцо снова мягко ложится на мое плечо.

– Вот мы с тобой все и сделали. Ты как, Джианна?

Я молча качаю головой.

Минус муж – плюс снова счетчик слов на запястье, ибо счетчик вернется сразу же, как только моя работа здесь будет завершена; и после этого я окажусь совершенно без средств, не имея понятия, как мне теперь содержать дом и растить детей. Стивен еще мог бы ухитриться и какое-то время поддерживать нашу семью на плаву – но это если он вообще когда-нибудь сюда вернется. А если он не вернется и если учесть, что родители Патрика умерли, а мои находятся в Италии, то вскоре можно будет сказать, что с кланом Макклеллан покончено, его попросту стерли с лица земли.

А тут еще очередной ребенок. Ребенок Лоренцо.

Я так часто вспоминала о том, как все было когда-то, как когда-то жила я сама, а вот будущее всегда оставалось для меня чем-то вроде неясного

пятна. Вплоть до сегодняшнего дня. Зато теперь я начинаю видеть нечто вроде призрачных картин грядущих лет; сперва они, правда, расплываются, точно завитки дыма, но затем «дым» постепенно сгущается, предметы обретают четкие, а порой и острые как бритва контуры и цвета, и я уже вижу себя, бормочущую бессмысленные фразы после того, как мне ввели мною же изобретенную сыворотку. А вот я, уже согбенная, седая, с настолько изуродованными руками, что и сама их узнать не могу, выдираю из земли сорняки на отведенном мне участке поля. Или лежу на койке под тонким одеялом, дрожа от зимней стужи. Или бреду куда-то с пустыми глазами, едва удерживаясь, должно быть, на границе сознания и безумия, и все удивляюсь, куда это они все ушли – Стивен, Сэм, Лео, Соня. И этот, еще не родившийся, младенец.

Я прихожу в себя, лишь когда Лоренцо берет меня за руку и рывком заставляет встать. Только тогда до меня доходит, что все это время я сидела на полу в лаборатории, прислонившись спиной к нижнему ряду пустых клеток из металлической сетки.

– Все хорошо, Джианна, – говорит Лоренцо и своими тонкими пальцами осторожно смахивает с моих ресниц слезы. – Ведь все же хорошо?

– Нет, совсем не хорошо! И ты это прекрасно понимаешь.

– Но будет хорошо.

Мне хочется прижаться к нему, закопаться в него, но я помню о камерах.

– Все. Я уже пришла в себя, – говорю я, встаю, встряхиваюсь и выпрямляюсь. – Давай продолжим.

Когда я впервые начала опыты с лабораторными животными, у меня было одно золотое правило: не давать им кличек. Иными словами, воспринимать их не как своих домашних животных, а исключительно как некое средство для достижения поставленной цели; для того, чтобы добраться из пункта А в пункт В. Например, как пробирки для опытов, или чашки Петри, или стекла для микроскопа – то есть как некий природный материал для естественно-научных опытов и наблюдений. Но когда я держу в руках крошечную мышку, я, прежде чем Лоренцо введет ей то вещество, которое ее либо исцелит, либо убьет, способна думать лишь об одном: о той кличке, которую я бы ей дала.

Джеки. Лин. Джин.

Глава пятьдесят первая

То, что придумал Лоренцо, рискованно, но необходимо.

После того как мы позвонили наверх и попросили прислать кого-нибудь из технических служащих, чтобы в лаборатории произвели уборку, мы быстро написали Моргану очередной отчет о проделанной работе, и я собралась домой. Уходила я первой, и мне, разумеется, предстояло снова пройти через пункт проверки. Там уже появились двое новых солдат, сменившие в полдень предыдущих дежурных, и форма у обоих была идеально отутюжена, а ботинки начищены до нестерпимого блеска, так что в них отражались флуоресцентные лампы вестибюля. Моя сумка вновь проползла сквозь рентгеновскую установку, и меня снова обыскали, хотя и весьма щадящим образом; этот молодой солдатик быстро вел руками вдоль моего тела, деликатно приподнимая их невысокими арками над теми местами, которых мужчине касаться вроде бы неприлично – над грудью, бедрами, ягодицами, животом. Наконец, полностью проверенная и насквозь просвеченная, я вышла на улицу, где еще всю светило майское солнце.

Сегодня 31 мая, думаю я. Мой день рождения. И именно сегодня мой сын Стивен убежал из дома, прихватив, как выяснилось, пачку денег из бумажника Патрика. А еще сегодня я опять поеду в Мэриленд, в нашу «крабью нору», на тайное свидание с Лоренцо.

Из города мы договорились выехать разными путями, и теперь я тащусь по битком забитому автомобилями шоссе на юг, в сторону того хайвэя, который пересекает весь Вашингтон, и через некоторое время проезжаю мимо рыбного рынка, который находится все там же, на берегу. Интересно, думаю я, откуда сюда привозят рыбу. Из штата Мэн? Из Северной Каролины? Вполне возможно. Я стараюсь не думать о тех, кто работает на рыбоперерабатывающих фабриках, потрошит рыбу, очищает от чешуи, упаковывает, замораживает. Возможно, и мне тоже когда-нибудь придется этим заниматься с утра до ночи и без какой бы то ни было оплаты. И меня тоже будет постоянно преследовать рыбная вонь, словно прилипшая к коже...

Лин была не права, говоря, что наша экономика разваливается. Она, может, и не процветает, но тем не менее движется вперед с некой постоянной рабочей скоростью. Производительные силы в нашем государстве отнюдь не разрезали пополам, их всего лишь перегруппировали, перераспределив нагрузки. Мужчин, раньше

занимавшихся неквалифицированным трудом, попросту заменили женщинами или некими «неправильными» людьми, которых представители Движения Истинных сочли недостойными существования в одном с ними обществе. А промышленность – самые разные ее отрасли и в том числе и такая всеобъемлющая отрасль, как органы управления, – прямо-таки охотится на молодых мужчин, только что закончивших университеты, тщательно подбирая даже самых юных и неумелых, лишь бы заполнить те прорехи, которые образовались после ухода с работы женщин; особым спросом пользуются директора, врачи, юристы и инженеры.

Это поистине выдающееся и весьма действенное преобразование всей социальной системы.

Я весь день тщетно пытаюсь заставить себя не думать о Стивене, но мне удалось лишь загнать эти грустные мысли вглубь. И вот теперь моя печаль, точно выбив пробку, изливается наружу, и у меня нет сил обвинять его, хотя мне столько раз хотелось это сделать. Чудовищами не рождаются. Никогда. Ими становятся, причем постепенно – их создают другие, кусок за куском, конечность за конечностью, и те безумцы, которые создают этих искусственных чудовищ, заблуждаются, считая, подобно зашедшему в тупик Франкенштейну, что всегда и все знают лучше других.

Стивен, конечно, далеко не уедет, даже имея при себе ту вполне приличную сумму денег, которую украл у отца. А уж обратный путь домой он отыскать сумеет. Вот то единственное, во что я обязана верить.

Машин на шоссе становится меньше, и это очень кстати, потому что как раз в этот момент я и не выдерживаю, слезы все-таки прорываются и начинают течь у меня по щекам, но мне, к счастью, уже пора сворачивать на ту дорогу, что ведет к Чесапикскому заливу, в любимые края Уильяма Стайрона, где водятся голубые крабы и яхты скользят под парусами по глади вод. Я выбрала самый длинный путь, зато очень спокойный, и это дало мне время немного подумать.

Если наша сыворотка способна излечить от афазии Вернике – а я очень на это рассчитываю, – то я попрошу Моргана разрешить мне послать одну дозу матери в Италию. Эта моя личная маленькая выгода – единственный луч света в расстилающихся передо мной и весьма мрачных перспективах на будущее. Не очень-то много, но все же хоть какая-то малость, позволяющая держаться.

Автомобиль Лоренцо уже стоит на дорожке, ведущей к хижине, и корпус его успел так раскалиться, что воздух над ним дрожит от зноя. Я и

не сомневалась, что он в любом случае приедет первым – можно увезти сумасшедшего итальянского водителя из Италии, но и этим его от привычки к сумасшедшей езде не избавишь. Я специально проезжаю мимо его машины и направляюсь на следующую парковку, где я ни разу не видела ни одного автомобиля с тех пор, как Лоренцо снял эту хижину. Нами давно установлено правило: тот, кто приезжает первым, паркуется возле дома; второму же приходится ставить машину на этой дальней и всегда пустой стоянке. Впрочем, первой я еще ни разу не приезжала.

Лоренцо я застаю на кухне, точнее, в том отсеке, который можно было бы назвать кухней, если бы там помещались не только маленькая раковина, маленькая двухконфорочная плитка и маленький холодильничек для вина и воды. В нашем убежище мы никогда не тратим время на приготовление еды.

Я все спланировала еще во время поездки. Войти, поговорить и выйти. Но стоит ему ласково коснуться ладонью моей правой щеки, как все мои планы летят к черту. И вовсе не Лоренцо ведет меня из кухни в нашу маленькую спальню, темную, с обшитыми деревянными панелями стенами и одним-единственным окном, которое мы никогда не открываем. Я сама беру его за руку, которой он только гладил меня по щеке, и веду его за собой.

В последний раз, когда мы сюда приезжали, у нас вообще никакого разговора не вышло. У меня был на руке счетчик, а Лоренцо, видимо из солидарности, тоже помалкивал. Нет, во время любовных объятий он не шептал мое имя, как это делал Патрик, и не произносил никаких слов жалости или сочувствия. Он просто молчал вместе со мной, двигаясь надо мной и внутри меня. Но и сегодня мы оба по-прежнему молчаливы, ибо наши руки и тела произносят все нужные слова вместо нас, однако в душе меня звенят литавры и трубят трубы победоносного оркестра, звучащего в полную силу.

Завершив первый круг любви, мы начинаем новый, но на этот раз гораздо медленнее, со вкусом, не спеша, словно впереди у нас долгие месяцы и годы любви, а не какие-то считанные часы. Или даже какой-то неполный час.

Когда Лоренцо наконец полностью расслабляется – расслабляется в полном значении этого слова, – он продолжает лежать на мне, накрывая меня своим телом, точно щитом, способным, кажется, полностью заслонить меня от окружающего мира.

– Я могу вывезти тебя отсюда, – вдруг говорит он.

До меня как-то не сразу доходит смысл сказанного им, и он, подтащив

к себе свои джинсы, которые, как и мои, валяются на сосновом полу двумя лужицами голубого денима, вытаскивает из кармана тоненькую бордовую книжечку.

Я сразу же узнаю и это зубчатое колесо, и пятиконечную звезду, окруженную ветвями оливы, символа мира, и дуба, символа силы.

– Как ты его раздобыл? – спрашиваю я, перелистывая новый паспорт. На второй странице моя фотография, но имя другой женщины: Грация Франческа Росси. Возраст примерно соответствует моему.

– У меня есть друзья, – говорит он. – Ну, в общем, такие друзья, которых можно купить.

– Кто такая Грация? – спрашиваю я. Росси – фамилия очень распространенная в Италии, но подобное совпадение с фамилией самого Лоренцо кажется мне чрезмерным. – Твоя сестра?

Лоренцо качает головой.

– Нет. Сестры у меня нет. Грация... была моей женой. – И он, не дожидаясь моего следующего вопроса, поясняет: – Она умерла пять лет назад.

– А-а-а... – Я произношу это таким тоном, словно он сообщил мне нечто совершенно заурядное, вроде того, какая завтра будет погода, или результат Мировой серии по бейсболу, или где будут проходить следующие Олимпийские игры. Но вопросов я больше не задаю, а он не предлагает ответов. – Я не могу уехать, ты же знаешь.

Он не спорит, не приводит никаких аргументов, лишь рука его скользит по моему телу от ключицы вниз и останавливается в дюйме от лобка. И тогда он спрашивает:

– А что, если это девочка, Джианна?

Глава пятьдесят вторая

Что, если это девочка?

Я лежу на боку, обводя одним пальцем золотистую эмблему на обложке моего паспорта, этого невероятно дорогого подарка, уж не знаю, сколько он стоил Лоренцо, этого пропуска на выход из ада. *Нашего* пропуска на выход, думаю я, невольно прижимая свободную руку к своему животу. Всего час назад я вспоминала Стайрона, и вот теперь я сама, словно его Софии^[40], которой было отпущено так мало лет жизни, лежу рядом со своим любимым мужчиной, и между нами буквально в воздухе висит необходимость принять некое ужасное, поистине Соломоново решение.

Кого? Кого мне спасти?

– Мне нужно подумать. Сколько времени ты мне даешь? – спрашиваю я, глядя в полумрак нашей спальни.

Мы оба понимаем, что времени у нас мало. Во всяком случае, у меня его останется совсем ерунда после того, как в понедельник мы проведем свою первую операцию на реальном пациенте.

– Мы, конечно, могли бы немного затянуть проект, – неуверенно предлагаю я. – Выиграть еще несколько недель...

– А тебе этого хватит?

– Нет.

Я вдруг вспоминаю, как мы с Джеки однажды поехали на пляж – это случилось уже больше двадцати лет назад, да и пляж был отнюдь не фешенебельный, во всяком случае, не Бермуды, не Канкун или что-нибудь такое. Мы сумели тогда наскрести денег только на пару ночей в жалком мотеле, из которого даже океана не было видно. И все-таки мы старались хотя бы на несколько дней каждое лето съездить в Рехобот, где пили пиво и всей кожей впитывали солнечные лучи, стараясь за этот короткий срок избавиться от безумной усталости, скопившейся после целого года чудовищной университетской нагрузки. А в тот последний раз, когда с ней туда поехали, я под самый конец радостно сообщила ей, что сумела припрятать кое-какие денежки, и теперь мы можем задержаться еще на денек, а то и на два.

– А тебе этого хватит? – спросила Джеки, посасывая ледяную «Корону», в которую еще и четвертушку лайма выжала.

– Нет, конечно, – засмеялась я.

– Все когда-нибудь кончается, Джини. Раньше или позже. Ты же понимаешь, что невозможно вечно оставаться в радужном пузыре каникул.

Я уже не помню, остались мы тогда еще на один день в том же мотеле или наутро собрались и вернулись домой. Зато я хорошо помню, что, как только мы втащили в свою джорджтаунскую квартирку пляжные сумки с купальниками-бикини и лосьоном для загара, я сразу поняла, насколько Джеки была права: эти два или даже три дополнительных дня на пляже действительно никакого значения для нас не имели, потому что раньше или позже мы все равно оказались бы здесь, в нашей берлоге, и принялись бы выбрасывать из холодильника остатки своих неудавшихся научных экспериментов и проверять скопившуюся почту, быстро утрачивая остатки загара и снова с головой погружаясь в мясорубку академических занятий.

Да, Джеки снова оказалась права. Раньше или позже все на свете кончается.

– А знаешь, – говорю я Лоренцо, – мысль об обратной направленности наших исследований впервые пришла мне в голову, еще когда преподобный Карл предложил мне снова взяться за эту тему. Я тогда почему-то сразу подумала: а ведь он, возможно, просто придумал всю эту историю насчет падения президентского братца и некой травмы, связанной с зоной Вернике. Я, помнится, стояла у себя на кухне и никак не могла отвязаться от мысли о том, что он вполне может использовать результаты моей работы и для совсем иных целей. – И когда я об этом вспоминаю, мне становится так тошно, что я зарываюсь в подушку лицом, мечтая, чтобы она вдруг взяла и поглотила меня целиком.

– Твоей вины тут нет, – говорит Лоренцо.

Да нет, как раз есть! И виновата я не только в том, что тогда, в тот злополучный вторник, подписала контракт с Морганом, толком его не прочитав. Моя вина зародилась еще два десятилетия назад, когда я впервые не пошла голосовать, без конца повторяя возмущенной моим поведением Джеки, что слишком занята, чтобы таскаться на избирательный участок или тратить время на участие в каких-то бессмысленных маршах протеста, или малюя лозунги, или тщетно пытаюсь дозвониться до своего конгрессмена.

– Скажи, что я вовсе не обязана покидать эту кровать, – говорю я Лоренцо. – Никогда, никогда.

Он смотрит на часы.

– Видишь ли, нашим подопытным мышкам нужно еще часа два. А чтобы доехать до лаборатории, нам понадобится минут сорок пять.

– Час, – уточняю я. – Мне-то уж точно. Вспомни, я не Марио

Андретти^[41].

– Значит, у нас максимум час.

Я, разумеется, тут же начинаю ныть, что я не могу, не могу. Но я могу. И на этот раз я не молчу. Я кричу – и голосом, и всем своим телом, впиваясь ногтями в простыни и в плоть Лоренцо. Я кусаюсь, я издаю громкие стоны, я царапаюсь, как дикая кошка после укола амфетамина, я выпускаю из себя все то напряжение, весь тот страх и всю ту ненависть, что накопились во мне и теперь ручьем льются прямо в Лоренцо. И он принимает все это до последней капли, хотя потом кое-что все-таки отдает обратно, когда с силой оттягивает назад мои волосы, яростно впивается мне в губы и в грудь, доводя меня до изнеможения своими поцелуями. Да, это неистовая ярость, смешанная с любовью, это наш двойной вопль, обращенный к остальному миру со всеми его грехами.

Глава пятьдесят третья

Мы даем себе пятнадцать минут на то, чтобы все прибрать и решить, как быть дальше.

– Там есть другая лаборатория, – говорю я, вставая под душ и чувствуя, как сильно начинает щипать мои ссадины, когда их касается горячая вода. Опустив глаза, я понимаю, как истерзано все мое тело. – Боже мой, я выгляжу просто ужасно!

– Ничего не ужасно. Во всяком случае, на лице у тебя все хорошо, даже замечательно. Нет, правда, – уверяет меня Лоренцо, взбивая у меня в волосах мыльную пену. – И ты права: другая лаборатория наверняка существует. Только нам туда ни за что не попасть.

– Но мы должны туда попасть!

Лоренцо ополаскивает мои волосы и предоставляет мне полную возможность самой дальше управляться с тем крысиным гнездом, которое образовалось у меня на голове после мытья. Однако не проходит и двух минут, как он снова протискивается в тесную ванную комнату и, прислонившись бедром к раковине, говорит мне:

– Послушай, Джианна. Даже если нам и удастся проникнуть в эту их другую лабораторию – хотя я считаю, что нам это никогда не удастся, – то как мы будем действовать? Устроим поджог? Нас тут же поймают. Выкрадем их материалы? Это, конечно, можно – но, боюсь, нас с полными руками пробирок еще на пункте проверки остановят эти уроды в армейской форме, и, скорее всего, именно так и случится. И потом, разве кража пробирок с материалами сможет что-то изменить? Это ведь государственный заказ, милая. А государство – это машина, которой ничего не стоит все начать заново. И вы с Лин уже к началу будущего года будете вовсю потрошить рыбу, собственными ногтями вытаскивая из нее внутренности. – Лоренцо ненадолго умолкает, потом прибавляет: – Если ты, конечно, останешься здесь.

Я обдумываю его слова. Он, разумеется, совершенно прав.

– Значит, мы так ничего и не предпримем? – Я вылезаю из-под душа и начинаю вытираться. – Совсем ничего?

– Нет. Мы все-таки кое-что сделаем. Например, выберемся отсюда к чертовой матери.

– У меня дети, Энцо. Четверо. Даже если б я могла оставить Патрика...

Он меряет меня взглядом, задерживаясь на животе, уже немного округлившемся.

– Что ж. У меня тоже есть один ребенок. Может, и я имею право голоса?

– Ты мог бы взять ее... его... это... не важно, кто бы там ни был... и увезти отсюда. – Но я, еще только произнося эти слова, понимаю: поступить так совершенно невозможно. Да и мало ли какие еще суровые обстоятельства могут возникнуть, когда этому ребенку придет время появиться на свет.

– Мы оба прекрасно понимаем, что так делать нельзя, – говорит Лоренцо, но уже гораздо более суровым и решительным тоном. – Решай, Джианна: теперь или никогда.

– Нет, не так. На следующей неделе или никогда. В понедельник у меня назначена биопсия хориона, и к середине недели я должна получить результаты.

– И что?

И прямо здесь, в нашей «крабьей норе», пропахшей потом, спермой и любовью, я принимаю столь важно для меня решение:

– Если это девочка, я поеду с тобой. Так скоро, как ты захочешь.

Лоренцо молча ждет, глядя, как я одеваюсь и причесываюсь. Кажется, он молчит уже целую вечность, но потом все же притягивает меня к себе и шепчет в самое ухо:

– Ладно, Джианна. Все будет хорошо. – В его голосе чувствуется сила, но я-то знаю: про себя он молит бога, в которого мы оба не верим, чтобы генетический анализ показал двойную хромосому X. Чтобы это оказалась девочка.

– Идем, – говорю я. – Нам необходимо вовремя вернуться. Я поеду первой.

Воздух уже немного остыл, и немногочисленные свободные летние домики отбрасывают тень там, где, когда я ставила машину на стоянку, никакой тени не было. Я вставляю в замок ключ, отпираю свою «Хонду», сажусь за руль и все думаю: а за что стала бы молиться я? За мальчика или за девочку? За то, чтобы остаться, или за то, чтобы уехать? Смотреть, как у меня отнимают Соню? А есть и куда более «приятный» сценарий, согласно которому меня заставят смотреть, как некий медбрат в военной форме, следуя приказу, сделает ей инъекцию той *преобразованной* сыворотки, которая вообще лишит ее разумной речи – причем навсегда. Вряд ли мне под силу вынести тот или другой из этих двух, вполне возможных, сценариев.

Я молю бога, в которого не верю, чтобы он дал мне девочку, ибо тогда мне не придется стать свидетельницей того, о чем я только что думала. А потом я молю все того же бога, чтобы это оказался мальчик и мне никогда не пришлось бы расставаться с моей Соней.

Глава пятьдесят четвертая

Лин сегодня так и не появлялась; об этом мне сообщают солдаты на пункте проверки, в третий раз осматривая и ощупывая меня.

– Нет, мэм, ее не было, – говорит мне тот же самый молокосос в начищенных до блеска ботинках, который обыскивал меня, когда я уходила. Над левым нагрудным карманом у него табличка с фамилией: ПЕТРОСКИ, У.

– Мне нужно поговорить с Морганом, – заявляю я.

– С кем?

– С доктором ЛеБроном. – Когда я называю Моргана «доктором», у меня во рту сразу же появляется отвратительный вкус желчи. Он этого звания никак не заслуживает.

А юный сержант Плюнь-и-Разотри по фамилии Петроски сперва проверяет мою сумку, хотя ее уже и без того просветили рентгеном, и только после этого кивает своему партнеру, который звонит Моргану. Тот снимает трубку только после второй попытки, и до меня доносится его недовольный голос:

– Ну что там еще?

Солдат берет у меня мою карточку-ключ, вертит ее в руках, читает мое имя и сообщает:

– Доктор Макклеллан говорит, что ей нужно срочно с вами увидеться.

– Передайте ей, что я занят.

Его скрипучий голос, такой же противный, как визг лабораторной крысы, отчетливо слышится в трубке, которую держит солдат. Вот именно так я и воспринимаю Моргана – как крысу, отвратительную, злобную и не очень-то умную крысу.

– Скажите ему, что мы сейчас будем проверять результаты последнего опыта на мышах, – прошу я солдата. – И перед этим мне бы хотелось коротко изложить ему суть этого эксперимента.

Из трубки снова доносится скрипучий голос Моргана, но на этот раз я чувствую в нем некоторую надежду для себя. И действительно – Морган говорит:

– Хорошо, пошлите ее наверх. С сопровождением.

И через тридцать секунд я оказываюсь в кабине лифта с сопровождающим меня сержантом Петроски – он совсем еще мальчишка, вряд ли намного старше Стивена. По какой-то непонятной причине я

представляю себе этого юнца студентом колледжа, который, как и все они, вечно сосет через соломинку пиво, клянется своим одноклассникам в братской любви и преданности и с трудом заставляет себя встать с утра пораньше и тащиться на первую лекцию по дифференциальному исчислению.

– Вы учились в колледже? – спрашиваю я.

– Да, мэм.

– По какой специальности? – Мне представляется политология, юриспруденция или история.

Мой неожиданный интерес заставляет его несколько напрячься, однако он не отворачивается и не опускает глаза.

– По философии, мэм.

– Они учат вас на занятиях по эпистемологии из этих штук стрелять? – спрашиваю я, кивая на табельный пистолет у него на ремне, и ожидаю, что он взвзвывается и заявит, что это не мое дело. «А теперь следуйте за мной, мэм. Смотреть здесь не на что».

Но ничего подобного он не делает. Хотя его нижняя губа обиженно вздрагивает, и я вижу, что внутри этой ловко сидящей армейской формы с табличкой «сержант Петроски» совсем еще ребенок.

– Нет, мэм, – все же отвечает он.

Старая поговорка гласит: *Крепче держи верхнюю губу*, но я смотрю на отражение Петроски в стальной полированной стенке лифта и думаю, что не о верхней губе ему надо беспокоиться. Его нижняя губа выдает его с головой. И вообще, это неправильная поговорка: весь наш ужас всегда выдает именно нижняя губа. Каждый раз выдает.

Я решаю больше его не мучить и не задавать никаких вопросов. Петроски, в конце концов, всего лишь мальчишка, просто свернул куда-то не туда на своем, пока еще не слишком длинном, жизненном пути, ошибочно приняв некий знак за указатель правильного направления. Не так уж сильно он отличается от Стивена. Впрочем, Стивен, пожалуй, сделал небольшой крюк, все же повернул бы обратно. Может, и этот еще повернет?

– Время еще есть, – говорю я, сама толком не понимая, с кем говорю – с этим юным солдатом или с самой собой.

Лифт останавливается, его дверцы разъезжаются в стороны, в свои потайные карманы, и одновременно с этим механический голос – как оказывается, женский – сообщает: «Пятый этаж». Петроски слегка поворачивается и, вытянув руку, показывает, что пора выходить. Я выхожу,

и все это происходит так быстро, что я чуть было не пропускаю самое важное: он три раза медленно моргает, глядя прямо на меня.

Моргните один раз, и это значит «да», а два раза – «нет».

Или три раза, если не принадлежите к ИСТИННЫМ.

Я резко вскидываю на него глаза – это мое движение, правда, могут засечь камеры наблюдения, но, если и засекут, я всегда смогу что-нибудь придумать: жучок в глаз залетел, ресница выпала, соломинка попала...

– Идемте, – говорю я.

Днем в субботу в коридоре пятого этажа должны были бы существовать одни привидения; все эти генералы и адмиралы, думаю я, наверняка уехали играть в гольф, или гонять теннисный мяч, или играть в хорошо оборудованном подвале своего особняка в «Axis and Allies»^[42]. Но, к моему удивлению, все двери кабинетов открыты, и в каждом из них за столом сидит человек, занятый делом и сосредоточенный.

Третья от лифта дверь справа украшена бронзовой табличкой «УИНТЕРЗ, ДЖ». За ней в глубине кабинета сидит за столом тот же самый человек, которого я видела вчера днем. Он поднимает голову – мое появление явно отвлекло его от работы, – хмурится и вновь погружается в чтение каких-то бумаг. И я вспоминаю, что фамилию «Уинтерз» я вчера ночью обнаружила в списке членов Золотой команды.

– Вот мы и пришли, – говорит сержант Петроски. Он стучится – резко, по-военному, три раза, – и из-за закрытой двери раздается голос Моргана:

– Войдите.

Петроски поворачивается, сверкнув отполированной обувью (помоему, у него даже каблуки начищены до блеска), и говорит:

– Удачи, мэ. С вашим проектом, я имею в виду. Я провожу вас обратно, как только вы закончите.

Морган встает, когда я вхожу, предлагает мне сесть и нажимает на кнопку в своем настольном телефоне.

– Энди, принесите кофе на двоих. – Он смотрит на меня. – Молоко? Сахар?

– Просто черный, – говорю я, улыбаясь ему в ответ. Если он пребывает в великодушном настроении, почему бы не подыграть ему, даже если его глаза и впрямь удивительно похожи на глаза той лабораторной мыши, которой Лоренцо сегодня утром делал инъекцию?

Он передает своему секретарю мои пожелания насчет кофе и снова садится за стол; свое рабочее кресло он специально подкрутил так, чтобы сидеть как можно выше. Наверное, думаю я, ему же страшно неудобно

сидеть так высоко, у него же ноги в воздухе болтаются, потому что до пола он точно не достает.

– Итак, у вас явный прогресс?

Я смотрю на часы, висящие у Моргана над головой.

– Мы это узнаем через тридцать минут. Где Лин?

Это для него явно *non sequitur*^[43], так что он сразу даже не находит, что мне ответить; такое ощущение, словно кто-то сперва предложил ему мороженое, а потом принес анчоусы и тунца и предложил выбирать. Пока он пытается сообразить, что бы такое сказать, уголки его губ движутся совершенно произвольно – сначала вниз, затем выпрямляются и, наконец, снова приподнимаются, когда он, словно не слыша моего вопроса, радостно восклицает:

– Но это же просто замечательно! Как вы думаете, мы сможем завершить работу уже завтра?

– Наша первая экспериментальная операция назначена на понедельник.

– Перенесите ее на завтра, – просит он и прибавляет: – Если, конечно, это возможно, Джин. Только если это возможно.

Я отлично умею притворяться пай-девочкой. Ему что-то нужно от меня; мне что-то нужно от него, и я говорю уверенно:

– Вполне возможно.

И Морган вздыхает с явным облегчением. Энди тихонько стучится и вносит поднос с кофе.

– Позвольте мне поухаживать за вами, – говорю я, наклоня кофейник над двумя белыми кружками с синей эмблемой «И». – Знаете, мне очень жаль, что я на вас тогда накричала.

– Ничего, мы все сейчас переживаем серьезный стресс, Джин. Ну что, мир?

Конечно. Мир. Я едва сдерживаюсь, чтобы не напомнить Моргану, что в некоторых языках слова «мирный» и «покорный» в смысловом отношении практически идентичны, и все же вряд ли имеет смысл их смешивать. Но, увы, сейчас этот у блюдок мне слишком нужен.

– Я вынуждена просить вас о небольшом одолжении, Морган. У моей матери произошел разрыв аневризмы. В левом полушарии. В зоне Вернике.

Морган настороженно прищуривается, но пока ничего не говорит.

Трудно сказать, есть ли в его глазах хоть капля заинтересованности, или сочувствия, или недоверия, так что я стараюсь не терять ни секунды, хотя и нащупываю путь весьма осторожно, шаг за шагом.

– Вот я и подумала, нельзя ли и ее внести в список испытуемых, раз

уж мы все равно начинаем клинические испытания?

– Разумеется, можно. Привозите ее завтра сюда и все устройте.

– Ну, – говорю я, – устроить все как раз довольно трудно. Она ведь в Италии.

Морган откидывается на спинку кресла, опершись обеими локтями о подлокотники, и закидывает ногу на ногу, словно пытаясь занять как можно больше пространства.

– В Италии?.. – повторяет он.

– Да. Это, знаете ли, страна пиццы и сногшибательного кофе. – *В отличие от той дряни, которую притащил Энди.*

– Тут у меня возможны проблемы, Джин. Отношения между нами и Европой... – он ищет подходящее слово, – не слишком хороши...

Ну типичный Морган! Из всех английских слов, способных определить отношения Америки с Европой – «ослабленные», «натянутые», «проблематичные», «напряженные», «противоречивые», «враждебные», «неблагоприятные» и т. д., – он выбирает самые нейтральные: «не слишком хороши».

Однако ему все же хочется пояснить, и при этом глаза его непроизвольно ползут куда-то вверх и влево – верный признак того, что он либо врет, либо что-то скрывает; только вряд ли сам Морган знает об этом своем предательском тике: большинство лгунов о таких вещах даже не подозревают.

– Вы же понимаете меня, верно? Понимаете, что при нынешнем политическом климате мы не можем просто так послать столь ценный продукт в Европу.

Мой кофе с каждым глотком становится все более горьким на вкус.

– А что, если вы пошлете меня? Я могла бы ввести сыворотку и...

– Ха! – Это короткое словечко в его устах больше похоже на лай. – Вам же прекрасно известны правила поездок за границу! – И чуть более мягким тоном, словно оправдываясь, он прибавляет: – Нет, к сожалению, это совершенно невозможно.

Как я могла забыть?

– Ну, хорошо. Но тогда, может быть, Лоренцо? Ему такие поездки вполне разрешены.

Морган только головой качает с таким выражением лица, словно теперь ему предстоит объяснить ребенку некую сложную математическую конструкцию или некую философскую концепцию, столь далекую от его способности воспринимать подобные вещи, что, с точки зрения Моргана, даже самая поверхностная попытка разобраться с ним эту концепцию

совершенно ни к чему не приведет.

– Он же итальянец, Джин. У него европейское гражданство.

– Он один из нас, – возражаю я.

– Не совсем.

– Так дело в этом?

Он начинает нервно шуршать бумагами у себя на столе – типичное поведение Моргана, когда он хочет сказать, что аудиенция окончена.

– Извините, Джин. У меня дела... Вы, пожалуйста, позвоните мне, когда ваши мышки будут готовы, хорошо?

– Конечно. – Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но напоследок снова спрашиваю: – А где же все-таки Лин?

– Понятия не имею, – говорит он, и снова его глаза ползут вверх и влево.

Глава пятьдесят пятая

Пока я снова спускаюсь на лифте на первый этаж, в голове у меня жутковатыми виньетками вспыхивают самые разные видения.

Врачи во Франции, у которых головной мозг будет поврежден в определенном месте, окажутся не способны даже следовать инструкции на бутылке с дезинфицирующей жидкостью для рук, не говоря уж о том, чтобы дать совет пациенту, или выписать рецепт, или провести хирургическую операцию. Немецкие биржевые маклеры будут с удовольствием советовать клиентам «Копайте!» вместо «Покупайте!», а вместо «Продавайте!» кричать «Вилка!». Испанский пилот, ответственный за безопасную доставку двухсот пассажиров, воспримет предупреждения воздушного диспетчера как дурацкую шутку и будет смеяться, когда его самолет нырнет в воды Средиземного моря. И так далее, и тому подобное, пока весь континент не утонет в хаосе безъязычия, готовый к тому, чтобы над ним установили господство.

– Вы дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится, – говорит сержант Петроски, когда мы с ним выходим из лифта на первом этаже, и, не оглядываясь, сразу же отправляется на свой пункт проверки, поскольку в дверь как раз один за другим входят пятеро мужчин.

Ага, значит, мы с Лоренцо не единственные, кто сегодня работает. *Quelle* гребаный сюрприз!

И я отправляюсь вниз, в свою лабораторию, каждую секунду испытывая такое ощущение, будто понемногу спускаюсь в ад. Лоренцо я нахожу сидящим перед двумя клетками с подопытными мышами. Он просматривает какие-то записи.

– Группа № 1, – тихо сообщает он мне.

Больше ничего прибавлять не нужно. Клетка под номером один – это сейчас просто какой-то мышиный цирк. Двенадцать резвых игривых грызунов что-то весело пицат, суетятся, кружат по клетке, и все их маленькое мышиное сообщество занято так, словно собралось на церковное собрание. А в клетке номер два лежат двенадцать безжизненных созданий, и их мохнатые тельца уже застыли в смертном окоченении.

Я ненавижу себя за то, что дала им имена.

Мыши не обладают речевыми способностями, но нам от них этого и не нужно, во всяком случае, для заключительного опыта. Благодаря предыдущей работе Лин – спасибо ей большое! – мне не пришлось

принимать участие в экспериментах с подопытными человекообразными обезьянами, ибо два года назад мы уже выделили нейролингвистические компоненты нашей сыворотки. А сегодняшний эксперимент с мышами служил одной-единственной цели: проверить воздействие двух различных нейропротеинов, которые сумел выделить Лоренцо. Никто из нас не хотел бы ввести человеку сыворотку, которая может оказаться ядом.

Но ведь именно это, конечно же, в итоге и произойдет.

Я сажусь рядом с Лоренцо, вытаскиваю у него из папки чистый бланк для лабораторных отчетов и мелкими буквами пишу в верхнем уголке листа одно-единственное слово, старательно прикрывая его ладонью.

Биооружие.

Убедившись, что он это слово прочитал, я сминаю листок и через внутреннюю дверь отправляюсь в биохимическую лабораторию. Лоренцо идет следом, а потом мы вместе смотрим, как этот листок сперва желтеет, затем чернеет и наконец исчезает в голубом пламени газовой горелки.

– Ты уверена? – Лоренцо снова включает воду на полную мощность, растерянно глядя на кучку пепла.

– Нет. Но, по-моему, смысл в этом есть. – Я рассказываю ему о своем разговоре с Морганом. – Подумай хорошенько, Энцо. Проект анти-Вернике, проект Вернике и проект растворимости нашей сыворотки в воде. Инъекции требуют времени – нужно собрать людей в каком-то одном месте, нужно обучить медперсонал. При этом всегда возникает определенная возможность сбежать, спастись. А вот если заразить городское водоснабжение, то эффект будет не хуже, чем после взрыва нейтронной бомбы. – Я щелкаю пальцами. – Хоп, и готово. Причем совершенно беззвучно.

– Но это же безумие, – говорит Лоренцо.

– Так преподобный Карл и есть безумец. И, между прочим, – я тщательно вытираю поверхность лабораторного стола, чтобы не осталось никаких следов сожженной бумаги, когда мы позовем сюда Моргана, – наш бесстрашный вождь пожелал назначить экспериментальную операцию на завтра.

– Быстро же они продвигаются.

– Да. Очень быстро.

Я предоставляю Лоренцо возможность звонить Моргану по интеркому, чтобы не быть вынужденной снова разговаривать с этим сукиным сыном, раз в том нет абсолютной необходимости. А сама пока подготавливаю пробирки с первой нейропротеиновой сывороткой и заполняю сегодняшний бланк отчета. Мышей – мертвых, конечно, – я убираю в холодильник,

чтобы Лин потом, когда, наконец, доберется до лаборатории, смогла немного поколдовать над их трупиками.

Если, конечно, она вообще когда-нибудь сюда доберется.

– Лин ничего тебе вчера не говорила? – спрашиваю я, когда Лоренцо заканчивает разговор с Морганом.

Он качает головой, потом вспоминает:

– Говорила, что собирается встретиться с какой-то своей подругой и вместе с ней пообедать.

– С какой подругой?

– Ты помнишь Изабель?

– Как я могла ее забыть? – удивляюсь я.

Изабель Гербер обычно слонялась у нас в отделе все то время, когда была свободна от преподавания «продвинутого» испанского. Приехала она из Аргентины, но по происхождению была швейцаркой. Очень высокая, по крайней мере на фут выше Лин, Изабель всегда носила свои чудесные белокурые волосы распущенными, и они водопадом струились у нее по спине. Говорила она, чуть-чуть – и, на мой взгляд, очаровательно – шепелявя. Вместе эти две женщины годились, пожалуй, для какого-нибудь плаката «единство и борьба противоположностей», потому что, во-первых, они были образцовыми примерами в абсолютно разных областях, а во-вторых, на редкость хорошо ладили и подходили друг другу, как подходят друг другу только давно живущие вместе любящие супруги.

Эта идиллия продолжалась вплоть до прошлого года, когда им пришлось разорвать свой союз, дабы не оказаться отправленными в лагерь, и с тех пор они больше никогда даже не разговаривали друг с другом. Да им, собственно, и разговаривать-то было бы весьма затруднительно, поскольку им обеим надели на запястья счетчики слов.

– Надеюсь, они будут вести себя достаточно осторожно, – говорю я, внутренне корчась при одной лишь мысли о том, что Лин, умнице Лин, обладающей таким огромным интеллектом и таким крошечным хрупким телом, придется отрабатывать свои грехи тяжким ручным трудом. Джеки, пожалуй, вполне способна справиться с этими «исправительными работами», будь они прокляты. Но Лин – не Джеки. И тут в мою душу прокрадывается еще одна, совсем уж отвратительная мысль: «А что, если за всеми нами постоянно следят?»

Я вытряхиваю из головы эту мысль – теперь там нет места вообще ни для каких мыслей, я просто не оставила ни одного свободного нейрона, которым могла бы сейчас пожертвовать, – и в ожидании Моргана тщательно смываю с рук ощущение мертвых мышей.

– Итак. В понедельник? – спрашивает Лоренцо. Он явно имеет в виду не работу.

– В понедельник. В полдень.

Настенные часы в лаборатории показывают пять часов. Значит, у меня осталось менее двух суток, чтобы принять решение, которое, насколько я понимаю, будет необратимым.

Мои родители, мой будущий ребенок, который сейчас размером всего с апельсин, и Лоренцо – все они на одной чаше весов. А на другой чаше – Патрик и четверо моих детей. Какой бы выбор я ни сделала, над каждым из них, точно грозовая туча, висит свой вариант судьбы; и оба эти варианта, очень отличные друг от друга, кажутся одинаково неизбежными: я могу либо остаться здесь и ждать, когда преподобный Карл в очередной раз повернет маховик в своей ужасной игре, либо уехать вместе с Лоренцо и, сидя в первом ряду, на самых лучших местах, смотреть, как Европа валится на колени.

Лоренцо, и так стоящий совсем рядом, приближается еще на дюйм, и этого достаточно, чтобы наши руки соприкоснулись. Ах, какое это настоящее, какое чудесное ощущение – когда он гладит меня по руке своими длинными пальцами!

Вот только этого недостаточно.

Глава пятьдесят шестая

Уже почти семь часов вечера, когда я, наконец, сворачиваю на нашу подъездную дорожку. Небо еще совсем светлое, и просто невозможно себе представить, какие темные холодные дни наступают с приходом зимы.

Но темные дни непременно наступят. Зима всегда приносит и тьму, и стужу.

Патрик придумал для Сони и близнецов некую белую ложь насчет отсутствия Стивена – я, впрочем, не совсем уверена, что эта ложь такая уж белая, – и, похоже, совершенно их успокоил, именно поэтому они сейчас так увлеченно играют в три настольных игры одновременно и отнюдь не горюют из-за того, что их старшего брата нет дома. Соня все же на минутку отрывается от игры и подбегает, чтобы обнять меня.

– Я выигрываю! – гордо сообщает она. – Опять!

Удивленно подняв бровь, я перевожу взгляд на Патрика, и он объясняет, быстро глянув в сторону детей и целого леса пластмассовых фигурок на столе:

– Я им сказал, что Стивен на пару дней поехал в гости к одному своему приятелю. Сэм, Лео, присмотрите пока за сестренкой, а мы с мамой немного погуляем по саду.

– Мы пойдем гулять? – спрашиваю я.

– Да, Джин, пойдем. Возьми-ка, – он протягивает мне только что откупоренную бутылку пива, – тебе, возможно, это пригодится.

Джин. Не «детка», не «милая», а «Джин». Значит, настроение у Патрика деловое. А может, он просто трусит? Что ж, вполне возможно. За последние двадцать четыре часа я совершила, по крайней мере, два преступления. Или даже больше, если еще считать мои фокусы с почтой.

– Пошли. – Открыв заднюю дверь, Патрик ведет меня в самую дальнюю часть сада, как можно дальше от дома, а потом спрашивает: – Ты ничего не хочешь мне рассказать?

Я нервно сглатываю. Я не уверена, что хуже – то, что я украла конверт с планами проектов и тайком их прочла, или то, что я сегодня полдня провела с Лоренцо? Или еще то, что я уже два с половиной месяца беременна? *И об этом тебе, Джин, ни в коем случае забывать нельзя!*

Патрик смахивает со лба соломенную прядь волос.

– Слушай, Джин. Я ведь знаю, что ты была у меня в кабинете.

– Я просто хотела поговорить с отцом по скайпу, – пытаюсь

вывернуться я.

– Неплохо, детка, но не подходит. Я проверил список вызовов по тому телефону, что на кухне.

Ну что ж. По крайней мере, мы вернулись к «детке».

Он садится на край скамьи и тянет меня за руку, чтобы я села рядом. Я невольно пячусь, и он усмехается:

– Я вроде бы не кусаюсь.

Моя правая рука машинально ползет к горлу, и я плотней закрываю шею воротником – просто на тот случай, если я притащила домой «сувениры» в виде синяков после нашего с Лоренцо свидания в «крабьей норе».

– Хорошо-хорошо, – торопливо говорю я и сажусь рядом с Патриком.

– Я однажды видел, как казнили человека, – говорит он, глядя прямо перед собой в заросли азалии, которые теперь, поздней весной, давно уже отцвели и утратили свои буйные краски. – Это было в прошлом сентябре. Точнее, первого сентября. В два часа двадцать три минуты пополудни.

Я не знаю, что на это сказать, и задаю первый же вопрос, который у меня возникает:

– Ты даже время помнишь? Да еще так точно?

– Да. До этого я никогда не видел, как убивают человека – мужчину или женщину, все равно. Да я, черт побери, никогда не видел даже, как убивают животных. Видишь ли, это зрелище как бы навсегда застревает в башке, и никуда от него не деться. В общем, этот парень был из моего офиса. Младший научный сотрудник, занимался связями нашей администрации с другими организациями вроде Национального Научного Фонда, Центра по контролю и профилактике заболеваний и так далее. Этот Джимбо любил вместо названий этих организаций пользоваться аббревиатурами, ставя нас в тупик. Вообще-то его звали Джим Борден, но мы дали ему прозвище Джимбо. Хороший парень. У него была молодая жена и девочка примерно Сониных лет или, может, на год моложе. А еще он любил рассказывать всякие смешные истории. Вот и все, что я о нем помню. Разве это не смешно, Джин?

Нет, это совсем не смешно, но я киваю.

Патрик делает глоток пива и вытирает губы.

– У него, у Джимбо, было еще одно смешное свойство: он все время моргал. То есть моргал, словно у него ресничка в глаз попала или пылинка. Моргал он обычно три раза. Морг, морг, морг. И как-то так, что не все это замечали. Зато я эти его моргания видел очень даже часто. Ты когда-нибудь видела, чтобы люди так моргали?

Я киваю.

– Да-а... Но, в общем, этот Джимбо большую часть времени ходил, опустив голову, шуршал своими бумажками и делал бесконечные копии. И каждый день часа в три куда-то уходил, говоря, что у него важная встреча с одним человеком на противоположном конце города. Сперва он что-то долго складывал в свой портфель, а потом сразу исчезал. Не знаю уж, замечал ли это кто-нибудь еще, сначала, по-моему, нет. Интересно, что его портфель, когда Джимбо возвращался назад, выглядел куда более легким. Это было заметно по тому, как он им размахивал. Но я никогда и никому об этом не говорил. Никогда и никому.

Мое пиво уже стало совсем теплым, и пить мне его совсем не хочется. Я ставлю бутылку на бордюр и, повернувшись к Патрику, говорю:

– Но ведь кто-то же его засек?

– Кому-то всегда удается их засечь, детка. Всегда. Раньше или позже, а ты все равно засыплешься, черт побери! – И, помолчав, Патрик решает пояснить: – Я не тебя, детка, имею в виду. «Ты» – это я в общем смысле. – Он ласково треплет меня по руке, и я снова замечаю только одно: какие чистые у него руки. – Он-то наверняка чувствовал, что это вот-вот случится. Джимбо то есть. Потому что за неделю до того, как его расстреляли, он пришел ко мне. И прямо спросил, неужели я такой же «истинный», как все. – Патрик как-то очень невесело усмехается и спрашивает: – Кое-кому, наверное, я кажусь очень даже неплохим человеком, а ты как думаешь?

– Да. Я тоже считаю тебя очень даже неплохим человеком. – Плохим мне Патрик никогда не казался, просто каким-то чересчур тихим, покорным, боящимся лишнее слово вымолвить. Но вслух я этого, разумеется, не говорю. Я уже понимаю, к чему он клонит.

– Джимбо кое-что мне оставил, прежде чем его вывели из офиса в наручниках. Всего лишь некое имя и некий номер телефона. Сказал, что я сам решу, выходить мне с этим человеком на связь или нет, но он надеется, что на связь я все-таки выйду, хотя и нисколько меня не осудит, если я отойду в сторонку. Вот так я и вышел на связь с Дэлом. Ты сама видела, что с ним случилось сегодня утром.

– Да, видела.

– Теперь его расстреляют, понимаешь, Джин? Как расстреляли Джима Бордена. Тогда они засунули нас в автобус. Точнее, в два автобуса. И повезли в Форт Мид, но ни слова не сказали о том, куда и зачем мы едем. Ходили слухи, что они так поступают специально, имея целью еще больше «сплотить команду». Этаким командный тренинг. А Джимбо до сих пор

стоит у меня перед глазами. Каждый божий день ровно в два двадцать три пополудни я снова и снова вижу его, прикованного к столбу и спокойно глядящего на всех нас. И преподобный Карл снова и снова зачитывает свое бесконечное «святое писание». Глори, глори, черт побери, аллилуйя! Мы, ребята, поймали лису в курятнике! И, как вам известно, есть только один способ должным образом наказать лису-воровку... Томас – ты помнишь Томаса, Джин? – именно он, этот сукин сын, и расстреливал Джимбо. И никакого тебе следствия, никакого тебе суда, никакой последней просьбы приговоренного. Они же, так их мать, попросту убили его там, на стрельбище в Форт Мид. Я видел, как Джимбо сполз по столбу на землю, потому что был прикован к нему наручниками, и лежал, истекая кровью, там, на жалкой полоске песка, уже и без того покрытой темно-красными пятнами засохшей крови. А я все стоял и смотрел...

Патрик перегнулся через меня, взял мое пиво и залпом осушил всю бутылку.

– Вот поэтому я тебе ничего и не говорил. Когда они придут за мной, будет лучше, если ты ничего знать не будешь. «Когда. Не если».

– Но ведь я уже знаю.

– Думаю, кое-что ты знаешь, детка. Думаю, да.

– А Стивен? – Мне не хочется задавать этот вопрос, но удержаться я не могу. – Если Стивен доберется до Северной Дакоты, если они его найдут...

Вместо ответа Патрик наклоняется, сгибаясь почти пополам, и закрывает лицо ладонями.

Глава пятьдесят седьмая

Никакой любви в эту ночь. И все-таки любовь меж нами жива.

Мы укладываем спать троих младших детей и про себя желаем Стивену вернуться назад, пока еще не слишком поздно. Затем Патрик укладывает в постель и меня. Затем ложится сам и, буквально обвив меня своим телом, шепчет:

- Тебе нужно выбираться отсюда. Любым способом, каким сможешь.
- Но я не могу, – шепчу я, хотя знаю, что на самом деле это не так.
- У тебя ведь есть подходящие знакомые, верно? Например, тот итальянец, что в вашем отделе работал?

Так вот, оказывается, на что это похоже, когда твой собственный муж сам санкционирует твою любовную связь!

Я выбираюсь из постели и беру Патрика за руку.

– Давай выпьем.

По пути на кухню я все еще пытаюсь придумать подходящую историю, не всю, конечно, и не самый ее конец, но я уже знаю, с чего начать. А начать вполне можно и с правды. Я беру два стакана и наливаю в один на дюйм чистого скотча для Патрика, а во второй практически одну воду – для себя.

– Никакой граппы сегодня? – удивляется он.

Во мне все готово вот-вот выплеснуться наружу. И тот первый день в кабинете Лоренцо, когда он показывал мне музыкальную шкатулку, а я смотрела только на его длинные музыкальные пальцы и представляла себе, как они будут играть на моей коже. И то ощущение старости, которое я вчера испытала, глядя на Стивена, который еще совсем недавно был таким милым малышом, а теперь вдруг стремительно повзрослел. И та скука, которая постепенно овладевала мной после многих лет однообразного секса с одним и тем же мужчиной. И, наконец, мой гнев из-за чересчур пассивного, как мне казалось, поведения Патрика, та случайная встреча с Лоренцо на Восточном рынке. И новый ребенок. И мой новый паспорт.

Вот только прежде чем выпалить все это, я должна крепко подумать.

И я думаю, как буду говорить обо всех этих вещах, и мои слова станут рикошетом отлетать от плитки на стенах нашей кухни. В реальной действительности вечного движения не существует; вся энергия вскоре бывает либо поглощена, либо преобразована в некую иную форму, изменив свое состояние. Но те слова, которые я готова вот-вот спустить с поводка,

никогда не будут ни поглощены, ни преобразованы. Каждый слог, каждая морфема, каждый отдельный звук будут вечно звучать в этом доме, эхом отдаваясь от его стен. Они будут постоянно преследовать нас, как та вредная тучка, что преследовала героя мультфильма «Розовая пантера». И Патрик будет все время чувствовать их ядовитое воздействие, точно уколы неких невидимых отравленных дротиков.

Но на самом деле все оборачивается совсем не так, и получается, что ни о чем рассказывать мне не нужно.

– Я думаю, тебе следует уехать с ним. – Патрик говорит это так, словно только что прочел все эти мысли по моим глазам. – С этим итальянцем.

Наверное, я должна была бы вздохнуть с облегчением, ведь он только что избавил меня от необходимости произносить все это вслух, думаю я. Но мне почему-то становится только хуже, когда я слышу это предложение из уст Патрика и внезапно осознаю, до чего хорошо все-таки он меня знает, и это отнюдь не следствие слезки, а результат многолетней и очень тесной близости. Голос его звучит холодно, но этот несколько искусственный холод делает смысл каждого слова еще более отчетливым и острым. Я тянусь к нему, кладу руку ему на плечо, и происходят две вещи:

Он ласково накрывает мою руку своей рукой. И отворачивается.

Так мы и стоим, отвернувшись друг от друга – супружеская пара средних лет, давно пребывающая в браке, – и вокруг неприбранная кухня, в раковине отмокает сковородка, оставшаяся после обеда, а кофеварка, похоже, готова сразу прийти в движение, едва наступит утро. Все здесь привычно, нормально, обычно для нашей долгой совместной жизни.

Патрик первым отстраняется от меня. Нет, даже не отстраняется, просто решает заняться чем-то обыденным – смахнуть с кухонной стойки крошки хлеба или проверить, отмокла ли наконец сковородка. И все же в этом его движении слишком много иного смысла. Когда же он снова поворачивается ко мне, то мне кажется, что привычная морщина в форме перевернутой буквы «V» у него на лбу стала еще глубже, она точно высечена в коже.

– Возьми с собой Соню, – тихо говорит он. – А я пока останусь с мальчиками и постараюсь что-нибудь придумать.

– Патрик, я...

Теперь его очередь утешать, но рука, которую он кладет мне на плечо, кажется невероятно тяжелой.

– Не надо, Джин. Вообще-то, я бы предпочел оставить все... – он вздыхает, – ну, я не знаю. Наверное, я бы предпочел, чтобы мы с тобой

вообще никаких отношений не выясняли. Достаточно тяжело даже просто знать. Согласна?

Я просто не знаю, что на это ответить, и старательно заталкиваю собственную боль как можно глубже, куда-то в темноту, чтобы потом, наедине с собой, во всем разобраться и почувствовать, как больно жалит ее ядовитое жало. Во всяком случае, сейчас Патрику вовсе не нужно знать о моем будущем ребенке.

– А что же ты будешь делать?

– Я же сказал: я что-нибудь придумаю. – И морщина у него на лбу, которая, как мне казалось, уж никак не может стать глубже, все-таки становится еще более глубокой и резкой.

– Что же ты можешь придумать? Ведь тебе известны их планы, верно? Эти гады хотят создать новую разновидность сыворотки, которая растворялась бы в воде. И как долго, по-твоему, мы в таком случае сумеем продержаться? В Италии или где бы то ни было еще? Ведь вскоре они добьются того, что во всем этом проклятом мире останутся только Истинные, отмеченные значком с синей буквой.

На это у Патрика явно нет ответа.

Зато у меня он есть. И мне вовсе не нужно, чтобы Патрик с его политической прозорливостью подсказал мне то, что я и так уже поняла. И меня ничуть не обманули все эти улыбки и реверансы Морган, все эти «Не хотите ли кофе, Джин?». Я теперь для них столь же бесполезна – или вскоре стану таковой, – как пустой тюбик из-под помады. И все кончится в тот самый момент, когда мы проведем первую экспериментальную операцию с применением новой сыворотки. Работа в лаборатории еще некоторое время будет держать меня на плаву, пока мы не сделаем первую успешную серию операций с применением сыворотки, а они окончательно не убедятся, что я им больше не нужна. А случится все примерно так.

Я буду у себя в кабинете – возможно, буду сидеть за столом, на котором нет телефона, или стоять у стены, где должно было бы быть окно, но там его нет, – и в дверь постучится Морган. Точнее, я услышу некое тихое царапанье, но это исключительно «из вежливости», потому что помешать ему войти я никак не могу, никак не могу помешать кому бы то ни было вторгнуться в мое личное пространство – ведь в двери моего кабинета нет замка.

– Доктор Макклеллан, – скажет Морган, возможно, как-то особенно подчеркивая мое научное звание, но это либо потому, что он устал его повторять, либо потому, что он может наконец вздохнуть с облегчением,

ибо больше ему это мое звание произносить не придется, – прошу вас, пойдёмте со мной.

И это будет отнюдь не приглашение.

Мы пойдём по тому же коридору на пятом этаже с табличками на дверях кабинетов, и Морган будет старательно перебирать своими короткими ножками, чтобы идти не просто рядом со мной, а чуть впереди, и в этом будет то ли его желание главенствовать во всем, то ли просто боязнь посмотреть мне в глаза, но, скорее всего, то и другое.

Наконец я все же спрошу у него, куда мы идем. Предстоит еще одно обсуждение? Неужели в нашей сыворотке обнаружались некие недостатки? Хотя на самом деле мне хочется спросить только одно: «Я ведь следующая, не так ли?» Но этого вопроса я так и не задам.

Если я сейчас уеду с Лоренцо, то стану Грацией Франческой Росси. Я буду делать покупки на фруктовых рынках и в мясных лавках, регулярно навещать своих родителей и заниматься любовью с человеком, который только на бумаге является моим мужем. А однажды, возможно через несколько недель или месяцев, я вернусь после приятной прогулки по улицам старого Рима и выпью стакан воды у себя на кухне, как делаю это сейчас...

И мне снова вспомнились слова Джеки, такие банальные, но такие правдивые.

Все когда-нибудь кончается, Джини. Раньше или позже.

– Вода, – говорю я Патрику.

Он наливает мне еще стакан воды, не понимая, что я имею в виду. Хотя я ведь и сама только сейчас все поняла.

– Что бы ты сделал, чтобы избавиться от них насовсем? – спрашиваю я. – Чтобы вернуться к тому, чтобы все было как прежде?

И снова я слышу голос Джеки:

Подумай, на что ты готова пойти, чтобы остаться свободной.

Патрик допивает свой скотч, смотрит, сколько осталось в бутылке, и наливает себе еще на палец. В итоге мне приходится отобрать у него бутылку, иначе вся стойка будет залита виски – так сильно дрожат у него, обычно такого спокойного, руки.

– Все, что угодно, – говорит он и жадно глотает виски. – Да, все, что угодно.

«Все, что угодно» – это забавное маленькое выражение, которым слишком часто пользуются, но крайне редко воспринимают его буквально. *Я бы сделал все, что угодно, лишь бы сходить с ней на свидание. Я заплачу сколько угодно, чтобы сидеть на этом концерте в первом ряду. Возьми*

себе все, что угодно. Мне ничего не нужно. Это выражение почти никогда не используется «на полную катушку».

Я наклоняюсь над стойкой, и теперь мое лицо совсем близко от лица Патрика, так что я чувствую в его дыхании сладковатый запах виски, а наши носы почти соприкасаются.

– А ты мог бы убить человека? – спрашиваю я.

Патрик застывает как изваяние. Он даже не моргает. И, по-моему, даже не дышит.

Мне приходится напомнить себе, что представляет собой Патрик. Тихий парень. Из числа тех, кто не хочет быть ни во что замешанным, кто всегда предпочитает рассуждать о теории, а не заниматься практикой. Этого мужчину Джеки однажды назвала «церебральным котенком» – мы с ней тогда еще жили вместе в нашей убогой квартирке в Джорджтауне с погрызенным крысами диваном из секонд-хенда и мебелью из «Икеи», с которой шпон отвалился уже через год после того, как мы ее привезли и собрали. И это также тот человек, который однажды поклялся, что в вопросах, касающихся жизни и смерти, он всегда будет действовать осторожно, и часто повторял свое обещание: «Я никогда не должен примерять на себя роль Бога».

Когда Патрик наконец обретает способность говорить, он произносит одно лишь слово:

– Да.

И в нашей неубранной, окутанной ночной тишиной кухне вдруг становится холодно.

Затем он говорит:

– Но ты же знаешь, нам совсем не обязательно...

– Вот именно, – подхватываю я.

Действительно: нам нужно только лишить их голоса.

Глава пятьдесят восьмая

Говорят, что плохие люди не знают покоя, так что сегодня ни Патрику, ни мне, пожалуй, не уснуть. Я иду в ту комнату, где дети обычно смотрят телевизор, и вытаскиваю свою заветную папку – ту самую, с красной цифрой XI, которую я всего два дня назад успешно утаила от Моргана. С этой папкой я и направляюсь в кабинет Патрика.

Он ждет меня в темноте, но, едва я вхожу, сразу же включает настольную лампу.

Аккуратно переверачивая страницы, он просматривает собранные мной материалы и останавливается на том разделе, который содержит формулы, написанные аккуратным, «континентальным» почерком Лоренцо.

– Это твоя работа?

Я качаю головой, потом понимаю, что он на меня не смотрит, и говорю:

– Нет. Эти формулы вывел Лоренцо.

– Хм...

– Что? – спрашиваю я, наклоняясь над листком и напряженно глядя в текст, поскольку лампа светит довольно слабо.

– Видишь ли, в некотором смысле это просто прекрасно.

Я всегда плохо разбиралась в том, чем занимается Лоренцо, да и сейчас мало что понимаю в его работе, но у Патрика хорошая подготовка по биохимии. Стараясь во всем разобраться, он внимательно читает каждое примечание, каждый нацарапанный на полях комментарий, у него даже губы движутся, когда он переверачивает страницы. Наконец, добравшись до конца четвертой страницы, он аккуратно кладет ее поверх остальных текстом вниз и тщательно разглаживает.

Я реагирую недостаточно быстро.

И слишком поздно замечаю, что Патрик смотрит вовсе не на то, что написано на пятой странице, а чуть левее, на оборотную сторону предыдущей страницы.

Мы с Патриком всегда работали по-разному, и рабочие столы у нас всегда выглядели по-разному. Мой был вечно загроможден всякими ненужными предметами: фотографиями в рамках, пачками жвачки, тюбиками крема для рук, рассыпанными карандашами и ручками, причем в количестве куда большем, чем мне требуется. В результате мне всегда приходилось рыться в грудe бумаг, пытаюсь найти нужную, и записывать

последнюю пришедшую в голову мысль на чем придется. А у Патрика рабочий стол столь же стерилен, как пол в операционной; он всегда складывает бумаги в две аккуратные стопки – в одной прочитанные, в другой не прочитанные, – всегда переворачивает каждую законченную страницу оборотом вверх и кладет слева от себя.

В общем, листая раньше записи Лоренцо, я по своей неаккуратности так ни разу и не обратила внимания на то, что он там написал на обороте четвертой страницы.

Более всего это похоже на стихи, только они как-то не очень хорошо структурированы. Строки какие-то обрубленные, то всего одно слово в строке, то странная пауза, за которой почему-то следует целая фраза. Вверх ногами этот текст толком прочесть невозможно – во всяком случае, при таком освещении да еще и с того места у противоположной стороны стола, где сижу я. Но название я вижу достаточно ясно.

A Gianna.

Джианне.

– Ого, – говорит Патрик. Итальянский он знает почти так же «хорошо», как, скажем, суахили, и я уверена, что в самом тексте он ничего не поймет. Но некоторые слова способны выдать все на свете: *amore*, *vita*^[44], *Gianna*. Патрик снимает очки и через стол внимательно смотрит на меня. Свет настольной лампы сейчас высвечивает у него на лице каждую морщинку, каждую складку. – Похоже, он сильно в тебя влюблен.

– Да.

– И это взаимно?

Я колеблюсь, что, по-моему, как раз меня и выдает, хотя в полумраке кабинета мое лицо Патрик должен был бы воспринимать всего лишь как некий неясный овал.

– Ну, хорошо, – говорит он, – хорошо.

Словно это действительно так уж хорошо.

– Может, теперь ты сварь нам кофе, детка? – просит он.

– Да, конечно. Сейчас. – Я понимаю, что ему нужна хотя бы минута или, может, несколько минут, чтобы прийти в себя, и ухожу на кухню. Там я отмеряю пять ложек кофе высшей пробы, наполняю резервуар водой и смотрю, как кофеварка медленно роняет свои черные слезы в пустой кофейник. Когда кофе готов – точнее, когда готова я сама, – я ставлю на поднос кружки и сахарницу, наливаю в молочник молока из картонки, с ужасом замечая, что она почти полна, а значит, Стивена дома нет, и несусь все это к Патрику в кабинет.

Плакал ли он, пока меня не было, сказать невозможно. Сейчас он, во

всяком случае, уже чрезвычайно деловит, делает какие-то записи и высматривает какие-то полузабытые стоихиометрические^[45] данные в справочнике по химии, который лежит открытый перед ним на столе.

– Ну что? – не выдерживаю я.

Патрик только головой качает.

– Понимаешь, эта штука выглядит вполне обратимой, и кажется, что сделать это довольно просто, но я, например, этого сделать не смогу. Во-первых, у меня нет лаборатории. Во-вторых, я уже двадцать лет по-настоящему наукой не занимался и в лаборатории не работал. А что же твой... – и он, не договорив, сам себя поправляет: – А что же сам Лоренцо? Ведь это же, так или иначе, плод его ума, верно?

При слове «плод» кофе моментально попадает мне не в то горло.

– Да, ты прав. А что ты можешь сказать насчет проблемы растворимости нашей сыворотки в воде?

На этот вопрос Патрик отвечает с удовольствием; он, можно сказать, почти сияет.

– Это самая блестящая часть вашего открытия. Сыворотка уже является растворимой в воде; во всяком случае, достаточно растворимой для наших целей. Особенно если принять во внимание то, что никого всякие там нежелательные побочные эффекты не волнуют. – И он показывает мне последнюю часть работы Лоренцо, в которой и заключен тот когнитивный ключ, который, если его успешно повернуть в замке клеток верхней левой височной доли головного мозга, откроет дверцу для полного выздоровления пациента. Или – в случае применения антисыворотки – наполнит все пространство левого полушария словесным хаосом.

Я понимаю, что имеет в виду Патрик, и меня действительно не волнует, какие побочные проблемы могут возникнуть в результате систематического применения нового средства. Во всяком случае, если говорить о системе, созданной преподобным Карлом Корбином. Или нашим президентом.

– Как ты думаешь, он сможет решить этот вопрос к утру понедельника? – спрашивает Патрик.

– Но ведь понедельник совсем скоро.

– На утро понедельника назначена встреча всех сотрудников по проекту Вернике. То есть практически все, кто работает в вашем здании, окажутся в Белом доме.

– А преподобный Карл?

Патрик кивает.

– И он тоже.

«Ладно, – думаю я. – В понедельник». Часы на письменном столе Патрика высвечивают время: 6.41.

Глава пятьдесят девятая

Плохая я или хорошая, но я все-таки засыпаю и в течение трех сладких часов сплю без сновидений, не думая ни о нашем плане, ни о Патрике, ни о Лоренцо, ни о том, где сейчас может быть Стивен, ни о том, что почтальон Дэл, арестованный как шпион, сидит сейчас в камере и решает, то ли ему заговорить, то ли приготовиться смотреть, как будут молить о пощаде его дочери, когда этот проклятый дуболом Томас начнет их обрабатывать. Я не думаю о том, что у Оливии Кинг теперь вместо руки обгорелая головешка, или о том, что Лин и Изабель вполне могли схватить и теперь они находятся на пути в лагерь.

Сон – это фантастический стиратель действительности, но только пока он длится.

С пустым желудком, в котором булькает только кофе, я отправляюсь в лабораторию, спрятав аккуратно свернутые замечания Патрика в пудреницу с компактной пудрой, которую всегда ношу в сумке.

Лоренцо уже у себя и, разумеется, варит кофе.

– Хочешь? – спрашивает он.

– Ни в коем случае. – При слове «кофе» я чувствую, как стенки моего желудка вспыхивают огнем. Небрежным жестом достав из сумочки компакт-пудру, я извлекаю тщательно свернутую бумажку и, пряча ее в ладони, незаметным жестом подвигаю по столу к Лоренцо. Потом я громко говорю: – Ну что ж, пойду подготовлю все к прибытию миссис Рей. А ты, как здесь закончишь, сразу приходи вниз.

Мой кабинет пуст и темен, как и вчера, когда я из него уходила. Ясно, что Лин сюда не возвращалась. Но еще хуже то, что мне уже стало совершенно очевидным: она вообще вряд ли вернется.

Впрочем, кое-какой план у меня имеется. И надежда пока осталась, хотя ее и маловато.

В лифте на меня с трех сторон смотрит мое собственное отражение. С фасада я выгляжу, в общем, неплохо, разве что глаза немного припухли и волосы, как всегда, в беспорядке, да и лицо несколько осунулось в связи с тем, что в последнее время я придерживаюсь довольно странной диеты в виде кофе и воды. А вот если смотреть сбоку, то вид у меня, пожалуй, непривычный и не особенно мне нравится. Так что я напоминаю себе, что плечи нужно выпрямить, а подбородок поднять. Да и миссис Рей ни к чему видеть меня такой сломленной – она сразу беспокоиться начнет. Я пытаюсь

втянуть живот, но это мне не удастся. Непривычное вздутие в нижней части живота, сейчас скрытое под блузкой, заставляет меня оставить верхнюю пуговицу на джинсах не застегнутой.

Господи, надеюсь, хоть Патрик ничего такого не заметил, когда сегодня утром целовал меня на прощанье.

В лаборатории я говорю «привет» подопытным мышам и кроликам и стараюсь даже не смотреть в сторону холодильника, где дюжина мертвых грызунов ждет своей очереди на вскрытие. Затем я подготавливаю одно из боковых помещений для будущей операции. Помещение выглядит пустоватым и совершенно безжизненным, а это совсем не то окружение, в какое мне хотелось бы поместить миссис Рей в первые мгновения ее воссоединения с миром разумной речи, и я решаю его немного оживить и усовершенствовать.

Быстро вернувшись в ту часть лаборатории, где стоят клетки с подопытными животными, я выбираю в верхнем ряду снежно-белого кролика и сажаю его в аккуратный куб из плексигласа, где в верхней части каждой стенки сделаны специальные дырочки; затем кладу туда подстилку из древесных стружек, ставлю поилку с водой и насыпаю сухого корма из большого контейнера. Я знаю, что этот корм готовят из люцерны, но, по моему, пахнут эти чертовы шарики сущим дерьмом.

– Вот здесь теперь будет твой дом, Барабанщик, – говорю я кролику. – А скоро ты еще и познакомишься со своим новым другом.

Входит Морган.

– Что это, Джин? – удивляется он. – Я думал, вы уже покончили с опытами на животных.

И снова мой мозг дает мне сигнал: немедленно выпрямись и задери подбородок повыше!

– Кролика я для миссис Рей принесла. Мне кажется, ей будет приятно увидеть перед собой что-то знакомое и живое, а не только белые лабораторные стены.

Он пожимает плечами с таким видом, словно наш первый *настоящий* пациент – это всего лишь очередное подопытное животное. Я просто не сомневаюсь: именно так этот поганец и считает.

– Вы спуститесь, когда начнется операция? – спрашиваю я, перенося пластмассовый домик Барабанщика в то помещение, где мне предстоит впервые ввести нашу сыворотку «анти-Вернике» настоящему пациенту с афазией.

– Да уж, такой ответственный момент я не пропущу!

Я открываю холодильный шкаф, где Лоренцо хранит пробирки с

нашей антифазийной сывороткой. А вторую группу пробирок – тех самых, что убили мышей, – он пометил особо, изобразив на их наклейках ярко-красную букву X, и подставку с ними поместил отдельно, на другую полку. Однако вместо шести стеклянных пробирок с нашей сывороткой, на которых простая, *а не красная*, буква X, там осталась только одна.

– Это вы взяли пробирки? – спрашиваю я у Моргана.

– Что? – Он изображает изумление, однако глаза его невольно ползут вверх и влево. Он тщетно ищет какой-нибудь подходящий ответ, но не находит и поворачивается, чтобы уйти.

И тут у меня возникает рискованная идея.

– Морган, насколько вы задействованы в этой операции?

Он подозрительно прищуривается, лицо его каменеет, и я вижу, что его просто трясет от гнева и от страха.

– Ох, – говорю я и изображаю глупую девчачью улыбку, – я всего лишь хотела узнать, как часто вам доводилось бывать там, внутри – ну, внутри Белого дома.

И он, точно хищная рыба, мгновенно заглатывает предложенную ему наживку и расслабляется.

«Ну, давай, рыбка, – думаю я, – давай, вцепись в нее покрепче. Вонзи в нее все свои мелкие хищные зубы».

– Вообще-то, – важно сообщает мне Морган и словно раздувается, пытаюсь заполнить собой как можно больше пространства, – я буду там уже в этот понедельник. В качестве приглашенного гостя. А все благодаря вам, Джин. Вы настоящий командный игрок.

Глупая девчачья улыбка так и остается приклеенной к моему лицу, хотя теперь мне для этого уже не нужно прилагать особых усилий.

– Но это же просто чудесно! Я очень рада, Морган. Правда, рада. Но, знаете, нам уже пора начинать готовиться к операции, так что...

Он прерывает меня:

– Конечно, конечно, Джин. Поступайте, как вам удобней. Мы доставим миссис Рей вниз, когда... когда она придет. – И он, окончательно прибодрившись, сует указательный палец в прозрачный домик кролика, пытаюсь и его немного развеселить. – Привет, крольчонок.

– Ей-богу, Морган, это далеко не самая лучшая затея, – предупреждаю его я. – Кролики весьма ревностно охраняют свою территорию и вполне могут...

– Ну что вы, Джин! Это же самый обыкновенный маленький кролик, и он очень умный зверек... – Он вдруг резко отдергивает руку, словно коснувшись раскаленной плиты. – Вот черт! Он меня укусил! – Мне лишь с

трудом удастся удержаться от смеха, а Морган продолжает ругаться: – Проклятая тварь!

– Они хороши только для одного, верно? – говорю я, глядя на окровавленный палец Моргана. – Ничего, держите палец вверх и тогда точно не умрете.

Пока я перевязываю идиоту Моргану рану, нанесенную кроликом, входит Лоренцо.

– Что случилось?

– Да кролик чуть палец Моргану не откусил, – сообщаю я, обильно поливая йодом ерундовую ранку.

Лоренцо улыбается.

– Надеюсь, это не *Sylvilagus floridanus*^[46], доктор Макклеллан? Вы их на бешенство проверяли? – Он наклоняется, осматривает ранку и качает головой. – Могло быть и хуже, Морган.

Лицо Моргана при этих словах меняется в соответствии с цветами солнечного спектра – от розового до зеленого, а потом до мерзкого желтоватого, точно разведенный клей для обоев. Он не замечает, что Лоренцо весело мне подмигивает у него над головой.

– Ничего страшного, Морган. Все будет отлично, – говорю я, заканчиваю бинтовать укушенный палец и выпроваживаю Моргана из лаборатории. – Увидимся с вами что-нибудь через час. – Затем, повернувшись к Лоренцо, я спрашиваю: – А кто, интересно, доставит сюда миссис Рей?

Во всяком случае, точно не Дэл; это мне и так понятно. Шэрон тоже вряд ли – теперь она, скорее всего, уже находится в камере предварительного заключения, как и ее муж. И у меня перед глазами сразу возникает отвратительная картина: По и его банда головорезов в деловых костюмах и темных очках сворачивают на своих черных SUV на ту грунтовую дорогу, что ведет к ферме, а затем пробираются между амбарами и конюшнями прямо к мастерской Дэла и видят там... Господи, мерзость какая!

– Ну как? – шепотом спрашиваю я.

Лоренцо понимающе кивает.

– В биохимической лаборатории. – И тоже шепотом на итальянском прибавляет: – Мне придется поработать всю ночь и, наверное, весь завтрашний день, но я смогу это сделать.

Я переносу домик из плексигласа с кроликом Барабанщиком в то помещение, где после операции будет находиться миссис Рей, и все думаю,

стоит или нет посвящать Лоренцо в те разговоры, которые мы с Патриком вели сегодня ночью и ранним утром? Стоит или нет рассказывать ему о том, что Патрик обнаружил его стихи? И о том, какое выражение лица было у моего мужа, который понял, что потерпел поражение, но все же сумел как-то его принять? И о том, какая усталость таилась в глазах Патрика? Но я решаю пока ничего об этом Лоренцо не говорить. И мы вместе идем по белому плиточному полу к запертой двери на противоположном конце лаборатории, и я, за это время успев переключить скорость, сообщаю нарочито громко и с соответствующим восхищенным придыханием:

– Представляешь, Морган в понедельник утром приглашен в Белый дом! Говорит, там будет большой сбор. Как ты думаешь, а нам-то хоть когда-нибудь удастся увидеть этот дворец изнутри? – И я с несколько иным выражением добавляю: – Кстати, Патрик тоже там будет.

Судя по вспыхнувшим глазам Лоренцо, он все отлично понял. Но в ответ не произносит ни слова. Хорошо, остальное я расскажу ему, как только мы окажемся внутри биохимической лаборатории.

Или не расскажу.

Лоренцо вставляет в щель свой электронный ключ, но на этот раз вместо вспыхнувшего зеленого света, мягкого щелчка и легкого звона сработавшей электроники звучит громкий гудок и загорается красный свет. Я пытаюсь проделать ту же операцию с помощью своей карты, но результат тот же.

Все ясно: войти в биохимическую лабораторию мы больше не можем.

Глава шестидесятая

Я тут же звоню по интеркому Моргану, и Лоренцо не успевает меня остановить.

– Нам необходим доступ в биохимическую лабораторию, – требовательным тоном начинаю я, но тут же исправляюсь, услышав в собственном голосе явное бешенство: – Это, должно быть, ошибка, Морган. Не можете ли вы...

Он не дает мне договорить:

– Нет, вам туда совершенно не нужно. И... нет, я не могу.

– Что?! – взрываюсь я, и это маленькое словечко звучит так, словно я выплюнула его прямо в крысиную морду Моргана, что, собственно, мне больше всего и хочется сделать.

– Джин, Джин, Джин... – начинает он укоризненно, и я приготавливаюсь слушать очередное увещание – ну, в точности потерявший терпение воспитатель детского садика, пытающийся договориться со своими несносными шалунами. – Поймите, если эксперимент с этой женщиной по фамилии Рей пройдет успешно, то вашу миссию здесь можно уже считать завершенной. Собственно, и вам, и Лоренцо не над чем больше работать.

«О нет, есть над чем!» – думаю я.

– А как же Лин? – спрашиваю я, в очередной раз пытаюсь вывести тайну исчезновения Лин. – Или она больше уже не член нашей команды?

– Конечно, конечно, я имел в виду всех троих – вас, Лоренцо и Лин. Всю вашу команду.

Лоренцо, который все это время подслушивал наш разговор, так низко склонив голову к моему лицу, что порой даже касался меня своей колючей небритой щекой, не выдерживает и выхватывает у меня трубку:

– Послушайте, Морган, нам действительно нужно еще немного поработать в биохимической лаборатории. Хотя бы для того, чтобы несколько увеличить количество белкового материала. Вы же знаете, что у нас крайне ограниченное количество сыворотки.

Некоторое время Морган тупо молчит, потом сухо сообщает:

– Этим уже занимаются. Другая команда. Размножением белковых тел, я имею в виду.

Верно. И реверсивным процессом тоже. Золотая команда, должно быть, сегодня гудит как пчелиный улей.

Я киваю Лоренцо и указываю на холодильник для хранения образцов у него за спиной, затем зажимаю трубку интеркома между ухом и плечом, оставляя руки свободными, и поднимаю вверх шесть пальцев, а затем только один.

– Замечательно, – говорит Лоренцо, неслышно открывает холодильник, пересчитывает пробирки и одними губами спрашивает у меня: – Это Морган?

Я пожимаю плечами, словно говоря: *Кто же еще?*

– Джин? Лоренцо? Вы меня слышите? – доносится из трубки голос Моргана. – Повторяю: миссис Рей уже доставлена, и через несколько минут мы привезем ее к вам.

– Хорошо, Морган. Я поняла. – И я вешаю трубку.

Вчера ночью или сегодня утром я спросила Патрика о жизнеспособности «обратной» сыворотки, превращающей наше драгоценное средство для исцеления страшного недуга в биологическое оружие.

– Да, эта задача вполне выполнима и без формул Лоренцо, – сказал он. – Особенно если у них в Золотой команде имеются приличные химики. – Он снова просмотрел записи – на сей раз моим «способом», разом перелистывая страницы, а не переворачивая их и аккуратно складывая в стопку слева от себя. Думаю, он просто очень не хотел снова наткнуться на стихотворение Лоренцо. Ему вполне хватило и одной пощечины. – Они определенно сумеют с этим справиться, но не так быстро. Понимаешь, сперва они должны будут разрушить созданный продукт, то есть вашу сыворотку, а уж затем...

Из остального я мало что поняла, хотя Патрик и старался объяснять доходчиво. Все-таки химик из меня никакой.

– Лоренцо, – спрашиваю я, понизив голос до еле слышного шепота, и достаю из холодильника ту единственную пробирку с сывороткой, а из шкафчика рядом две упаковки стерильных шприцев и старательно делаю вид, что внимательно их изучаю, – а те записи, которые ты дал мне, существуют в единственном варианте?

Он резко бьет ладонью по лабораторному столу, вскакивает и рысью выбегает в помещение с мышами и кроликами, а потом почти сразу я слышу, как с шипением открывается и закрывается дверь, ведущая из лаборатории в коридор.

Глава шестьдесят первая

Лин, хоть ее здесь и нет, руководит всеми моими приготовлениями. Ее записи идеально аккуратны и подробны – это, по сути дела, четкий план каждой операции. Если бы она была рядом, мне не пришлось бы делать и саму инъекцию, благодаря которой в кровь миссис Рей будет введен определенный набор протеинов и стволовых клеток. Все это сделала бы Лин через стратегически найденное мной отверстие в черепе пациента – но для самой операции я себя достаточно умелой по-прежнему не чувствую.

Словно предвидя свое внезапное исчезновение, Лин сумела теоретически объединить две отдельные процедуры. Я откладываю в сторону план введения сыворотки непосредственно в головной мозг и, морщась, рассматриваю фотографии черепов, разнообразных иммобилизирующих конструкций и крайне неприятных на вид инструментов и думаю о том, каким же крепким орешком надо быть, чтобы все это испробовать на себе. И я вспоминаю ту женщину, которая где-то еще в 1970-е сама себе просверлила голову электросверлом. Она говорила, что это открыло ее разум.

Верно.

То, что я сейчас собираюсь сделать, технически гораздо проще, поскольку миссис Рей должны будут заранее ввести катетер с соответствующим средством еще в той частной лечебнице, где она сейчас находится. Туда, как мне кажется, она и вернется после завершения опыта, поскольку дома у нее, похоже, больше нет, а ее сын Дэл находится вне пределов досягаемости. *Какую-то услугу я ей, конечно, оказываю*, но я совсем не уверена, что этой старой женщине, создавшей мой чудесный сад, не лучше было бы остаться в ее нынешнем состоянии. Тогда она, по крайней мере, продолжала бы не понимать, что происходит, и не узнала бы, что случилось с ее сыном и невесткой, даже если некий бюрократ в стандартном деловом костюме и вздумал бы сообщить ей об этом.

И не узнала бы, где сейчас ее внучки.

Предложение Лоренцо все еще в силе, но сейчас я никак не могу обсуждать эту тему даже с самой собой. Только настоящее чудовище способно запросто впрыгнуть в самолет с поддельным паспортом, бросив четверых детей! А с другой стороны, я буду, черт побери, полной идиоткой, если останусь, совершенно точно зная, какая судьба ждет мою дочь и моего будущего ребенка!

Да, для этого нужно быть прямо-таки сверхъестественной идиоткой. И все же в обоих случаях я проигрываю.

Главная дверь с шипением открывается и снова закрывается, и в пустой лаборатории отчетливо слышны приближающиеся шаги. Мыши пищат, недовольные вторжением в их пространство чужака.

– Энцо?

Но это не Лоренцо. Это и впрямь чужаки – Морган и с ним некий молодой человек в форме уборщика, который катит инвалидное кресло с миссис Рей.

Она выглядит сильно постаревшей с тех пор, как я в последний раз ее видела.

Стивен, который сейчас, поступив как последний дурак, тщетно пытается отыскать любимую девушку, еще только начинал сражаться с таблицей умножения, когда у нас впервые появилась Делайла Рей со своими грандиозными планами насчет моего сада. Ключи от управления государством находились тогда в руках первого в истории чернокожего президента Америки, и миссис Рей была в отличной форме, все время говорила о политике, о своих надеждах на будущее и о том, что «давно пора, *дарлин*, этой стране встать на правильный путь». Она всегда называла меня «дарлин», очаровательно, как и все южане, глотая последний звук.

Пока у нее не случился инсульт.

А вскоре после этого тот президент, на которого возлагались такие надежды, передал ключи от управления новому, сменившему его на этом посту, и уж этого-то человека миссис Рей никогда бы не назвала «дарлин» и не стала бы говорить, что он все же обладает определенной харизмой, а значит, на него можно как-то надеяться – короче, она вообще не стала бы применять к нему те положительные характеристики, для которых у нее раньше всегда находилось так много слов.

Помнится, в тот день я позвонила ей, поскольку у меня возникли некоторые проблемы с одним из розовых кустов, и трубку взял ее сын. Он-то и сообщил мне новости об инсульте и последовавшей за этим афазии. Я до сих пор слышу, какая надежда вспыхнула в его душе, какая отчаянная радость послышалась в его голосе, какое напряженное ожидание повисло в воздухе подобно грозовой туче, когда я рассказала ему, какими исследованиями занимаюсь.

– А вдруг ваша сыворотка не сработает? – вырвалось у Дэла. – И моя мать по-прежнему будет нести всякую бессмыслицу, которую никак не разгадать?

– Тогда мы попробуем еще раз, – уверенно сказала я. – Будем

пробовать снова и снова, пока не добьемся нужного результата.

После этого-то он и упомянул о деньгах. А я велела ему даже не думать об этом, потому что никакой платы не потребуется.

Я поворачиваюсь к своему первому пациенту, старой женщине в инвалидном кресле, которая растерянно озирается в белой пустоте лабораторного помещения, и спрашиваю: «Как вы себя чувствуете, миссис Рей?», хотя прекрасно знаю, что она воспримет это всего лишь как некую цепочку незнакомых слов.

Делайла Рей, ботаник от бога, которая создала мой сад, которая так любила поговорить со мной о политике и о рецептах пирогов, смотрит на меня словно сквозь плотный занавес смущения и непонимания.

– Красивые огоньки сегодня. Печеньице для ваших мыслей, а я и не знаю, когда «Ред Сокс» сплетничают и несутся галопом. Кстати, давление-то сегодня повысится! – Речь у нее плавная, ничуть не затрудненная и... совершенно бессмысленная.

Последнее я как раз и надеюсь изменить.

Оглядываясь назад, я уже не могу вспомнить, чего я в эту минуту ожидала: успеха или провала, но в своих мечтах я всегда представляла себе, как эта старая женщина впервые после перенесенного инсульта произнесет слова, наполненные настоящим смыслом. Я настолько волнуюсь, что замечаю, как сильно трясутся у меня руки, лишь когда уже набираю в шприц жидкость из нашей единственной пробирки с сывороткой.

– Так. Дай-ка лучше я. – Я была настолько поглощена воспоминаниями, что не заметила, как Лоренцо вошел в лабораторию.

Он отнимает у меня пробирку и шприц и умело набирает необходимое количество сыворотки – в полном соответствии с инструкциями Лин, – затем дважды стучит по шприцу косточкой большого пальца и подносит его к свету.

Я вопросительно на него смотрю.

Лоренцо кивает Моргану, давая понять, что пора, и парень в костюме уборщика вкатывает кресло с миссис Рей в подготовленную мной «операционную». Лоренцо берет меня за руку, и я вижу, как он качает головой: «Записей нет».

Значит, в руках у Золотой команды – кто бы в нее ни входил – теперь и наша сыворотка, и наши формулы.

– Ну, хорошо, – говорю я. – Давайте приступать.

– Билеты уже у меня, – еле слышно сообщает мне Лоренцо, но Морган тут же высовывает нос из «операционной» и спрашивает:

– Билеты на что?

– На симфонический концерт в следующий уик-энд, – мгновенно врет Лоренцо. – Бетховен, знаете ли. Попастъ трудно, если, конечно, ты не в списке-А.

– Ну, мне плевать и на список-А, и на эту симфоническую музыку. – Морган явно недоволен. – Мы тут вас ждем, а вы о каких-то билетах беседуете. У меня, между прочим, еще важные встречи запланированы.

– Ну, еще бы! Разумеется, все ваши встречи очень важны, Морган. Вы ведь такое большое колесо среди нас, маленьких винтиков. – Лоренцо только что не рычит, оскалив зубы.

Я отмечаю в сторону мысли о билетах в Италию – пока что думать об этом совершенно ни к чему – и иду в нашу импровизированную операционную. Лоренцо следует за мной по пятам. Миссис Рей смотрит только на кролика Барабанщика, и взгляд у нее загадочный, словно она что-то припоминает.

– Красота остается красотой и дает урожай зерна. Как это глупо! – говорит она.

Парень в форме уборщика ободряюще похлопывает ее по спине. Морган презрительно кривит рожу. Мы с Лоренцо переглядываемся.

Я знаю, о чем он думает: обо всем этом большом городе, об этой стране, об этом континенте, которые могут быть разрушены, подобно Вавилонской башне, но не благодаря действиям невидимого божества, а от рук хорошо видимого и даже весьма заметного человечка, который наслаждается своим могуществом, своими выступлениями по телевидению и властью, которую уже обрел над миллионами слепых последователей своих идей, но ему и этого мало, он хочет большего. Однако этот человек и представления не имеет, какой ад он собирается в ближайшем будущем спустить с поводка.

Преподобный Карл Корбин, должно быть, безумен, по-настоящему безумен. Интересно, думал ли он о неизбежных последствиях своего плана? Понимает ли он, какие разрушения – и не только в Европе, но и во всем мире, – принесет воплощение этого плана в жизнь? Прекратится поставка продовольствия и полезных ископаемых. Исчезнут банки и биржи. Остановится транспорт, и любые перемещения, кроме, пожалуй, ходьбы пешком или – изредка – верхом на лошади, станут невозможны. Предприятия остановятся. В течение нескольких недель большая часть населения земного шара попросту погибнет – от голода, от жажды, от насилия. А те, что останутся в живых, будут вынуждены вести жалкую жизнь, и им будет далеко даже до героев детской книжки «Маленький домик в прериях»^[47], ибо они будут вынуждены строить себе землянки, а

не только собирать сено в стога и превращать кукурузу в силос.

Возможно, впрочем, именно этого преподобный Карл и хочет. Возможно, и он, и его Истинные не настолько безумны, как кажется. Во всяком случае, они, конечно же, не настолько безумны, чтобы перерезать те нити, благодаря которым пляшет их марионетка – президент Майерс.

– Мы готовы, Джин, – говорит Лоренцо, держа в руках шприц. – Теперь твоя очередь, ты ведь окажешь нам честь?

Я беру у него шприц, еще раз проверяю жидкость на присутствие остаточных пузырьков воздуха – воздух нам необходим, но он ни в коем случае не должен попасть в мозговой кровоток миссис Рей – и снимаю с иглы пластмассовый колпачок.

Морган нервно облизывается, когда я ввожу иглу в катетер и, затаив дыхание, медленно нажимаю на поршень.

– Все будет хорошо, миссис Рей, – машинально повторяю я.

А в помещении вдруг отчего-то становится жарко и душно, как в сауне. Мне не хватает воздуха.

Рядом со мной Лоренцо включает секундомер, и мы напряженно ждем. Глаза всех прикованы к старой женщине в инвалидном кресле.

Мне кажется, что прошло несколько часов, а на самом деле, как мне говорят, всего десять минут, когда я вижу, что Делайла Рей подносит руку к катетеру, вставленному ей в череп, потирает пальцами какое-то местечко у левого виска под седыми волосами и поворачивается к прозрачному кубу из плексигласа, в котором сидит мой кролик по кличке Барабанщик.

– Какой очаровательный зверек, – говорит она. – Это же настоящий флоридский кролик! Когда я была девочкой, у нас был полон вольер таких.

И я вдруг чувствую, что воздух вокруг становится чище, точно в тропиках после муссонного дождя.

Глава шестьдесят вторая

У меня праздничное настроение. Мне хочется танцевать. Или пройтись колесом по всему нашему пустому коридору. А еще мне хочется шампанского, шоколада и фейерверков.

Я чувствую себя – пусть даже чуточку – кем-то вроде бога.

А еще я чувствую, что моя жизнь, вполне возможно, окончена.

Морган оставляет нас, с кем-то коротко переговорив по телефону и во время этого разговора постоянно употребляя выражения «моя команда», «мой проект» и «моя работа». Он все еще ухмыляется, проходя мимо нас к дверям, затем подзывает к себе уборщика, вынуждая парня приноравливаться к его чрезмерно быстрой походке, и приказывает ему немедленно отвезти миссис Рей обратно в ее частную лечебницу. У него, у Моргана, естественно, полно куда более важных дел.

– Итак, – говорю я, поворачиваясь к Лоренцо, – я полагаю, что это все.

– Совсем необязательно. – И он выразительно смотрит на холодильный шкаф, где по-прежнему стоят шесть пробирок, помеченных смертельной красной буквой «X».

– Неужели это возможно? – шепчу я.

– Да, и это единственный выход. – А у меня в голове точно заезженная пластинка крутится тот вопрос, который я вчера ночью задала Патрику: «А ты мог бы убить человека?»

– Нам их отсюда никогда не вынести, – лепечу я.

Лоренцо открывает дверцу холодильника и вытягивает оттуда пробирки с тем смертоносным нейропротеином, который воссоздан по его формуле – с тем страшным ядом, который даже в самом незначительном количестве оказался способен убить дюжину мышей.

– Нам достаточно одной пробирки, Джианна.

Я смотрю на настенные часы. Обе стрелки указывают точно вверх. Когда я сегодня утром приехала, на пропускном пункте дежурил сержант Петроски. Он, помнится, все зевал, здороваясь со мной. Значит, он, скорее всего, дежурил в ночную смену и, следовательно, сейчас отсыпается дома. А ведь он – мой единственный союзник в этом здании.

Ну, хорошо. Тогда перейдем к плану Б.

Вот только никакого плана Б у меня нет.

Или все-таки есть?

Рядом с основным помещением лаборатории есть крошечная,

размером со шкаф, туалетная комната – всего полтора квадратных метра, плиточный пол, унитаз и крошечная раковина, над которой висит сушилка для рук, жуткое устройство, воющее, как сдвоенный двигатель реактивного самолета, и выпускающее такой горячий и сухой воздух, что кожа на руках высыхает и натягивается прямо на глазах, точно в научно-фантастическом фильме. Я наклоняюсь над холодильником, осторожно вынимаю одну из пробирок и еще более осторожно опускаю ее себе за лифчик, затем беру из ящичка на столе одну хирургическую перчатку – ту, что без порошка внутри, – надуваю ее и говорю:

– Я сейчас вернусь. – Затем, подумав, прихватываю с собой еще две перчатки и удаляюсь в сторону того маленького туалета.

Лоренцо удивленно поднимает бровь.

– Было ведь шесть пробирок, верно? – говорю я ему и слышу, как у меня за спиной закрывается холодильный шкаф, а затем из крана над раковиной в чистую пробирку льется вода.

Солдаты никогда особо тщательно нас не обыскивают, ни утром, когда мы входим в здание, ни вечером, когда мы оттуда выходим. В конце концов, они обыкновенные люди. К тому же, вполне возможно, за этот год жизни в новом, мужском, мире, где практически отсутствуют говорливые и властные представительницы женского пола, они совершенно отвыкли от необходимости беспокоиться насчет всяких женских уловок и основательно подзабыли наши особые женские секреты и наши многочисленные способы утаивать все, что угодно, не говоря уж о таких маленьких предметах цилиндрической формы. Возможно, они так долго заставляли нас молчать, что у них стерлись даже малейшие подозрения насчет нашего женского коварства.

Я пять раз проверяю пробку в пробирке, прежде чем она кажется мне достаточно надежной и безопасной, затем засовываю пробирку в латексный палец перчатки, завязываю его узлом, а ненужное отрезаю; ту же процедуру я повторяю и с двумя другими перчатками. В итоге получается некий узелок из голубого латекса, больше уже, пожалуй, не цилиндрический и не такой уж маленький. Больше всего он похож на какую-то неуклюжую затычку. «Какого черта ты беспокоишься, – говорю себе я. – У тебя же там пролезли целых четыре детских головки, причем дети были крупные и вполне доношенные». Короче, вытерпеть небольшой дискомфорт в течение ближайшего часа мне вполне по силам.

Выпрямившись и досуха обдув под струей горячего воздуха руки, я возвращаюсь к Лоренцо, который успевает бросить на меня единственный предостерегающий взгляд, и я вижу, что прямо ко мне

движется По. Почему-то, когда я стою с ним рядом, он мне кажется еще шире в плечах и выше ростом.

– Какая-то проблема, доктор Макклеллан? – спрашивает По.

– Проблема возникнет, только если вы уменьшите мою ежедневную квоту на посещение туалета, – дерзко отвечаю я.

Ответа у По не находится. Он тщательно проверяет каждый отсек лаборатории, особо осмотрев Барабанщика в его клетке из плексигласа, затем поворачивается к нам и говорит:

– Следуйте за мной.

– Но мы еще не закончили, – говорю я. – Да, Энцо? – И я смотрю на него мрачным тяжелым взглядом, который безошибочно таит в себе совсем иной вопрос.

– Да нет, пожалуй, закончили, – говорит он.

По еще минут пять сует нос буквально в каждую дырку; я даже дыхание затаиваю, когда он открывает холодильник для хранения материалов и изучает его содержимое куда дольше, чем, по-моему, требуется на то, чтобы пересчитать пробирки. Затем он выводит нас в коридор, останавливается возле лифта и нажимает на кнопку.

– Карты, пожалуйста. – Он протягивает свою мясистую лапищу ладонью вверх.

– Вот как? – говорю я и через голову снимаю висящую у меня на шее электронную карту-пропуск. Она, естественно, застревает у меня в волосах, и По пытается мне помочь ее высвободить. Но едва его рука касается моего виска, я резко вздрагиваю. Ничего удивительного: рука у него холодна как лед.

А мне снова приходит в голову мысль о Дэле, Шэрон и их трех девочках. И почему-то, как ни странно, мне ужасно хочется знать, кто сейчас кормит животных у них на ферме.

Однажды, когда Стивен был еще совсем ребенком, он спросил у меня, есть ли у животных язык.

– Нет, – ответила я.

– А они думают?

– Нет.

Оказалось, что в школе он прочел какую-то книгу о пчелах, в которой утверждалось совсем другое. Он показал мне эту книгу как-то днем на кухне, поскольку все это было еще в те времена, когда Стивен, а не Соня, каждый день в четыре часа требовал у меня горячее какао.

– Тут говорится, что пчелы могут улетать на поиски пыльцы, а потом возвращаются в свой улей и рассказывают другим пчелам, где эту пыльцу

можно найти. – И Стивен прочел мне вслух изрядный кусок. – А еще тут говорится, что танцы пчел – это вроде как их язык.

Я посмотрела, чья это книжка, а потом выяснила данные одного из авторов. Оказалось, что это некая женщина-пчеловод, обладавшая целым списком различных дипломов, ни один из которых, впрочем, ни малейшего отношения к лингвистике не имел.

– Нет, это еще не язык, – объяснила я сыну. – Пчелиный танец – это что-то вроде радостной джиги, сигнала, который как бы говорит всем: «Здорово, ребята! Я тут отличной пыльцой разжилась!» На большее пчелы не способны, детка. Свяжи им крылышки и заставь возвращаться в улей ползком, так они будут «рассказывать» то же самое первому попавшемуся камню. То, что действительно есть у пчел, называется особой формой коммуникации, причем весьма специализированной ее формой, но это все-таки не настоящий язык. Настоящим языком, речью, обладают только люди.

– А как же горилла Коко? – Так сильно понравившуюся Стивену книгу накатала целая команда «экспертов»-зоологов.

– Коко – действительно потрясающе умная горилла и сумела выучить несколько сотен знаков, а все-таки не способна делать то, что уже хорошо умеют, например, твои младшие братья, хотя Сэму и Лео всего по четыре года, а Коко сорок пять.

Стивен надулся, забрал свою книжку и ушел к себе в комнату. Ну, вот и еще один пузырь лопнул, подумала я. А ведь так приятно вообразить, что наши четвероногие и двуногие друзья тоже обладают собственным речевым механизмом. Возможно, именно поэтому люди все продолжают искать доказательства того, что животные умеют говорить. Но это неправда.

А сейчас в лифте мне вдруг страшно захотелось, чтобы это было правдой.

– Да, вот так, – говорит По, пряча наши карты, и сообщает, когда мы выходим на первом этаже. – Вы, кстати, можете забрать свои ноутбуки. Они очищены.

Мы с Лоренцо берем свои сумки. Ему разрешено также забрать из кабинета свою кофеварку, но больше ничего взять оттуда По не разрешил и сразу запер дверь. В сопровождении По мы подходим к пункту проверки. Там все те же два солдата, рентген-установка с транспортером для наших сумок и ноль улыбок, поскольку в данный момент сержанта Петроски на посту нет. Нас по очереди досматривают, проверяют наши карманы, и тот солдат, что занимается мною, как-то неприятно задерживает взгляд на моей заднице, а затем на промежности. Судя по выражению лица Лоренцо,

нижнюю часть его тела тоже подвергают унижительному досмотру.

А у меня в голове мелькают самые разнообразные возможности: например, полный осмотр тела, при котором неизвестно чьи руки – *Я всего лишь подчиняюсь приказу, мэ, –* будут блуждать по самым моим интимным местам и в итоге отыщут заветную, завернутую в латекс пробирку. «Что это, Джин?» – скажет Морган. И я уже вижу себя на тысячах телевизионных экранов – этим новым неожиданным представлением станут прерывать и новостные передачи, и документальный фильм о бенгальских тиграх, и детские мультфильмы. И, разумеется, меня будут показывать рядом с преподобным Карлом, и он станет зачитывать вслух очередную главу из своих учений, а я, ослепнув от бесчисленных вспышек камер, буду чувствовать только, как горит мой несчастный череп, исцарапанный тупой бритвой нерадивого брадобрея. И я еще успею увидеть ужас в глазах Патрика, которого снова заставят приехать в Форт Мид и, стоя по стойке «смирно», смотреть, как моя кровь смешивается с уже успевшей засохнуть кровью Джимбо, Дэла, Шэрон и бог знает скольких еще людей. А возможно, и моего собственного сына...

И тут нам с Лоренцо попросту указывают на дверь.

– Не очень-то вежливо, а где же классическое «Вот ваша шляпа, мадам» и «Куда же вы так спешите?» – говорю я, когда мы выходим под слепящие лучи послеполуденного солнца.

По стоит и смотрит, как мы идем к своим машинам. Может быть, он слышал мои последние слова – во всяком случае, он вдруг кричит нам вслед:

– Уезжайте отсюда. Быстрей. И больше не возвращайтесь. – И, засунув руки в карманы, мгновенно исчезает внутри здания. Но, по-моему, я все же успеваю заметить, как он вздыхает.

Глава шестьдесят третья

Воспользовавшись телефоном Лоренцо, я звоню Патрику и сообщаю, что уже еду домой. У Лоренцо, разумеется, мобильный телефон есть, а у меня по-прежнему нет.

«И у тебя он был бы, если бы ты была в Италии, детка», – говорю я себе и тут же выбрасываю все подобные мысли из головы. Мне нельзя сейчас думать об этом. Мне сейчас вообще ни о чем нельзя думать – только о том, чтобы поскорее сесть в машину и вытащить из себя эту чертову пробирку с ядом.

– Итак, – говорит Лоренцо, нежно поглаживая большим пальцем старый рубец от ожога на моем левом запястье, – я теперь должен поскорей отсюда убираться. Как можно скорее, это ты, надеюсь, понимаешь. Пока еще есть время.

– Да, я все понимаю.

Он на минутку выпускает мою руку, вылезает и открывает дверцу своей машины со стороны пассажирского сиденья. Затем достает из бардачка тонкий конверт и вручает его мне.

– Это тебе.

На ощупь там, похоже, паспорт и еще что-то, плоское и тяжелое. Смартфон – ничего лучше мне в голову не приходит.

– Погоди секундочку, – прошу я.

И, прикрыв свою дверцу, поспешно задираю юбку, вытаскиваю проклятый клубок из латекса и засовываю его в одну из Сониных цветных чашечек-непроливаек, очень удобных для того, чтобы поить ребенка в дороге. Соня, конечно, давно уже эти чашечки переросла, но все равно иной раз ими пользуется: все-таки это гораздо лучше, чем нечаянно пролитый сок, разбрызганный по всему ветровому стеклу «Хонды». Крышечка со щелчком закрывается, я убираю чашку на место и снова могу дышать спокойно.

– Джин! – Морган бежит к нам, широко раскинув руки, запыхавшийся, перепуганный. Следом за ним спешит солдат, делая широкие размеренные шаги и вообще двигаясь весьма расслабленно – если не считать того, что пальцы его левой руки, слегка согнутой в локте, лежат на рукояти табельного пистолета. Просто не парень, а символ воинской дисциплины. Моргану здорово повезло, что он не угодил в армию во время особого набора. Он же попросту помер бы в первой же «лисий норе». Если,

конечно, до него еще раньше не добрались бы ребята из его же собственного взвода.

Конверт Лоренцо я тут же отправляю под сиденье, действуя настолько машинально, словно это не моя рука, да и подчиняется она приказам не моего, а чьего-то чужого мозга. Мне некогда думать об этом – мне надо поскорее убрать с глаз опасную улику, а то Морган уже почти возле моей машины и вот-вот поймает меня с паспортом покойной жены Лоренцо в руках. Я не знаю, каково наказание за использование поддельных документов, но мне почему-то совсем не хочется это выяснять.

А вот пробирке с сывороткой, к сожалению, придется еще какое-то время полежать там, где она сейчас находится.

– Нам нужно, чтобы вы немедленно вернулись назад, – сообщает нам Морган.

– Зачем? – удивленно спрашиваю я и включаю двигатель «хонды», старательно продолжая изображать полное непонимание. – Если я что-то забыла, то могу забрать это и завтра. Между прочим, я все выходные детей не видела. – И тут до меня доходит, зачем я им снова понадобилась. Все очень просто: проект завершен, а значит, кончилась и моя временная свобода от немоты.

Морган тянется ко мне своей пухленькой розовой ручонкой, просунув ее в окно, но Лоренцо тут же встает между нами и требует:

– Отпустите ее.

А вот солдат даже не пошевелился, но табельное оружие держит наготове. Я ни черта не понимаю в оружии, но даже мне ясно, чем все это может закончиться, если я немедленно не возьму инициативу в свои руки. Да, надо действовать, и как можно быстрее.

– Энцо, тебе же ехать нужно, – «напоминаю» я ему, но по его глазам вижу, что отступать он совершенно не намерен и никуда от моей машины не отойдет даже под дулом пистолета. Он ведет себя точно так, как я всегда и предполагала.

– Никто из вас никуда не поедет! – моментально встревает Морган.

Часы на приборной доске – я, не мигая, на них уставилась – кажется, мигают целую вечность, прежде чем показать не 1.35, а 1.37.

– Ладно, – говорю я, снимаю руки с руля и выключаю двигатель. – Уже иду. Довольны? Я могу теперь вылезти?

Морган, который, разумеется, поспешил убраться с возможной линии огня, делает знак солдату, и тот слегка опускает дуло пистолета. Но в кобуру его не убирает и стоит на прежнем месте, когда я открываю дверцу машины и вылезая из нее.

А Морган, как всегда возглавляя наш маленький отряд, с победоносным видом ведет меня и Лоренцо через парковку. Вооруженный солдат замыкает процессию. И меня весьма мало утешает, что Лоренцо, идущий в двух шагах, в любую секунду готов заслонить меня собственным телом, если дело дойдет до стрельбы. Я все время чувствую, сколь уязвим этот «щит» и сколь уязвимо мое собственное усталое тело. Нас, всего лишь махнув охране рукой, пропускают через контрольный пункт и точно овец гонят к лифту. На сей раз Морган не нажимает на кнопку нашего этажа, а, предварительно вставив в щель свою электронную карту, нажимает на кнопку с надписью «подвал».

Я успеваю перехватить взгляд Лоренцо и понимаю, что мои глаза сейчас полны незадаанных вопросов, ужаса и предвкушения полного поражения. Но дверца лифта уже отползает вбок, и мы выходим. Лоренцо мягко подталкивает меня в спину, стараясь успокоить. Морган снова ведет нас куда-то, а тот солдат, по-прежнему безмолвный и спокойный, идет позади; его присутствие у себя за спиной я ощущаю как-то особенно болезненно.

Глава шестьдесят четвертая

Если наша огромная пустая лаборатория и кабинеты напоминали мне одинокие гробницы, то здесь, в этом подвальном помещении, работа буквально кипит. Общий зал разделен на крошечные отсеки, в каждом из которых по два человека; отсеки расположены очень тесно, стенка к стенке, да и эти полупрозрачные стенки высотой по плечо практически не создают ощущения личного пространства, зато позволяют постоянно наблюдать за сотрудниками. Эту функцию выполняют одетые в военную форму охранники, непрерывно патрулирующие коридоры и рабочие помещения. Я насчитала уже двенадцать охранников, и ни у одного из них нет в лице ни малейших признаков добродушия или веселости, как и у того солдата, что по-прежнему торчит у меня за спиной, причем настолько близко, что я постоянно чувствую его запах – тошнотворно сладкого лосьона после бритья, табака и подгоревшего кофе. Ни один из обитателей рабочих отсеков даже головы не поднимает, когда мы проходим мимо; все сидят, погружившись в таблицы и написанные от руки формулы, а некоторые просто тупо смотрят на экран компьютера невидящими глазами.

Здесь, должно быть, не менее полусотни человек, в этом лишенном окон и воздуха помещении. Некоторые из них – впрочем, большинство – молодые, только что из колледжа.

Я останавливаюсь, заглядываю в один из отсеков, и мне кажется, что я узнаю почерк Лин. Морган тут же щелкает пальцами у меня перед носом.

– Смотрите себе под ноги, Джин.

Лосьон после бритья, табак и кофе – я снова чувствую эту смесь вместе с жарким дыханием солдата, который теперь подходит совсем близко. Рука Лоренцо слегка касается моей руки и чуть-чуть задерживается, словно напоминая, что я здесь не одна.

Мы минуем очередной ряд рабочих отсеков и достигаем самой дальней стены этого помещения-улья. Морган вставляет свою карту-ключ в какую-то очередную щель, двойная дверь открывается, и мы входим в некое помещение, которое не слишком отличается от той комнаты этажом выше, где у нас находились подопытные мыши и кролики. Только здесь вместо пищавших мышей и подозрительно принимающихся флоридских кроликов размещены клетки с приматами. Точнее, с человекообразными обезьянами. Три ряда проволочных дверей вдоль обеих стен справа и слева от меня, на каждой табличка с идентификационным номером и четыремя

рядами дат: возраст, разновидность, дата проведения эксперимента, техник-смотритель. Уханье и ворчание шимпанзе, когда мы входим, становятся оглушительными.

Но не это меня беспокоит.

Три четверти клеток уже пусты. Но таблички на дверцах остались: ГИББОН, ГОРИЛЛА, ОРАНГУТАН – три из пяти самых крупных обезьян. Верещащие ШИМПАНЗЕ – четвертая группа. Но, похоже, половина клеток с шимпанзе уже пуста.

Я чувствую, что в горле у меня застрял какой-то противный сухой комок, и мучительно его сглатываю. Затем оглядываюсь на Лоренцо. Он так побледнел, что почти сливается с белыми лабораторными стенами. Ну, естественно, ведь его одолевают те же страшные мысли, что и меня.

Значит, они пытаются добиться результатов, работая с человекообразными обезьянами, используя по одной на каждый эксперимент. А шимпанзе, самых близких родственников человека, приберегают на крайний случай.

Или на предпоследний. Пятой разновидности приматов пока в клетках нет. Той самой, к которой они сейчас подбираются. Да, ее пока нет, но при одной мысли о том, что она может там появиться, у меня холодеет кровь.

Пятой разновидностью приматов, гоминидом, является человек. То есть мы, люди.

Колени у меня подгибаются, и я, споткнувшись, влетаю в клетку с табличкой «Эксперимент № 412» – это самец шимпанзе, который весит на добрых семьдесят пять фунтов больше, чем я. Предостережения Лин, которые она без конца повторяла, звучат у меня в голове, как клаксон.

«Никогда, Джин – именно так: *никогда!* – не подходи к ним близко! Для этого есть техники и зоологи, которые за ними ухаживают. Не корми их, не пытайся их побаловать, не вздумай даже на расстояние плевка приближаться к их клеткам. Всегда старайся находиться на середине помещения. Эти ребята способны и на три фута лапу вытянуть и цапнуть; и, уж поверь мне, они далеко не такие умные, как принято считать». Все это Лин высказала мне еще во время самого первого нашего совместного похода в эту лабораторию, то есть через несколько месяцев после того, как пришел ее грант, позволивший нам купить двух шимпанзе.

«А выглядят они очень умными, – возразила я. – Взять хотя бы вон того». «Вон тем» был четырехфутовый самец Мейсон, одетый в памперс и с наслаждением сосавший фруктовое мороженое на палочке.

«Погоди, детка, вот он оскалит свои клыки, тогда держись, – сказала Лин. – Эти ребята – бомбы с замедленным действием, но без часового

механизма. Такого и профессиональный борец, пожалуй, не удержит. Ты когда-нибудь слышала о Чарле Неш?»^[48]

Я покачала головой. «А надо было?»

«Нет. Я вот что тебе скажу: ты вспомни этого парня, Ганнибала Лектера. Вспомни, что он сделал с одной милой медсестричкой, когда на него забыли надеть ту дурацкую хоккейную маску. Так вот, по сравнению с шимпанзе доктор Лектер безвреден, как котенок под анестезией. И ты никогда не поймешь, что это тебя ударило и кто на тебя напал».

Я и сейчас не поняла, что меня ударило, но удар был сильный и пришелся в лицо, и я сразу почувствовала на губах горький привкус железа. А еще я чувствовала, что часть моего скальпа – та часть, которую «эксперимент № 412» злобно, словно с кем-то соревнуясь, тянул на себя с силой грузовика, – то ли обожжена, то ли пробита чем-то острым вроде мотыги. Мои колени звонко берут верхнее «до», с силой ударившись о плиточный пол, и я словно разрываюсь пополам под воздействием двух противоборствующих сил – собственной силы тяжести, тянущей меня вниз, и силы самца шимпанзе, который пытается поднять меня за волосы.

Я слышу какой-то странно слабый и далекий голос Лоренцо. Он кричит кому-то:

– Да сделайте же что-нибудь, черт бы вас всех побрал! Отгоните его к чертовой матери!

Неужели это он мне? Я поднимаю руку к голове, которая горит огнем, и чья-то чужая рука, а может, когтистая лапа, ловко ее хватает, и я думаю: «Ну да, Чарла Неш, Чарла Неш, Чарла Неш», – и это имя превращается перед моим внутренним взором в жуткую картину – у Чарлы Неш отсутствуют глаза, а ее руки выглядят так, словно их совали в мясорубку, и на лице у нее там, где должен был бы быть рот, черная яма.

Тут у меня над головой гремит один-единственный выстрел, и я уплываю куда-то вниз.

Глава шестьдесят пятая

Сознание я не потеряла. Если б потеряла, то, наверное, не чувствовала бы, как чьи-то тонкие пальцы, пробираясь сквозь мои спутанные волосы, прикасаются ко мне, приглушая жгучую боль в голове. И не стала бы про себя перечислять то, о чем никогда больше думать не стану – о зоопарках, сафари и собственных детских фантазиях на тему исследований Джейн Гудолл^[49]. И не услышала бы воплей Моргана, который орал, точно капризный ребенок, у которого отняли соску.

– Какого черта! Ты зачем это сделал? – все повторял он.

Наконец я открываю глаза и вижу того солдата, который сопровождал нас; его правая рука все еще сильно дрожит после того, что, вполне вероятно, стало его первым убийством, а взгляд так и мечется – он смотрит то на меня, то на Лоренцо, то на Моргана, то на мертвого шимпанзе «Эксперимент № 412» в клетке точно над моей головой. Ответить Моргану он так и не успевает, потому что тот снова начинает вопить:

– Нет, это просто потрясающе! Просто курам на смех! Ты что, совсем идиот? Да мне следовало бы посадить тебя в одну из этих клеток, только, боюсь, мозгов у тебя недостаточно, не хватит для наших опытов. Ты хоть знаешь, сколько эти твари стоят?

– Очевидно больше, чем я, Морган, – говорю я.

– Господи. – Слегка отрезвев от звуков моего голоса, Морган поворачивается к Лоренцо. – Ну что, сильно он ее поранил?

Лоренцо уже удалось отцепить от моих волос пальцы мертвого шимпанзе, и он положил меня прямо на плиточный пол, а сам принялся осторожно обследовать рану у меня на лице. Я чувствую, как в рот мне стекает струйка горячей крови.

– Так больно? – спрашивает он, ощупывая местечко возле виска.

Больно? Нет, пожалуй. Скорее, ощущение такое, словно меня проволокли лицом по листу грубого наждака. *Сильно жжжет.*

– Да, – говорю я, поднося руку к этому месту.

– Нет, не тронь. Рану сперва нужно очистить. Морган, принесите мне аптечку.

– Откуда мне знать, где тут у них эта чертова аптечка? Я руководитель проекта.

– Вы дерьмовый руководитель проекта, Морган, – спокойно говорит

Лоренцо. – И ученый вы на редкость паршивый, а уж исследователь и вовсе никакой, и учтите: если мне когда-нибудь доведется встретиться с вами наедине, я вас на части разорву и с наслаждением буду выдергивать из вас одну кость за другой. Все. Теперь начинайте искать аптечку. Для начала попробуйте заглянуть в тот угловой шкаф, на дверце которого изображен красный крест. – И Лоренцо шипит себе под нос: – Мудак!

– Слушай, со мной все нормально? – спрашиваю я, и мне очень хочется потрогать свое лицо и убедиться, что там все на месте.

– Более чем, – говорит Лоренцо. – Да, кстати, Морган, когда найдете аптечку, сразу же вызовите врача.

И я вижу, что ко мне приближаются начищенные туфли Моргана и останавливаются так близко, что я, кажется, могла бы увидеть в них собственное отражение.

– Нет, это невозможно. Подобные услуги сотрудникам могут оказывать исключительно представители охраны, если вам до сих пор это не известно.

Лоренцо, не обращая внимания на слова Моргана, принимается промывать правую сторону моего лица перекисью водорода, а потом аккуратно накладывает на рану повязку, закрывая бинтом практически всю щеку от корней волос до уголка рта.

– В общем, ничего страшного. Поверхностные царапины. Ты стоять-то можешь?

– Думаю, да. – Я уже снова вполне отчетливо вижу лабораторию и клетки с оставшимися в живых шимпанзе. – А что, собственно, происходит, Морган? – поворачиваюсь я к нему.

А Морган уже опять выглядит чрезвычайно деловитым и, похоже, почти забыл, что я едва не погибла, угодив в лапы расшалившегося примата.

– Ничего. Просто нам нужно, чтобы вы снова поскорее вернулись к работе.

– И чем же я теперь буду заниматься? Вы же сказали, что мы свою функцию выполнили. И этот ваш наемный головорез, мистер По, предупреждал, чтобы мы больше сюда не возвращались. И все наши рабочие файлы вы стерли.

Морган молчит, изучая шнурки на ботинках. Я терпеливо жду.

– Следуйте за мной, – говорит он, так ничего и не объяснив.

Покинув помещение с подопытными животными, мы снова проходим через несколько дверей и оказываемся в точно такой же лаборатории, какая была у нас. Здесь кипит невероятная активность. В таком шуме наверняка

никто и не услышал ни моих воплей, ни выстрела.

А может, и услышали, но им было все равно.

Уже через несколько секунд я замечаю, что на воротнике каждого лабораторного халата красуется золотая эмблема, а у каждого сотрудника на шее висит электронная карта-ключ, помеченная маленьким золотым квадратиком. Здесь, как и в том первом помещении с тесными отсеками на двоих, все работают, стараясь не поднимать головы, а проходы патрулируются солдатами.

– Добро пожаловать в нашу Золотую команду, – говорит Морган игривым тоном, который больше подошел бы ведущему шоу, а не ученому. Ничего удивительного – этот тип даже аптечку первой помощи не может найти, когда она буквально на него смотрит. Морган подводит нас к свободному лабораторному столу площадью в четыре квадратных фута и молча ждет, пока мы усаживаемся.

– Ладно, Морган. Ваша взяла, – говорю я. – Но что здесь, черт возьми, такое?

– Здесь вам предстоит работать. А это ваша новая команда. – Он широко поводит рукой как бы поверх склоненных голов, и я словно слышу, как он своим шоу-голосом говорит: «И все эти награды могут достаться именно вам!»

– Я что-то не понимаю...

– Ничего, скоро поймете. – И Морган кивает кому-то у меня за спиной.

Какой-то мужчина в бифокальных очках со стеклами толщиной с кирпич кладет перед нами на стол две толстые папки-скоросшивателя – по одной на каждого. На папках золотыми буквами написано: **СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО**. А внутри оказывается большая часть тех данных, что хранились в моем ноутбуке. Мужчина в бифокальных очках собирается тут же уйти, но я успеваю заметить в его унылой фигуре еще один проблеск золота – на безымянном пальце левой руки у него обручальное кольцо. Морган тем временем поворачивается к солдату, застрелившему шимпанзе – а он даром времени не теряет, – думаю я, – и дает ему какие-то указания, но слов я разобрать не могу.

– Джианна, – говорит Лоренцо и крепко сжимает мой локоть, но на меня не смотрит. Его взгляд блуждает по лаборатории, затем он поворачивается ко мне и стучит по тому пальцу левой руки, на котором носят обручальное кольцо.

Рабочее кресло, на котором я сижу, принадлежит к числу тех регулируемых устройств, где под сиденьем имеется специальный подъемный механизм. Я опускаю руку, нажимаю на рычаг и поднимаю

сиденье так высоко, что теперь и мне видна большая часть лаборатории. Люди работают, но видно, что они устали: они скребут в затылках, крутят в руках автоматические карандаши, трут воспаленные глаза, и почти на каждой левой руке, которая мне видна, красуется золотое обручальное кольцо.

И у каждого в глазах застыл страх.

– Это ведь не волонтеры, Энцо. Да?

Он качает головой: да.

– О господи! – Значит, практически каждый мужчина в этой команде женат и, возможно, имеет детей. – На это-то они их и поймали, – говорю я.

А Морган, который, похоже, закончил читать лекцию бедному солдату – тот выглядит так, словно ему только что выдали последний в его жизни чек с зарплатой, – возвращается к нам и бодро заявляет:

– Мне нужна формула сыворотки, ребята. К сегодняшнему вечеру. А к завтрашнему утру мне нужна уже сама сыворотка. Действующая.

– Но мы же только что создали одну действующую сыворотку, – говорю я. – И все пробирки с ней у вас. Все пять оставшихся. – Я заставляю себя сдержаться, когда Морган снова с упреком заводит свое «Джин, Джин, Джин...», и обеими руками вцепляюсь в край лабораторного стола, чтобы, не дай бог, не поддаться искушению и прямо сейчас не удушить этого урода.

А он с улыбкой поясняет:

– Вы создали одну сыворотку, Джин, а сейчас мне нужна еще и другая.

Я изображаю полное непонимание.

И Морган, хлопнув в ладоши, принимается живо объяснять:

– Ну, хорошо. Позвольте мне изложить все простыми словами. У нас запущен процесс выработки сыворотки «анти-Вернике». Она отлично работает. Мы все видели, как миссис Как-Ее-Там совершила невероятный прыжок от идиотской болтовни к восхищенному любованию забавным кроликом.

– Ее зовут миссис Рей, – говорю я. – У нее есть имя.

– Да какая разница! А теперь нам нужна такая же сыворотка, но другой направленности.

Лоренцо удивленно округляет глаза.

– Вам нужна семантическая противоположность, Морган?

Если этот лингвистический «пинок» и раздражает нашего босса, то он этого не показывает. А возможно, шутка Лоренцо просто оказалась ему не по зубам. Морган никогда не отличался способностями к лингвистике.

– Мне нужна полная противоположность той сыворотки, образцы

которой вы мне уже передали. Мне нужен нейтропротеин, который вызывает афазию Вернике, и он мне нужен к завтрашнему дню. Так что принимайтесь за работу.

Лоренцо не выдерживает первым.

– Что же все-таки они вам пообещали, Морган? Пожизненное членство в самом лучшем клубе Вашингтона с лучшими девочками? Я не знал, что у тебя до сих пор встает.

– Просто выдайте мне то, что я хочу получить.

В данный момент каждая пара глаз в лаборатории устремлена на нас.

– Нет, – коротко говорю я.

Морган наклоняется ко мне так близко, что чуть не касается носом моего носа.

– Извините, не понял. Я что-то вас не расслышал.

– Я сказала: «Нет». Это отрицательный ответ, Морган. То есть отказ удовлетворить вашу просьбу. Или – противоположность согласию.

Впервые за все время, что я его знаю, Морган смеется. Это даже не смех, а такой поверхностный смешок с придыханиями.

– Это не просьба, Джин. – Он смотрит на свои наручные часы, вздыхает, словно даром потратил слишком много своего драгоценного времени, и подзывает к нам одного из патрулирующих лабораторию солдат. – Капрал, отведите этих двоих в комнату № 1 и покажите им, что там внутри. А когда они хорошенько все рассмотрят, снова приведите их сюда.

Комната № 1 находится на другом конце лаборатории, и попасть туда можно, лишь преодолев целую череду запертых дверей и различных помещений. Там, видимо, может находиться все, что угодно. Я стараюсь не думать об описанных в романе Оруэлла бункерах с крысами и змеями. В любом случае это не самые большие мои страхи. Самые большие мои страхи ходят на двух ногах и имеют имена: Сэм, Лео, Соня. Да, самые большие мои страхи – это мои дети.

Капрал, облаченный в камуфляж и армейские ботсы, подводит нас к какой-то стальной двери и левой рукой – я замечаю, что он тоже носит обручальное кольцо, – вставляет карточку в считывающее устройство и отступает в сторону, ожидая, чтобы дверь отъехала вбок. За ней оказывается небольшой вестибюль и еще какая-то закрытая дверца. Почти сразу же та первая дверь снова выезжает из стены и наглухо закрывается. Лаборатория остается где-то далеко позади. Мы находимся в замкнутом помещении, более всего напоминающем гробницу.

Я ненавижу замкнутые пространства, всегда ненавидела.

Лоренцо берет меня за руку. Я чувствую жар его тела. Похоже, здесь жарко, как в топке. По лицу у меня стекают струйки пота, застывая на коже соляными дорожками и обжигая прикрытую повязкой рану на щеке. Но мне самой почему-то совсем не жарко. Наоборот, мне кажется, будто меня завернули в мокрую ледяную простыню, когда капрал, сделав еще пару шагов, отпирает последнюю дверцу.

Внутри крайне тесного помещения на единственной скамье или, точнее, дощатой лежанке – это единственный здесь предмет мебели, не считая унитаза без крышки, – сидят три человека.

Я вспоминаю тех огромных человекообразных обезьян. Горилл, орангутанов, гиббонов и шимпанзе. Да, разумеется, и гоминидов тоже.

И вот какой-то гоминид слева от меня произносит мое имя, мое старое имя, которого я не слышала уже лет двадцать. Но уже на втором слове имени «Джини» страшный удар электрического тока отбрасывает это существо к стальной стене. С тошнотворным глухим звуком тело ударяется об нее, и невнятное эхо разносится по всему помещению.

Этот удар похож на выстрел из пистолета с глушителем.

Глава шестьдесят шестая

Я бросаюсь вперед, хотя ноги у меня подкашиваются, но Лоренцо успевает схватить меня за руку и держит крепко, почти причиняя мне боль.

– Нет, – говорит он. – Если она снова заговорит, то следующий удар тока ее просто...

Он гораздо сильнее меня, но я все же вырываюсь и бросаюсь к той женщине, бессильно осевшей на дощатой скамье. В безжалостном резком свете лампы, висящей под потолком, она похожа на выброшенную на помойку старую куклу. В ней не осталось ничего от той Джеки, которую я знала, – той, которая носила тесные джинсы, низко сидящие на бедрах, и пестрые блузки с каким-нибудь диковатым принтом; той, которая, улыбаясь мне из-под челки цвета-сегодняшней-недели, заваривала травяной чай в нашей убогой квартирке в Джорджтауне и сыпала проклятья в адрес «Икеи», говоря, что в элементарной инструкции по сборке купленного там стола не смогут разобраться даже люди с несколькими учеными степенями. Сейчас на Джеки серая хламида того же оттенка, что и ее седые волосы; у нее мертвенно-бледная кожа и только ладони ярко-розовые, стертые до мяса за этот год изнурительной работы, которая, наверно, заставила бы даже самого упертого фермера отказаться от своего участка земли и подыскать себе любую, даже самую нудную, работу, связанную с перекладыванием бумажек с одного края стола на другой. На левом запястье у нее широкий черный браслет-счетчик, а ведь когда-то ее руку украшал магический браслетик с фигурками животных из китайского гороскопа.

– Джеко, – говорю я, нежно касаясь пальцами ее потрескавшихся губ, – ты только больше ничего не говори, Джеко. Не позволяй им делать тебе так больно.

И Джеки Хуарес, та самая женщина, которая, как мне когда-то казалось, способна остановить даже земной шар, безмолвно сползает в мои объятия и тихо плачет.

Дверь у меня за спиной с шелестом закрывается и снова открывается. Мне не нужно поворачиваться, чтобы проверить, кто вошел. Я этого ублюдка по запаху чую.

– Морган, – говорю я и слышу звук пощечины, затем тонкий удивленный вскрик Моргана и металлический щелчок затвора.

Это еще одна вещь, которую я знаю о стрелковом оружии: ты не

прицеливаешься и не стреляешь до тех пор, пока не готов убить.

– Осторожней, Морган, – говорю я, по-прежнему обнимая Джеки, – Лоренцо вам нужен. Или, по крайней мере, вам нужны его формулы.

Да нет, формулы ему, конечно же, не нужны: они у него уже есть, он ведь успел выкрасть записи Лоренцо. А я просто пытаюсь выиграть время.

И тут меня вдруг осеняет. Я вспоминаю, как Лоренцо метнулся из той верхней лаборатории к себе в кабинет, чтобы проверить, там ли его записи, а вернувшись обратно, покачал головой, как бы говоря мне, что записей там нет. Однако только что Морган требовал представить ему формулу сыворотки уже к завтрашнему дню...

– Солдат, – говорит Морган, – уберите оружие.

Я выпрямляюсь, оставив Джеки, и смотрю на Лоренцо. Тот стоит как вкопанный и вполне готов получить пулю в обмен на пощечину, которую только что влепил Моргану, и до меня окончательно доходит, что вряд ли Морган тогда сумел найти его записи.

Но кто-то же, черт побери, это сделал?! Кто?!

Этот вопрос гвоздем застревает у меня в голове, но я старательно заталкиваю его в самый дальний уголок на потом и снова поворачиваюсь к тем женщинам, что сидят на скамье.

Лин смотрит на меня, затем на Лоренцо. Рядом с ней, разумеется, Изабель, та аргентино-швейцарская красавица, которая вечно торчала у нас в лаборатории. Она по-прежнему выглядит сногшибательно, несмотря на то, что уже лишена своих чудесных белокурых волос, которые раньше водопадом струились у нее по спине.

Изабель Гербер.

Она и Лин облачены в точно такие же серые балахоны, что и Джеки, и сидят, прижавшись бедром к бедру и сложив на коленях руки. У обеих на левом запястье широкий черный браслет.

– Этих поймали, когда они в машине развлекались, – презрительно сообщает Морган. – Обнимались, лесбиянки проклятые.

Лин приоткрывает рот, собираясь что-то сказать, но, передумав, снова его закрывает. Процесс принятия этого решения занимает в лучшем случае секунду, но он полностью отражается в ее глазах.

Краем глаза я замечаю, как руки Лоренцо снова сжимаются в кулаки, и говорю:

– Не делай этого, Энцо. Он того не стоит.

И мне вдруг становится жаль, что ту пробирку я оставила в машине. Я бы сейчас с удовольствием вытащила ее и затолкала бы вместе со всем содержимым Моргану в пасть, в глотку, прямо с осколками стекла и

обрывками латекса. Или даже еще лучше, смаковала я возможность некоего невыполнимого наказания, запереть Джеки, Лин и Изабель в одном тесном помещении с этим ублюдком. В какой-нибудь звуконепроницаемой камере без окон...

– Ну что, ребята, теперь вы готовы работать? – прерывает мои мысли противный голос Моргана. – Или мне отправить одну из этих прямиком в Форт Мид?

Судя по выражению лиц несчастных женщин, Морган уже внес их имена в соответствующий список и каждой по очереди весьма доходчиво описал, что ее там ожидает.

«По очереди», – думаю я. Все в жизни происходит в итоге в той или иной форме очередности; сперва, двадцать лет назад, у меня не было времени на митинги, а чтение учебников, сдача устных экзаменов и получение квалификационных документов казались куда важнее участия в маршах, которые организовывала Джеки, или в чаепитиях, которые устраивало общество «Планируемое материнство». И вот теперь наступило время совсем иной очередности событий; и я целых двадцать четыре часа еще буду вынуждена ждать, прежде чем узнаю, кто там внутри меня – мальчик или девочка. А Лоренцо при этом необходимо как можно скорее уехать, уехать, «пока еще есть время», хотя я уже не уверена, что у нас обоих теперь вообще осталось хоть какое-то время. А еще на очереди выполнение заказа, для которого Морган определил крайне жесткие сроки. И до утреннего заседания у президента осталось всего восемнадцать часов...

И теперь уже не вернешь то мгновение, когда я вlepила Стивену пощечину. Как и множество других мгновений, которые я когда-то мечтала вернуть...

Морган делает шаг вперед и жестом фокусника извлекает из внутреннего кармана пиджака три одинаковых розовых буклета, разворачивает их веером, точно игральные карты, и раздает по очереди Изабель, Лин и Джеки.

– Не забудьте прочесть вслух ваши манифесты, *девочки*, – напоминает он, отвратительно подчеркивая это «девочки».

– Вы это серьезно, Морган? – говорю я.

– Что с вами, Джин? Вы забыли, что это не я устанавливаю правила? Объяснитесь с преподобным Карлом, если они вам не нравятся. – Он смотрит на мое запястье и смеется, точнее противно хихикает. – А вы, *девочки*, лучше поторопитесь, пока ваши браслеты снова не ожили.

Джеки, глаза которой уже вновь сухи и смотрят точно так же, как и

двадцать лет назад, берет буклет, лежащий рядом с ней на скамье, и, лишь мельком взглянув на него, запускает им Моргану в рожу. И буклет с весьма смачным шлепком попадает ему точно в лоб.

Морган и не думает наклоняться, чтобы его поднять, а пренебрежительно отшвыривает ногой, и буклет отлетает к противоположной стене крошечной камеры.

– Ничего, вы у меня получите хороший урок, – злобно бросает он и жестом приказывает капралу открыть дверь.

Лоренцо берет меня за руку и помогает подняться, поскольку я по-прежнему стою на коленях возле Джеки.

– Держи себя в руках, Джеко, – говорю я ей. – Обещаешь?

Она молча кивает.

– А я постараюсь сделать все, что в моих силах.

«Все, что мне давно уже следовало сделать!» – сердито думаю я, следом за Морганом выбираясь из этой темницы в жужжащий улей лаборатории.

Глава шестьдесят седьмая

В лаборатории есть телевизор с плоским экраном размером с футбольное поле. Разумный размерчик, полагаю, для тех мужчин, кто такие вещи любит и покупает, а потом большую часть своего уик-энда проводит, глядя на экран, где другие мужчины пинают кусок свиньи^[50] по полю с «астротерфом».

Экран такой огромный, что, когда на нем появляется преподобный Карл, одетый, как всегда, в своем излюбленном похоронном стиле, не смотреть на него просто невозможно. Да еще и кто-то прибавил звук практически до оглушительного рева.

– Друзья мои, – говорит Карл, раскрывая объятия своим фирменным жестом, словно Христос-Спаситель из Рио-де-Жанейро, – новости у меня для вас, к сожалению, не слишком приятные.

– Ну еще бы! Это уж точно, – шепчу я Лоренцо, который снова поглощен своей стоихиометрией, язык которой столь же чужд мне, как и те слова, что доносятся с экрана телевизора.

– Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. – Руки преподобного Карла плавно взмывают вверх и как бы прижимают воздух вокруг него к полу; гул в аудитории затихает. Трудно сказать, где именно он находится, но толпа, пожалуй, слишком велика для того зала Белого дома, где обычно проходят пресс-конференции. И к тому же Карл явно стоит на сцене. Может быть, это Центр Кеннеди? Или Арена Стейдж на юго-западе округа Колумбия? Уже больше года прошло с тех пор, как я в последний раз видела нечто, похожее на живое представление. Спектакли – те немногочисленные из них, которые пропускает цензура, – это либо семейные сопливые саги, изувеченные цензорами до неузнаваемости, либо нечто слишком дорогое для большинства из нас.

А Карл между тем продолжает зачитывать вслух куски из манифеста Истинных – строчку за строчкой, одно мудрое высказывание за другим. Главная тема настоящего выступления – страдание. Собственно, это одна из его любимых тем.

– Друзья, дорогие мои друзья, страдание в нашем земном мире – это неизбежная реальность. Порой мы призваны страдать во имя добрых деяний, но в данный момент вряд ли кто-то страдает сильнее, чем я. – Эффекта ради следует продолжительная пауза. Преподобный Карл любит

преподносить собственные идеи не спеша – о страдании он говорит или о каких-то других вещах. – Сегодня у нас здесь объявилась заблудшая овца. – Камера наезжает, и на экране видно только его лицо, улыбающееся, но на щеках дорожки от слез; затем камера снова отъезжает, и видно, как он простирает правую руку и приглашающим жестом машет кому-то за кулисами: – А вот и наша овечка. Идите, идите сюда.

Из-за кулис справа появляется чья-то одинокая фигура. Не знаю уж, кого я ожидала увидеть. Скорее всего, пожалуй, Дэла. Или еще одну Джулию Кинг. Да кого угодно.

Но только не собственного сына.

Толпа на экране дружно ахает – если, конечно, там есть какая-то толпа; вполне возможно, что это просто монтаж, – но это «ах» заглушает взволнованное «ох», вырвавшееся из пятидесяти глоток тех, кто присутствует в лаборатории. Щурясь и моргая в слепящем свете прожекторов, Стивен, едва волоча ноги, бочком выходит в центр сцены; над ним с распростертыми руками возвышается преподобный Карл.

– Ему же всего семнадцать лет, – шепчу я Лоренцо. – Всего семнадцать!

Объяснять ничего не надо; Лоренцо не раз видел фотографии моих детей. Когда-то в давние времена этими фотографиями был заставлен буквально весь мой кабинет.

– Вот, пожалуйста, – говорит преподобный Карл, – этот юноша был пойман в таком месте, где ни одному мужчине или мальчику находиться не следует. – Он поворачивается к Стивену. – Разве это не так, сын мой?

Стивен пытается что-то сказать, затем просто кивает. Ярость кипит в каждой моей артерии, в каждой вене, и давление ее так велико, что у меня вырывается сдавленный стон.

Большую часть остальной речи Карла я пропускаю, потому что не способна слышать больше ничего, кроме стука собственного сердца, который оглушительным эхом отдается у меня в ушах. Впрочем, отдельным словам все же удастся сквозь этот шум в ушах прорваться, и они свинцовыми чушками падают прямо мне в душу: «прелюбодей», «предатель», «достойный пример», «судебное разбирательство».

Затем преподобный Карл призывает аудиторию присоединиться к нему в молитве и, взяв Стивена за руку, склоняет голову. Камера в очередной раз наезжает, и на экране видны их сплетенные пальцы. Причем пальцы Карла обвивают всю кисть Стивена, точно грозные удавы-констрикторы, а пальцы Стивена выглядят вялыми и безжизненными – пять беспомощных единиц, из которых до последней капли выжата жизнь. На пять дюймов выше

ладони моего сына виднеется широкая металлическая полоса, обвивающая его левое запястье.

Миллион лет назад – да нет, всего-то двадцать, но такое ощущение, словно прошел не один миллион, а *десятки миллионов* лет, в которые слились все жизни обитателей этого мира, вместе взятые, – Джеки спросила меня, что бы я сделала, чтобы остаться свободной. Вчера ночью на кухне за столом – и это кажется столь же далеким, как та наша квартирка в Джорджтауне, – я спросила у Патрика: мог бы он для этого сделать все на свете, даже убить человека.

И вот сейчас, имея на рабочем столе наполовину выпеченную формулу *той самой сыворотки*, а на экране телевизора лик преподобного Карла, отечески бранящего Стивена, я складываю все эти вопросы и прихожу к одному-единственному ответу:

Да, я бы сделала все на свете. Я бы даже убила.

Та новая женщина, которой приходит в голову столь отчетливая мысль, совсем на меня не похожа.

Или все-таки похожа?

В любом случае мне она, пожалуй, нравится, эта новая Джин. И она, черт возьми, нравится мне все больше и больше, когда я замечаю, как улыбается Морган, глядя на телевизионный экран.

Глава шестьдесят восьмая

В пять часов пополудни, в воскресенье, в то самое время, которое обычно бывает преддверием чудесного летнего вечера, полного запахов барбекю и жужжания июньских жуков, Морган сообщает, что домой никто из сотрудников не пойдет.

– Кафетерий на третьем этаже, ребята. Комнаты отдыха на шестом и седьмом. Если вам нужно позвонить, обратитесь к сержанту Петроски. – Морган кивает в сторону передвижного пункта охраны у входа в лабораторию. – Спок-ночи, народ, – говорит он и, вильнув хвостом, моментально исчезает.

– Держитесь поближе к клеткам с шимпанзе, когда пойдете через помещение с подопытными животными! – кричу я ему вслед. Он, конечно, этого не сделает, но мне приятно думать, что какой-нибудь разъяренный зверь может располосовать ему физиономию. Я поворачиваюсь к Лоренцо:

– Наша главная надежда – это сержант Петроски. А у тебя какие успехи?

Он широко улыбается и с наслаждением откидывается на спинку рабочего кресла.

– А у меня уже все готово.

– Не может быть!

И Лоренцо тут же начинает растолковывать мне всякую химическую премудрость, потом говорит:

– Мне нужно, чтобы ты сама на это взглянула, Джианна. – У него выведен набор корреляций между предыдущим нейропротеином, который мы столь успешно испытали на миссис Рей, и семантической беглостью речи. Затем он показывает мне те страницы, где изложены все его достижения за сегодняшний день, и спрашивает: – Ну как? Правда выглядит неплохо?

Выглядит просто потрясающе. Но при одном взгляде на эти формулы у меня возникает ощущение, словно мы спустили с поводка самого дьявола.

– Энцо, но ведь даже такого количества нам было бы достаточно, чтобы отравить здесь все... и при этом у каждого окажется полностью разрушено... – я снова сверяю выведенные им показатели с моими собственными, – более трех четвертей верхней височной доли! То нарушение речи, которым страдала миссис Рей, покажется тогда сущей чепухой. Эта штука способна даже Генри Киссинджера превратить в

немого. И всего за какие-то пять секунд.

Лоренцо все еще улыбается.

– Но это же прекрасно, не правда ли?

«В зависимости от того, каково твое представление о прекрасном», – думаю я. И у меня тут же возникает поистине восхитительная мысль, которая, должно быть, тут же отражается и на лице, потому что Лоренцо вопросительно приподнимает бровь и деловито спрашивает:

– Вообще-то я мог бы состряпать эту штуку в течение нескольких часов. А что, у тебя есть на примете первый испытуемый?

– А как ты думаешь? – говорю я, внимательно оглядывая ряды сотрудников. Но, похоже, никто в лаборатории к нам не прислушивается. Сотрудники потихоньку переговариваются, но темой их разговора в основном является очередное выступление по телевизору преподобного Карла и «тот бедный мальчик – интересно, что он такое сделал?»

– Мне кажется, – говорит Лоренцо, изогнув сперва одну бровь, потом другую, – все великие умы мыслят похоже.

– И мы порой мыслим так же, – заканчиваю я за него. – В любом случае уж лучше Морган, чем кто-то из *тех* женщин, – и я указываю подбородком на запертую дверь в дальнем конце лаборатории. – Ты же видел, сколько шимпанзе у них осталось. Когда кончатся шимпанзе, Моргану захочется поэкспериментировать с более высокоразвитыми человекообразными.

Лоренцо перестает жевать кончик карандаша и начинает задумчиво постукивать им по зубам. Это старая его привычка, но я-то больше года уже не видела, как он это делает.

– Есть одна зацепка... – медленно начинает он.

– Да? И какая же? От этой штуки люди становятся синими, как пресловутая буква «И»?

– Нет, не синими.

– О господи. Так это смертельное средство?

– Вполне возможно. – Он тычет пальцем в набор формул на странице блокнота, лежащего между нами.

– Эти формулы совсем не похожи на твои старые, – говорю я и поспешно читаю дальше, но чем больше я вчитываюсь, тем ясней понимаю, ЧТО придумал Лоренцо. – В воде это не растворяется... и в кровотоке его ввести невозможно.

– Совершенно верно. А если все же это сделать, то у подопытного буквально поджарится половина головного мозга. Это непременно нужно вводить строго локально. *In situ*^[51], как сказал бы Цезарь. Одно дело –

восстанавливать клетки. Промахнешься мимо одной, и ладно, ничего страшного, у тебя есть еще парочка-другая более удачливых нейронов. А вот разрушать клетки – задача совсем иного уровня.

– Да тут целый клубок проблем! – И я сразу понимаю, каков единственный – и, естественно, правильный – способ добраться до нужного отдела головного мозга. Эта операция настолько естественна, что я не в силах произнести ее название, которое буквально визжит в моем мозгу: *трепанация*. – Нет, это совершенно невозможно, Энцо! Так у нас никогда ничего не получится. – Но для меня дело не только в этом. Одна мысль о том, чтобы я взяла в руки электрическую дрель и с ее помощью вскрыла человеческий череп – пусть даже череп Моргана, – вызывает у меня дурноту.

– Может, и не получится. – Лоренцо задумчиво осматривает лабораторию, словно пересчитывая сотрудников по головам с помощью своего карандаша. – Здесь пятьдесят человек, не считая этих мальчиков в синей форме. Похоже, большую их часть взяли на работу прямо с университетской скамьи. И все же они *не настолько* юны. Это уже не вчерашние школьники, Джианна, а, по крайней мере, аспиранты. Может, нам с тобой стоит прогуляться по лаборатории и попробовать прочесть, что написано на их ID-картах? Скажем, ты начнешь с этого конца, – и он указывает на вход в лабораторию, – а я пойду в обратном направлении. Никаких подробностей не нужно, главное – должность и степень. Поняла? Если у кого-то возникнут вопросы, скажешь, что просто идешь к столу охранника, чтобы позвонить мужу. Насчет машины.

Мне и впрямь нужно позвонить Патрику, поскольку, видимо, в ближайшее время мне из этого здания не выбраться. А ему и самому может понадобиться «Хонда» или хотя бы то, что я в ней оставила. И я, покинув свой рабочий отсек в четыре квадратных фута, начинаю медленно продвигаться по проходу в сторону стола сержанта Петроски. Медленно-медленно.

– Мне нужно позвонить, – говорю я ему, – и сказать мужу, что сегодня вечером я домой не приеду.

Петроски улыбается.

– Конечно, мэм. Какой номер?

– Я сама наберу.

– Боюсь, мэм, мне придется сделать это за вас.

Ну, разумеется! Может, ему и говорить придется вместо меня?

И тут я оказываюсь права. Петроски спрашивает, что передать, и

вручает мне чистый листок из блокнота и ручку.

– Вы просто запишите все вот здесь, а я передам. Слово в слово.

Пишу я очень коротко: *Забери со стоянки машину и непременно захвати из нее Сонину поилку. Она бы очень расстроилась, если бы ей пришлось ложиться спать без ее любимой поилки.* Это не совсем ложь, особенно если использовать кое-какие глаголы в сослагательном наклонении. Я отдаю записку Петроски и три раза моргаю.

Он тоже три раза моргает в ответ.

– Что-нибудь еще, доктор Макклеллан?

Я вспоминаю, что, когда мы с Лоренцо пришли, за этим столом сидел какой-то другой солдат, значит, Петроски заступил на дежурство совсем недавно.

– Сегодня вечером вы дежурите?

– Да, мэм. Еще одна ночная смена.

Я смотрю на его обручальное кольцо.

– Вы женаты?

Ну конечно, женат.

– Да, мэм. В этом месяце будет уже два года. – Его губы растягиваются в растерянной улыбке. – Мы еще в школе были влюблены друг в друга.

– Я тоже вышла замуж довольно рано, – говорю я, стараясь не думать о том, что это, возможно, не самый разумный способ завязать с этим парнем более близкие отношения. – И детей тоже начала рожать довольно рано. А у вас дети есть?

Петроски колеблется, его застенчивая улыбка тает, но он все же отвечает:

– Есть. Девочка. Ей в апреле годик исполнился. – И гораздо тише он прибавляет: – Всего лишь годик! Могу я задать вам вопрос, мэм?

– Конечно.

– Послушайте, я, конечно, никакой не ученый. У меня школьный аттестат, ну и еще кое-какие лекции в муниципальном колледже посещал, но потом решил все же пойти служить в армию. Во-первых, это постоянное жалованье и прочее обеспечение. А потом, знаете ли, когда двадцать лет прослужишь, то получаешь пенсию. Медстраховка, ну и так далее.

– Да, у нас действительно умеют сделать так, что служба в армии звучит весьма привлекательно, – говорю я.

Он наклоняется ко мне.

– Но вообще-то я в детях хорошо разбираюсь, мэм. Я ведь старший в семье. У меня пять братьев. Самый младший родился, когда мне было уже пятнадцать. Его Дэнни зовут. Хороший парнишка.

Я молча киваю. А этот сержант «соль-земли» продолжает:

– Дэнни уже в пять месяцев понимал, что значит «нет». Ему еще и года не исполнилось, а он уже умел говорить «мама», «папа» и «Буу». Буу – так нашу собаку звали. Не то чтобы в его разговорах было много смысла, но все-таки он *говорил*. А потом и вовсе.... – Петроски шлепнул по столу ладонью – хоп – и сразу пошли предложения! Коротенькие, в два слова, типа «Хочу сока», и всякие вопросы вроде «Где Буу?». Это было прямо какое-то чудо, понимаете?

Понимаю. У меня четверо детей прошли все эти стадии развития. Сперва прелингвистическая болтовня, затем предложения из одного слова или из двух – обычно только подлежащее и сказуемое, ничего больше. А затем, выражаясь языком Петроски, *хоп и все*. И сразу полноценная речь. В три года Стивен уже вполне четко формулировал свои требования: «Отведи меня в школу» (по утрам) или «Пожалуйста, свари шоколад» (в полдень).

Но мне также известна и обратная сторона этого процесса. Как, впрочем, и Петроски.

– Я однажды видел один документальный фильм, мэм, – говорит он. – Даже до конца не смог досмотреть – уж больно страшно. В этом фильме люди держали свою маленькую дочку взаперти и не разговаривали с ней, по-моему, лет двенадцать. Двенадцать *лет*, мэм! Вы представляете?

Я качаю головой, хотя прекрасно могу себе это представить. Такое иногда случалось.

А этот лингвист-самоучка Петроски продолжает, даже не сознавая того, насколько правильны его выводы:

– Значит, если взять ребенка – любого ребенка – и позволить ему говорить, то он и будет говорить. А если не позволить... – он снова шлепает ладонью по столу, – то *хоп и все*: говорить он так и не будет. Словно у детишек внутри что-то вроде часового механизма...

– Да, именно так и есть. – Ни к чему рассказывать сержанту Петроски о гипотезах, связанных с критическим периодом развития речи, также известным как теория «используй-или-потеряешь». Он и так прекрасно уловил суть, не пользуясь хитроумным лингвистическим жаргоном.

– Я, вообще-то, вот о чем хотел спросить, мэм... – И он смотрит мне прямо в глаза. А у него глаза ярко-голубые и очень спокойные, но в их глубине таится боль. – Что случится с моей маленькой дочкой, если ей так толком и не разрешат заговорить? Она что, превратится в недоразвитую немую женщину? И ее в итоге поместят в особый приют? Как ту девочку Джини из фильма?

У меня для него есть тысяча ответов, но ни одного я сейчас озвучить

не могу. Джини, та девочка из документального фильма, так говорить и не научилась. Хотя ее много лет всячески пытались как-то к этому подтолкнуть лингвисты, которых, впрочем, куда больше интересовали собственные исследования, связанные с подобным феноменом, или публикация очередной книги, посвященной Джини, чем судьба самой девочки. Так что Джини действительно в итоге оказалась именно там, где и предположил Петроски: в особом приюте.

Дополнив свое послание Патрику кое-какими завершающими штрихами, я отдаю записку Петроски, а он, вдруг схватив меня за руку, горячо шепчет:

– Вы ведь можете помочь? Вы ведь доктор, да?

Я кивнула. Да, вроде бы так.

– Так вы можете помочь? – Он умолкает, смотрит на три полоски, нашитые на рукав, и говорит: – Вы же понимаете, я принес присягу... Но, может, нам все-таки удастся как-то из этого выбраться? Не может же эта история с Истинными длиться вечно.

Так. Пожалуй, пора подбросить в огонь еще полешко.

– Вы правы. Не может. И, возможно, не будет. Еще несколько лет, и о преподобном Карле будут упоминать лишь в примечаниях. Хотя, конечно, он может и надолго тут застрять.

– Да? – Петроски вытягивается в струнку.

– Знаете, сержант, – говорю я, на ходу что-то выдумывая, приукрашивая и проклиная себя за то, что сознательно разжигаю пламя, – несколько лет назад мне попала одна статья... Обычно считалось, что детям нужно дорасти лет до тринадцати-четырнадцати, чтобы... произошло это ваше «хоп и все». Но вот что я вам скажу как эксперт: на это детям отведено гораздо меньше времени. Года три-четыре, а потом их головной мозг вроде как... – я ищу подходящее слово, – вроде как отключается.

Сержант Петроски бледнеет, и я невольно морщусь, хотя именно такой реакции я и добивалась.

– Ну, я, пожалуй, лучше вернусь на свое рабочее место, – говорю я. Парню все равно нужно дать хотя бы несколько минут, чтобы он сумел все это переварить. А я пока обсужу дальнейший план действий с Лоренцо.

Оставив у Петроски на столе ключи от «Хонды», я возвращаюсь в свой отсек, но на этот раз несколько иным путем. Половина ID-карт оказывается повернутой вверх ногами, но примерно дюжину мне все же прочесть удастся, поскольку я, памятуя о совете Лоренцо, обращаю внимание только на те графы, где указана степень и должность.

Глава шестьдесят девятая

Примерно два процента населения имеют докторскую степень. Если игнорировать степень по английскому языку, то процент будет еще меньше. Значительно меньше.

– Я насчитала девять, – говорю я. – Примерно из двенадцати.

Лоренцо с ID сотрудников повезло значительно больше.

– А я пятнадцать из двадцати.

Две трети, три четверти – какая разница: в этой лаборатории полно специалистов. Между прочим, при наличии достаточного времени можно и обезьяну прямо на машинке шпарить наизусть сонеты Шекспира. А в такой лаборатории, как эта, можно, черт возьми, и ракету для полета на Марс построить, причем за куда меньший срок, чем в космической отрасли. Итак, вы пытаетесь создать нейротоксин? Можно успеть и за одну ночь.

И как раз завтра утром состоится то совещание, на котором будет присутствовать Патрик.

Я снова окидываю взглядом помещение лаборатории. У всех сотрудников страшно усталый вид, однако они по-прежнему заняты делом. Лоренцо задал им задачу: создать к завтрашнему утру нечто такое, что способно будет удовлетворить Моргана.

– По-моему, я нашла нам союзника, – говорю я.

– Да?

– Вон он. Стоит у стола охранников.

Лоренцо, вытянув шею, пытается разглядеть Петроски за склоненными головами сотрудников.

– Ты что, шутишь?

Петроски, может, и не самый светлый ум в этом заведении, но у него есть два необходимых мне качества: он до чертиков боится за свою дочку, и он достаточно физически силен. Не повредит и то, что он носит армейскую форму, а на ремне у него целая связка ключей.

– Посмотри вокруг, Энцо, – говорю я. – Эти ребята работают круглосуточно. Они смертельно устали. – Я еще не успеваю закончить эту фразу, когда трое мужчин встают – каждому из них на вид лет сорок – и цепочкой направляются к выходу из лаборатории в сопровождении охранника.

– Целую неделю детей не видел, – жалуется один, проходя мимо нас.

– Что дети! – говорит второй. – Моим, например, мое отсутствие

только на руку. А вот жена очень даже недовольна...

– Если я прямо сейчас не поем и не выпью, то к завтрашнему дню просто сдохну, – бормочет третий, и кажется, что он вот-вот заснет на ходу.

– Видел? Понимаешь теперь, что я имею в виду? – спрашиваю я у Лоренцо, когда еще пять рабочих пчелок сигнализируют охране, что тоже готовы немного попасться. – Нужно просто подождать.

– Неверное решение, Джианна. – Лоренцо внимательно на меня смотрит. – Тебе нужно только одно: немного поспать. Хотя бы пару часов.

Мне кажется, у меня столько же шансов уснуть, сколько получить Нобелевскую премию. С другой стороны, Лоренцо прав. Я словно на полной скорости врезалась в незыблемую стену усталости, а для выполнения моего следующего задания требуется абсолютная бодрость и ясность мышления.

– Хорошо, два часа максимум. Но только при условии, что и Морган проторчит здесь всю ночь.

– Да проторчит он, не волнуйся. Кстати, когда будешь отсюда выходить, проверь заодно, как там твой новый приятель. – Лоренцо изображает страшноватую улыбку и предупреждает: – Только не особенно с ним флиртуй. Учти, я ужасно ревнив. – С полочки за спиной он берет планшет, проводит по нему рукой, что-то на нем выстукивает невероятно длинными и элегантными пальцами и вручает планшет мне. – А это немного легкого чтения на ночь.

И я читаю на экране название:

– «Сравнительная нейроанатомия приматов». И это, по-твоему, «легкое чтение»?

– В буквальном смысле. Этот планшет весит меньше фунта.

– А сколько весит книга?

– Ну, там примерно пятьсот страниц... Но тебе нужны только седьмая и восьмая главы. – Он, должно быть, прочел в моих глазах невысказанный вопрос, а потому пояснил: – Видишь ли, мне бы хорошо самому это прочесть, но в таком случае придется начинать с нуля. И потом, я просто не смогу разобраться во всей этой дребедени и одновременно все здесь устраивать. Так что встряхни свои глубинные знания в области науки о человеческом мозге и постарайся, хорошо? – И Лоренцо, вновь повернувшись к стоящему перед ним компьютеру, достает клавиатуру и начинает заполнять форму по учету лабораторных животных, то и дело консультируясь со списком доступных подопытных объектов. В графе для идентификационного номера он печатает 413, затем перемещается в конец страницы на свободное пространство и опять начинает долбить по

клавишам. Я вижу, как он печатает: введение успокоительного, трепанация, внутричерепная инъекция экспериментальной сыворотки Вернике 5.2.

– О господи, – говорю я, мгновенно представив себя со сверлом в одной руке и с планшетом в другой, где на экране напечатана пошаговая инструкция. Нетушки, думаю я, на это я не подписывалась! Я ведь тоже совсем мало в этом смысле.

– Ты – это все, что у меня есть, – отвечает Энцо, и я вижу, как в графе «Техник» он печатает: *доктор Джин Макклеллан*.

– Мы ведь *должны* это сделать, да? – неуверенно спрашиваю я.

– Да. Либо это, либо всего лишь прикончить Моргана. – Уголки губ Лоренцо чуть приподнимаются в усмешке. – Если, конечно, ты не хочешь именно этого.

Разумеется, я именно этого и хочу. Но нет смысла быть такой жадной. Морган, утративший способность говорить, ничуть не хуже.

– Ладно, – говорю я. – Я иду наверх. Пошли кого-нибудь за мной, если я к десяти не вернусь, ладно?

– Договорились.

Я не останавливаюсь возле стола охраны и не прошу Петроски сопроводить меня в комнату отдыха. Вместо этого я направляюсь к стоящему рядом с Петроски солдату и достаточно громко, чтобы и Петроски наверняка это услышал, говорю:

– Мне нужно хотя бы ненадолго закрыть глаза и попробовать уснуть. Вы не могли бы проводить меня в комнату отдыха?

Пока этот охранник громко спрашивает у оставшихся в лаборатории сотрудников – лаборатория, кстати, уже наполовину опустела, – не хочет ли еще кто-нибудь перекусить или поспать, Петроски кивком головы подзывает меня к себе и сообщает:

– Я позвонил вашему мужу.

– Прекрасно. Спасибо. – Я бы не хотела сама просить его о помощи – будет куда лучше, если подобное предложение последует от него.

И оно следует.

– Я мог бы еще что-нибудь для вас сделать?

– Если честно, то да. Есть кое-что.

Его лицо, гладкое, безусое и невинное, как у младенца, радостно вспыхивает, когда я подробно объясняю ему, что именно мне от него требуется.

Глава семидесятая

Пока Лоренцо на восемь этажей ниже вводит седативы четвертому шимпанзе под несчастливым номером 413 и устанавливает оборудование, которое будет нам необходимо, я, не раздеваясь, усаживаюсь на узкую койку и, с трудом переваривая подсохший сэндвич из кафетерия, пытаюсь читать седьмую главу труда, посвященного нейроанатомии приматов, в которой, как известно, приводится детальное описание головного мозга нашего ближайшего родственника, шимпанзе. Как ни странно, моя тошнота на время, видимо, отступила, за что в основном следует благодарить одного из моих «ближайших родственников», шимпанзе за номером 413, который сегодня днем меня чуть совсем не покалечил.

Я открываю в планшете новое окно и проверяю базу данных по опубликованным в медицинских журналах статьям по краниотомии и различным процедурам трепанации черепа, время от времени поглядывая на недоеденную половину своего сэндвича. Хлеб с сыром как-то не очень хорошо компануется с подобным чтением на ночь, и я решительно откладываю сэндвич в сторонку и погружаюсь в изучение своего нового друга, специальной дрели для мягкой перфорации черепа.

Когда меня начинают одолевать мысли о том, что я никоим образом не смогу преодолеть себя и просверлить дыру к обезьяньему черепе, не говоря уж о черепе человека, я вспоминаю Джеки, Лин и Изабель.

Соберись, Джин!

И я продолжаю читать, пока мои веки сами собой не смыкаются под воздействием силы тяжести, а планшет не выскальзывает у меня из рук.

Стук в дверь раздаётся, как мне кажется, в ту самую минуту, когда я наконец-то погружаюсь в сон.

– Доктор Макклеллан? – Голос звучит приглушенно, невнятно.

– Да.

– Пора идти. Доктор Росси говорит, что вы нужны ему в лаборатории.

Всем от меня что-нибудь нужно! А вот мне, например, нужно как следует отоспаться – примерно с недельку.

– Хорошо. Сейчас иду. – Я заставляю себя встать и привожу в порядок свою одежду – судя по ее виду, спала я крепко, хотя и очень недолго. Затем я открываю дверь и вижу перед собой Петроски. Он выглядит так, словно постарел лет на десять за то время, что меня не было в полуподвальном помещении лаборатории.

– Хорошо отдохнули, мэм?

Мои губы сами собой бормочут что-то вроде «да, спасибо», но моя тяжелая голова решительно с этим утверждением не согласна. С трудом переставляя непослушные ноги и заставляя их делать что полагается, я все же добредаю до лифта и вхожу в кабину вместе с сержантом Петроски.

– Все сделано, – говорит он. – В точности так, как вы просили.

– Хорошо. А теперь послушайте, сержант. Вы свою часть дела выполнили. И на эту минуту вам известно лишь, что доктор ЛеБрон направился в лабораторию в... Кстати, который час?

– Пять минут одиннадцатого, мэм, – и он даже подносит мне к самому носу свое левое запястье, чтобы я могла убедиться сама.

– Хорошо. Значит, ЛеБрон направился в лабораторию без десяти девять. А еще он мельком заметил, что у него болит голова. Больше вам ничего не известно.

Ничего удивительного, что на каждое мое предложение Петроски с военной четкостью откликается своим «да, мэм» и заботливо удерживает кнопку, открывающую дверцы лифта, пока я оттуда выбираюсь. Однако у входа в лабораторию он останавливается. Медлит?

Пожалуйста, только не струсь! Только не сейчас! Я не могу с уверенностью сказать, кого мысленно прошу об этом – Петроски или себя.

Он вставляет в щель свою карту-ключ, ждет, когда зажжется зеленый свет, и вот я уже внутри. Мы проходим мимо оставшихся шимпанзе, которые по-прежнему ухают в своих клетках, и я замечаю, что вольер, где содержалась обезьяна № 413, пуст.

И в основной лаборатории никого нет.

Первым делом Петроски должен был организовать эвакуацию сотрудников из этого полуподвального помещения, что, судя по опустевшим стульям и хаотически разбросанным документам на столах, ему удалось просто отлично. А для создания видимости крайне опасной ситуации требовалось только участие Лоренцо, газовая горелка, немного фольги и смесь сахара и азотнокислого калия. Сама биохимическая лаборатория после этого выглядела, должно быть, так, словно там взорвалась бомба.

Ну что ж. Таков, собственно, и был наш план.

Я оставляю сержанта Петроски возле пункта охраны и иду мимо разбросанных блокнотов, калькуляторов, микроскопов и луп туда, где меня ждет Лоренцо. Он пребывает точно в той же позе, в какой я его оставила два часа назад, – то есть полусидит на краешке лабораторного стола. Вид у него абсолютно спокойный, взгляд хладнокровный, и мне вдруг приходит в

голову мысль о том, что лучше бы он не был таким замечательным и другим женщинам не было бы так легко тоже в него влюбиться.

– Сработало, Джианна! Просто волшебный фокус какой-то: совершенно беззвучно и совершенно не смертельно, зато очень много дыма. А знаешь, что я первым делом смастерил, когда, наконец, получил набор химикатов? Дымовую шашку. Правда, при этом уничтожил материну лучшую кастрюлю для приготовления пасты. – В его глазах вспыхивают веселые искорки, дьявольские и мальчишеские одновременно.

«Мальчишки», – думаю я. До чего же они обожают взрывать все на свете. Или, по крайней мере, делать вид, что у них что-то «здорово взорвалось».

Лоренцо спрыгивает со стола и заглядывает мне в лицо:

– Ты готова?

– Не знаю. Не уверена, что смогу это сделать. – И уже при этих словах я чувствую, что бутерброд с сыром начинает движение в каком-то совсем неправильном направлении. – Где они?

– Здесь. – Лоренцо открывает дверь в боковое помещение. Там пусто, если не считать двух каталок, хирургического стола на колесах и набора таких хирургических инструментов из нержавеющей стали, какие я видела только на картинках, – всевозможные захваты и пинцеты, ретракторы и хирургические щипцы, а также какая-то штука, более всего похожая на нож для разрезания дынь. На той каталке, что ближе ко мне, лежит самка шимпанзе ростом в четыре фута, на ее черепе слева выбрита приличная проплешина. На второй каталке «зверь» побольше, его рост никак не меньше пяти футов шести дюймов, но сам он чуть более низкого интеллектуального уровня. Оба накачаны седативами и дышат спокойно и равномерно.

Значит, Петроски удалось залучить Моргана в лабораторию, а Лоренцо сделал все остальное.

– А знаешь, в таком виде он мне, пожалуй, больше нравится, – говорю я. – Которого берем первым?

Лоренцо указывает на шимпанзе.

– Ну да, конечно. Неудачно я пошутила. – Но мне просто необходимо шутить, чтобы как-то со всем этим справиться. Впрочем, стоит мне посмотреть на дрель для краниотомии с его неправильной формы стальным сверлом, чем-то похожим на неправильно сформировавшийся зуб, и мое восприятие окружающего кардинально меняется. Никакие шутки уже не помогают. Мне, черт возьми, помог бы только обыкновенный нейрохирург.

– Джианна? – окликает меня Лоренцо и выразительно смотрит на

часы. – Между прочим, они оба далеко не вечно будут пребывать в бесчувственном состоянии.

Я беру дрель для перфорирования черепа и включаю ее. «Зуб» с негромким гудением начинает вращаться, и меня охватывает ужас. Да разве этот крошечный зубик сможет пробиться сквозь кости черепа?

– Я не могу, – говорю я и кладу дрель. И все мое стремление непременно быть полезной куда-то исчезает.

Глава семьдесят первая

Не знаю, сколько раз за мои сорок с лишним лет я говорила «Нет, я его просто убью!». Несколько тысяч, наверное.

Я была готова убить Патрика за то, что он оставил мокрую одежду в стиральной машине. Или за то, что не позвонил и не сказал, что задержится. Или за то, что он разбил вазу из майолики, мамин подарок. Была готова, могла бы, хотела. Убить, убить, убить. И, разумеется, ничего подобного я никогда в виду не имела. Это выражение столь же семантически бессмысленно, как и выражения «я тебя до смерти люблю», или «я такой голодный, что просто лошадь могу съесть», или «жизнью клянусь, что команда «Сокс» в этом сезоне проиграет». Никто не умирает от любви за пределами романа Бронте, не ест лошадей целиком и не кладет свою жизнь на плаху ради какой-то бейсбольной команды. Никто. Однако мы постоянно пользуемся этим словесным мусором.

Дело в том, что я не знаю, смогу ли я вскрыть череп этому проклятому существу под номером 412, даже если он и находится в состоянии глубокого наркотического сна.

Но я совершенно точно знаю: я даже близко не поднесу эту дрель для краниотомии ни к одному из этих гоминидов, что спокойно спят на каталках.

Я, в конце концов, не обязана это делать.

– Позови Петроски, – говорю я Лоренцо.

Он удивленно на меня смотрит.

– Нет. Я не собираюсь просить его вскрыть череп вместо меня. Но мне нужны ключи от комнаты № 1.

Снова тот же удивленный взгляд.

– Чтобы вытащить оттуда Лин. И остальных. Скажи мальчику, что я советую ему говорить, будто мы его усыпили и выкрали у него ключи. Если, конечно, до этого дойдет. Но, по-моему, он отлично справится и сумеет нам подыграть. – И я быстро объясняю Лоренцо ситуацию с дочерью Петроски.

– Я бы точно это сделал, – говорит Лоренцо. – То есть подыграл бы. Если бы это была моя дочь. – И смотрит на меня, и взгляд его останавливается там, где когда-то была моя талия, теперь уже заметно располневшая. – И я бы никогда без тебя не уехал, Джианна. Никогда.

– Правда?

– Правда. – Он быстро обходит помещение, высматривая замаскированную камеру слежения, и целует меня. – Никогда.

– Теперь ты понимаешь, какие чувства я испытываю, когда думаю о Соне и о мальчиках? – В основном, конечно, о Соне. Страшнее всего для меня мысль о том, чтобы уехать и оставить ее здесь, когда все валится в тартарары. А еще страшнее возможность того, что и еще одна моя девочка попадет в этот ад... Но на ближайшие двенадцать часов мне надо выбросить из головы все подобные мысли. И я говорю Лоренцо: – Ну же, иди за Петроски. Пусть парень теперь сыграет небольшую роль взломщика тюремных замков.

Не проходит и пяти минут, как Лоренцо возвращается вместе с Лин. Когда она видит эти два тела, распростертые на каталках, рот у нее невольно открывается, а глаза становятся огромными от ужаса и непонимания. Она вопросительно смотрит на меня, и я прошу Лоренцо объяснить ей, в чем проблема, пока я сама займусь Джеки и Изабель. Им вовсе не нужно ни находиться здесь, ни видеть то, что мы сейчас намерены сделать. Черт побери, мне бы тоже очень не хотелось все это видеть!

Лоренцо в очередной раз напоминает, что выбора у меня нет, а Лин поднимает вверх большой палец на правой руке и бьет им по левой ладони.

– Ты нужна ей, чтобы ассистировать, – говорит Лоренцо.

Я смотрю на черный браслет Лин.

– Как она ухитрилась это сказать?

Лин округляет глаза, машет руками туда-сюда у себя перед грудью, затем соединяет указательный и средний пальцы обеих рук и указывает ими на меня, а потом сердито ими трясет.

– Она говорит: не думай сейчас об этом и поторопись, – поясняет Лоренцо. – Ну, действуй, а я буду переводить.

– Вы что, оба знаете американский язык глухонемых? – удивляюсь я. – Но зачем он вам?

Лоренцо пожимает плечами.

– Ты же немного говоришь по-вьетнамски, верно?

– Да.

– Зачем тебе вьетнамский?

– Ладно. Поняла.

Благодаря Лоренцо я «слышу» все наставления Лин, пока мы с ней моем руки перед операцией у одной из лабораторных раковин. Это практически сокращенный курс нейрохирургии для идиотов. *Постоянно следи по монитору за работой жизненно важных органов. В первую очередь подавай мне те инструменты, которые лежат в первом ряду. И*

стой, черт побери, так, чтобы не заслонять мне свет. А дальше уже в полном соответствии с решительным характером Лин: «Только не вздумай грохнуться в обморок, так твою мать!»

С первыми тремя пунктами я справлюсь, пожалуй, смогу. А вот насчет четвертого не уверена.

В нашей импровизированной операционной с белыми стенами у Лин уходит всего пара минут, чтобы сделать разрез на голове у шимпанзе, и еще тридцать секунд, чтобы просверлить в его черепе дыру размером с дайм. Она выключает дрель, передает ее мне вместе с куском обезьяньего черепа и делает какой-то знак Лоренцо.

– Она говорит, чтобы ты воспринимала это как чистку водопроводной трубы на кухне, – переводит он мне ее очередной драгоценный совет.

– Хорошо тебе, Лин, – говорю я. – Ты настоящий хирург, а меня в нейрохирургии всегда интересовала исключительно ее лингвистическая составляющая.

Лин смеется, но для болтовни у нее нет времени, она пальпирует мягкие ткани внутри черепа, и выглядит это одновременно и тошнотворно, и удивительно, и восхитительно. Сволочи они все – и преподобный Карл, и Морган ЛеБрон! Как они смели схватить эту гениальную женщину и бросить в вонючую каталажку! Лишить ее голоса! Кому вообще могло прийти в голову, что подобные деяния имеют хоть какой-то смысл!

– Хорошо. Вот мы и добрались, – говорит Лоренцо и берет с хирургического стола два шприца, наполненных прозрачной жидкостью из той пробирки. Жидкость выглядит абсолютно безобидной, как вода. Он кладет один шприц на стол между каталками, а второй протягивает Лин.

Я смотрю на ее руки, которыми она спокойно вводит тонкую иглу в кору головного мозга, погрузив ее на несколько миллиметров, и нажимает на поршень, глядя на монитор. Затем кивает, явно довольная состоянием пациента – во всяком случае, она точно его не убила, – и вводит в мозг оставшуюся часть сыворотки, а потом прикрывает отверстие тем округлым кусочком кости, которая была вынута – *затычка, Джин, это всего лишь затычка*, – и зашивает рану. Весь процесс занял пять минут.

И это очень хорошо, потому что оба они, и шимпанзе, и Морган, начинают шевелиться.

Глава семьдесят вторая

Одного весьма тесного личного контакта с разъяренным приматом мне вполне хватило. И повторять подобный опыт что-то не хочется.

– Энцо, его нужно немедленно отсюда убрать. Немедленно! – Я с ужасом смотрю на шимпанзе, дыхание которого становится все более глубоким и ритмичным. – Лин? Сколько у нас времени до того, как он очухается?

Лин кивает в знак того, что поняла, и поднимает вверх сперва четыре пальца, потом два.

Это Лоренцо переводить необязательно.

– Шесть минут? – с надеждой переспрашиваю я.

Но Лин отрицательно мотает головой, поднимает два пальца и тычет ими в мою сторону.

Я озираюсь в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать в качестве пут, но ничего не обнаруживаю, разве что на столе лежит хирургическая нить для сшивания ран. Вряд ли она сгодится для такой цели.

– Ладно. Хорошо. – Я понимаю, что зря тратить время ни в коем случае нельзя. – Лин... ты убедись, чтобы клетка была открыта, а мы с Энцо отвезем эту крошку обратно в ее владения. – Сердце мое бешено стучит, отбивая каждую потраченную секунду, и Лин рысью бросается из нашей импровизированной операционной, ориентируясь по тому уханью, которое издают оставшиеся шимпанзе, в переднюю часть лаборатории.

Глаза шимпанзе № 413 открыты и полны изумления. Обезьяна тянется длинной волосатой рукой к дыре на голове, затем поворачивается и смотрит прямо на меня.

– Энцо! Толкай! – вскрикиваю я. Каталка сбивает пару лабораторных табуретов, и они с грохотом отлетают в сторону. Лоренцо, впрочем, успевает перехватить один из них, пока тот не сбил еще два, и предотвращает эффект домино, в результате которого упавшие табуреты могли бы полностью заблокировать нам проезд. Джеки и Изабель стоят в центре лаборатории, страшно перепуганные и беспомощные.

– Только ничего не говори, Джеко, – умоляю я. – Только ничего не говори. Уведи Изабель куда-нибудь. Спрячьтесь. Запритесь в шкафу, если придется. – Перед моим мысленным взором тут же снова возникает фотография Чарлы Нэш, той несчастной женщины, которую так изуродовал

шимпанзе, что ее лицо превратилось практически в месиво, нетронутой осталась только полоска кожи на лбу.

– Петроски! – изо всех сил взываю я, глядя куда-то в белое пространство лаборатории, а Лоренцо с бешеной скоростью катит каталку мимо лабораторных столов, на которых в беспорядке разбросаны листы бумаги, очки и эти чертовы логарифмические линейки. – Петроски!

Сержант бегом бросается к нам, оставив свой пост. И тут шимпанзе издает негромкий стон – нет, не уханье, не грозный скрежет, а настоящий горестный стон.

Только не смотри на него, Джин. Даже не вздумай на него смотреть.
Но я, естественно, смотрю.

Ярость мерцает в мягких карих глазах обезьяны, но мы уже добрались до распахнутых дверей клетки.

Петроски вытаскивает табельное оружие. Рука у него трясется, когда он на что-то нажимает большим пальцем, и это что-то щелкает. Наверное, это спусковой крючок или предохранитель. Я же, черт возьми, совершенно в этом не разбираюсь!

– Стреляйте только в том случае, если возникнет абсолютная необходимость, – говорю я ему и поворачиваюсь к Энцо. – Так, хорошо, теперь давай на счет «три»: раз...

Шимпанзе, оставив свою голову в покое, тянет свою жуткую лапу ко мне.

– Два... – задыхаясь, командую я.

Запах йода, которым мы смазали рану у обезьяны на голове, так и лезет мне в ноздри, когда зверюга начинает шевелиться.

– Три! – И я, собрав все свои силы до последней капельки, вместе с Лоренцо скатываю шимпанзе с каталки прямо в клетку. Естественно, большую часть нагрузки берет на себя Лоренцо. Однако эта тварь все же успевает проехать когтем мне по губам. Лоренцо с грохотом захлопывает дверцу и моментально отскакивает подальше, прихватывая и меня. Но одна шерстистая лапа тут же просовывается между прутьями клетки, растопырив когтистые пальцы, и, не поймав добычи, вновь исчезает внутри. Шимпанзе вновь принимается массировать левую сторону головы.

Такое ощущение, словно обезьяна пытается что-то вспомнить.

– О господи, Энцо, Морган! Где Морган?

Поскольку все помещения лаборатории, насколько мне известно, имеют только один общий вход и выход, Морган отсюда точно не выходил. Лоренцо в четыре огромных прыжка мчится куда-то через все помещение, и я кричу ему вслед, чтобы он увел с дороги Джеки и Изабель. Но не

уверена, что он меня слышит.

Лин что-то пытается сказать мне с помощью жестов, но я ее не понимаю, и она указывает сперва на меня, а затем на шимпанзе в клетке.

– Один готов? – говорю я, неуверенная, что она именно это имеет в виду.

Она кивает.

– Присмотри, пожалуйста, за Джеки и Изабель, – прошу ее я. – А я иду на помощь Лоренцо.

Она снова утвердительно кивает.

Я не знаю, когда это накрывает меня – то ли пока я еще нахожусь возле клеток с приматами, то ли когда уже иду через основной зал с перевернутыми табуретами и разбросанными бумагами, – но меня накрывает так, словно мне прямо на голову с верхнего этажа уронили чей-то рояль. Ах, черт побери... Морган. Шприц. Лоренцо.

Эта сыворотка не растворяется в воде. И в кровь ее ввести нельзя.

Попробуй – и поджаришь ему половину головного мозга.

Мне кажется, что ноги мои движутся куда-то сами по себе...

Глава семьдесят третья

Морган ЛеБрон стоит, выпрямившись во весь свой рост – пять футов шесть дюймов – и смог бы, наверное, даже преодолеть вес в 60 кг, если бы кто-нибудь облил его прямо в одежде с помощью пожарного шланга. Лоренцо, например, может поднять меня одной рукой, даже если они обе у него связаны за спиной. Да их с Морганом вообще сравнивать нельзя – вот только в данном случае тот, кто значительно меньше ростом и значительно слабее, вооружен. И действительно очень опасен.

У Моргана в руках смертельно опасное оружие.

Шприц с дьявольски острой иглой и зарядом в количестве примерно двадцати смертельных доз яда.

И он уже приставил иглу к шее Лоренцо – причем в самом уязвимом месте, за ухом.

– Убирайтесь отсюда! – орет кто-то, и я не могу понять, кто это крикнул: Лоренцо или Морган? Это всего лишь голос, странно звучащий в этой пустой и ярко освещенной комнате с белыми стенами, где нет больше ничего, кроме одной каталки и хирургического стола на колесиках. Это всего лишь два слова, имеющие только одну цель: запугать меня.

– Морган... – начинаю я.

Но он не дает мне говорить.

– Ах ты, сука гребаная! Гадина!

У Лоренцо каменеет челюсть, а меня оскорбления Моргана совершенно не трогают. Вот шприц – это да. А все остальное, чем Морган пытается меня уязвить, – это всего лишь мешанина невнятных звуков, от которой мне ничего не стоит полностью абстрагироваться.

Но этот проклятый шприц вполне реален.

Я делаю шаг вперед – очень, очень медленно, примерно так движутся при замедленной съемке герои старинных научно-фантастических фильмов.

– Джианна. Нет. – Голос Лоренцо звучит уверенно и спокойно, и слова его падают, как камни, да и сам он сейчас как каменный.

– Джианна? А кто такая, черт возьми, эта Джианна? – Когда Морган произносит это мое имя – мое итальянское имя, – его глаза вспыхивают нехорошим огнем. – О, я понял! Между вами, оказывается, что-то такое есть! Вот это здорово! Я, значит, убью двух птичек одним камнем – прямо как в поговорке. – Похоже, у него довольно сильно кружится голова, но он

продолжает ерничать: – Господи, я и не ожидал, что получится так мило. В мои сети попались сразу оба наших звездных любовника с мечтательными глазами. Скажите, Лоренцо, а что, она и впрямь так хороша? На мой-то взгляд, пожалуй, немного старовата. Но тебе, наверное, нравится драть сучек так, что они уходят от тебя мокрыми.

Я вижу, как напрягаются мускулы на левой руке Лоренцо и его пальцы сами собой сжимаются в кулак.

– Но-но-но, доктор Росси! – предупреждает его Морган и плотней прижимает ему к шее иглу с ядом.

В этом месте появляется красное пятнышко от поверхностного укола, и по шее Лоренцо скатывается одинокая капля прозрачной жидкости. Трудно сказать, что это: капля пота или капля сыворотки.

– Вы же понимаете, – задушеვნым, сладким, как сироп, тоном начинает Морган, но за этой сладостью по-прежнему таится угроза, – что ученый из меня никакой. Я ненавижу это бесконечное обдумывание полученных данных, бесконечное повторение одних и тех же экспериментов – да, все это дерьмо я ненавижу, зато я хорошо умею читать и считывать. В частности, считывать людские характеры и намерения. И кое-какие другие вещи тоже. Вот, например, неприметная пробирка с обычной наклейкой: «Только для локальных инъекций». – Морган мотнул подбородком в сторону хирургического стола с разбросанными на нем инструментами и тут же вновь уставился на меня. – Я это заметил и спросил себя: а почему только для локальных? Что случится, если я введу содержимое этого шприца в некое неопределенное место? Скажем, вот сюда... – И он на миллиметр погрузил иглу в кожу на шее Лоренцо, не нажимая, впрочем, на поршень, но все же слишком близко к яремной вене. – Что случится тогда? Соображения на сей счет имеются?

– Вперед, Морган, – говорит ему Лоренцо, а мне кричит: – А ты, Джианна, немедленно убирайся отсюда к чертовой матери! Запасной ключ от моей машины под решеткой. Бери ее и уезжай.

– Черт побери, не пытайтесь выглядеть таким задрипанным храбрецом! – И глаза Моргана – эти мерзкие крысиные глазки – вновь впиваются в меня. – А ты, сука, только шевельнись, и я тут же введу ему все содержимое этого шприца. – Затем его взгляд падает на кого-то еще – слева у меня за спиной, – и он визгливым требовательным тоном приказывает: – Немедленно возвращайся в лабораторию!

Я не сразу понимаю, что это он не мне. И тут чья-то твердая рука, может, и не такая сильная, как у Лоренцо, но все же достаточно сильная, стискивает мне локоть и слегка меня поворачивает.

Джеки!

Она резко дергает головой в сторону двери, словно говоря: идем! В свободной руке у нее связка ключей. Молодец, Петроски! Ключи позванивают, как металлические колокольчики, и этот звон отчетливо слышен в застывшей тишине лаборатории, где все, похоже, замерли и затаили дыхание.

– Приведи Петроски, – говорю я Джеки, – и давайте, наконец, с этим покончим. – Требуется невероятное напряжение всех моих мозговых извилин, чтобы победить одолевающее меня первобытно-инстинктивное, как у древних ящеров, желание убежать и скрыться.

– Эй, Джин, только без глупостей! – грозно предупреждает меня Морган.

– Послушай, Морган, если в тебе еще осталось хоть что-то человеческое, то поступи, как приличный человек: прикажи Петроски застрелить Лоренцо. Пусть его смерть будет чистой. А ты потом всегда сможешь назвать это несчастным случаем.

Возникает пауза – Морган явно обдумывает мои слова.

– Сошлись, например, на необходимость самозащиты, – предлагаю я. – Ведь если ты введешь ему сверхсекретную экспериментальную сыворотку, это будет куда трудней объяснить. Тем более речь в данном случае пойдет о всемирно известном биохимике, пользующемся заслуженной репутацией, а не каком-то жалком недоноске из числа тех вчерашних студентов, которых ты нанял. Так что хорошенько подумай. Подумай, как ты объяснишь то, что знаменитый Лоренцо Росси, выйдя из этого здания, вдруг стал нести полную чепуху. А еще подумай о том, что по этому поводу скажут в итальянском посольстве.

Морган думает целую вечность. А я большую часть этого времени размышляю о стрелковом оружии.

Как и любой механизм, оно состоит из нескольких частей. В одну патрон вставляется, из другой он вылетает, а третья заставляет его лететь к заданной цели. Все очень просто. И многие века остается практически неизменным. Предохранитель, обойма, пружина, спусковой крючок. Порядок любой.

Морган все еще продолжает думать, а я мысленно переключаюсь на сержанта Петроски и на потенциальные возможности этого любителя философии, переквалифицировавшегося в охранники. Мужа. Отца. Солдата, у которого трясутся руки, когда ему приходится вытаскивать из кобуры свой табельный пистолет. Человека, который знает, где его спасение и как его достигнуть.

Джеки снова дергает меня за руку, и я поворачиваюсь к ней.

– Что бы ты сделала, чтобы стать свободной, Джеко? Вот я, например, в данный момент готова была бы сделать все, что угодно.

Джеки не произносит ни слова, только улыбается мне в ответ.

– Петроски! – орет вдруг Морган.

Топот тяжелых сапог эхом разносится по всей лаборатории. Под сапогами шуршат разбросанные по полу бумаги. Громким треском завершается недолгое существование чьих-то очков, случайно угодивших под ноги сержанту Петроски. И мне кажется, что весь земной шар замедляет свое движение, когда Петроски возникает у меня за спиной в открытых дверях биохимической лаборатории.

– Сэр! – рывкает Петроски.

Все происходит так быстро, что я и глазом моргнуть не успеваю, хотя понимаю, что память записывает каждое движение, каждый кадр этого короткого фильма. Возможно, когда-нибудь я смогу, искусственно замедлив движение этих кадров, вновь посмотреть все в реальном времени. Но в данный момент запись ведется наудачу, эпизоды нарезаны вразброд и кое-как, саундтрек не подогнан.

– Застрели этого человека! – приказывает Морган.

И Петроски вытаскивает свой табельный пистолет. Он держит его так близко от моего уха, что я отчетливо ощущаю слабые колебания воздуха – это дрожит рука Петроски, хотя он тщетно пытается заставить себя держать оружие твердо.

– Предохранитель-то спущен? – спрашиваю я.

Щелчок предохранителя звучит как оглушительный выстрел, и я кричу:

– Давай, Джеки!

И она набрасывается на Петроски. Его рука с пистолетом бессильно повисает. Впоследствии мне так и не удается до конца понять, то ли он действительно старался помочь нам, то ли Джеки просто застала его врасплох. Зато я действую точно в соответствии с задуманным мной планом: делаю шаг вперед, своей рукой сжимаю рукоятку пистолета и целюсь в некую точку на пару дюймов ниже значка с синенькой буквой на воротнике Моргана.

А потом нажимаю на спусковой крючок.

Глава семьдесят четвертая

Морган падает, и я падаю вместе с ним, а в моих ушах звучит какое-то пронзительное пение на уровне поистине колоратурных высот, и Джеки тщетно пытается подхватить меня, чтобы я не грохнулась навзничь. Но хоть она и сильная – или когда-то была сильной, – она все же проигрывает в борьбе с силой тяжести, и я с глухим стуком валяюсь на пол. Собственно, самого стука я не слышу, зато отлично ощущаю силу удара и вдруг понимаю, что по-прежнему сжимаю в руках нечто тяжелое.

Но Лоренцо уже рядом, я чувствую на своем лице его горячее дыхание, вижу, как движутся его губы, когда он разжимает мои судорожно сжатые пальцы и высвобождает из них некий металлический предмет.

– Все, теперь расслабься, – говорит он, выговаривая слова так странно, словно мы оба с ним находимся под водой, и я лишь по его губам могу прочесть отдельные слоги. Затем он ловко перезаряжает пистолет, одним щелчком большого пальца ставит его на предохранитель, тщательно вытирает рукоять и спусковой крючок подолом собственной рубашки и возвращает оружие сержанту Петроски, который наклонился над Морганом и неотрывно смотрит, как у того на груди расплывается яркое кровавое пятно, а на белый плиточный пол натекла уже целая тошнотворно алая лужа.

– Где ты этому научился? – спрашиваю я у Лоренцо, и сейчас мой вопрос звучит как *Де ы зоу ауился?*

– Два года в итальянской армии. – Затем, куда более серьезным тоном, он спрашивает: – Ты хорошо меня слышишь?

Я киваю:

– Не очень, но, в общем, слышу.

– У тебя еще некоторое время будет звенеть в ушах. Где-то с час. Но потом все пройдет, можешь мне поверить.

– Я ведь в него попала, да?

Лоренцо на всякий случай оглядывается через плечо туда, где лежит Морган.

– Да. Можно и так сказать. – Я все еще неважно слышу, но слова уже более-менее различаю.

– Надо бы его куда-нибудь перенести, – говорю я.

Но Джеки об этом уже подумала. Она стоит в дверях вместе с Лин и Изабель, и у них в руках охапки офисных пиджаков и лабораторных

халатов – все это оставили здесь сотрудники, когда их увели по тревоге. Джеки касается моей руки, указывает туда, где лежит Морган, затем на себя и как-то странно описывает пальцем круги в воздухе. Это не так элегантно, как хорошо структурированный язык глухонемых, которым пользуются Лин и Лоренцо, зато я сразу улавливаю смысл того, что хочет сказать Джеки: она обещает позаботиться о той окровавленной *вещи*, что лежит в углу.

Петроски уже несколько очухался от шока – хоть я и не уверена, что ему удастся когда-нибудь по-настоящему от этого очухаться, – и помогает Лин и Изабель переворачивать Моргана и во что-то его запеленывать. А Джеки тем временем поспешно вытирает кровавую лужу на полу. Все это сильно смахивает на какую-то сцену из дешевого фильма: кровь на полу и безобразное – словно для теста Роршаха – кровавое пятно на стене, позади того места, где стоял Морган, когда приставил иглу к шее Лоренцо. Лоренцо замечает, какое у меня стало лицо, и спешит пояснить:

– Сорок пятый калибр, Джанна. Ты пробила в нем дыру величиной со штат Виргиния.

– Я ведь его убила, да? – С моей стороны это не совсем вопрос, это скорее способ помочь самой себе, потому что в глубине души я понимаю: я его убила. *Я убила человека.*

– Да, – мягко подтверждает Лоренцо. – И нам всем пора идти. Давно пора.

Лоренцо и Петроски затаскивают безжизненное тело Моргана ЛеБрона на каталку и вывозят из комнаты. Я смотрю, как двери комнаты № 1 раздвигаются, затем снова задвигаются. Через минуту они уже возвращаются в основную лабораторию, но уже без каталки. Затем мы, все шестеро, молча беремся за тряпки и моющий порошок, стирая потеки на стенах и на полу и один за другим выбрасывая пропитавшиеся кровью и грязной водой лоскуты в большой пластиковый пакет, который Лин притащила из кладовой. Время от времени они с Изабель обмениваются какими-то знаками. Я этих знаков не понимаю, но чувствую, что от них исходит ощущение надежды и покоя.

Когда не остается никаких следов, кроме едкого запаха хлора, мы, выстроившись в ряд, начинаем оттирать друг с друга и с собственной кожи *то, что осталось от Моргана*. Лин куда-то исчезает и вскоре возвращается с шестью чистыми лабораторными халатами, которые и раздает нам. Вполне достаточно взглянуть хотя бы на мою одежду, чтобы стало ясно, что ее абсолютно необходимо чем-то прикрыть. Да и остальные выглядят не лучше.

Я поворачиваюсь к Петроски.

– Вы можете вывести нас отсюда и провести через пункт охраны? – Ответить он не успевает.

Никто из нас, ни одна пара ушей не уловила ни звука. И никто из шести человек не заметил, как он вошел, этот великан, и остановился в дверях, перекрывая нам путь к отступлению.

«Вот ведь дерьмо!» – думаю я и, возможно, произношу это вслух; во всяком случае, я слышу собственные слова столь же отчетливо, как гудок автомобиля.

Именно этого человека, столь бесшумно проникшего в лабораторию, я бы в последнюю очередь хотела сейчас видеть. Однако именно с ним я постоянно сталкивалась всю эту неделю и всегда в тот момент, когда менее всего этого ожидала, словно его единственной задачей было непрерывно следить за нами.

Ну конечно, По.

Возможно, как я теперь понимаю, его основная задача именно такой и была.

– Оставьте все и идите со мной, – говорит он.

Рука сержанта Петроски тянется к пистолету 45-го калибра, висящему у него на бедре, и я замечаю, что Лоренцо тоже следит взглядом за этим его движением.

– Не будьте глупцом, доктор Росси, – говорит По.

Я открываю рот, намереваясь что-то сказать, но не могу издать ни звука.

По через плечо оглядывается на сержанта Петроски, который стоит как раз между ним и всеми остальными. Кажется, будто По, не спуская одного глаза с пистолета, вторым глазом изучает наш маленький отряд мятежников. Затем он делает шаг к Петроски, совершенно спокойно отнимает у него пистолет, ставит на предохранитель и говорит:

– Пока пусть лучше побудет у меня. – Он кивает сержанту: – Ты первый. Затем доктор Росси. Затем дамы – цепочкой, как в школе. И чтоб никто рта не открывал.

Мы выстраиваемся, как было сказано, и По, замыкая ряд, ведет нас через помещение с шимпанзе. Остановившись у двери, он объясняет Петроски, как ее открыть, и мы оказываемся в небольшом коридоре, ведущем к служебному лифту.

Кабина уже стоит на нашем этаже, и дверцы лифта открыты.

И в кабине я вижу человека, чье лицо узнала бы сразу и где угодно – ведь любая мать способна сразу узнать своего сына.

Глава семьдесят пятая

Дверцы лифта вполне могли бы оказаться и самыми настоящими воротами в ад с их грозным предупреждением «Оставь надежду всяк сюда входящий», светящимся, например, там, где обычно высвечиваются номера этажей. Но я все-таки вхожу в кабину вместе с остальными, и будь она трижды проклята, эта надежда...

Однако передо мной действительно мой сын.

Стивен буквально падает ко мне на грудь, отчего-то вдруг снова превратившись из мужчины в ребенка. За эти два дня он изрядно похудел, и я чувствую, как его выступающие ребра поднимаются и опускаются в такт то ли дыханию, то ли всхлипам, и ласково прижимаю его к себе. Куда бы По ни повел нас сейчас, в этом походе мы будем вместе.

По решает вмешаться и мягко разнимает наши материнско-сыновьи объятия.

– Для этого у вас еще будет время, доктор Макклеллан. Потом. Когда мы окажемся у главного входа, старайтесь не поднимать глаз и не произносите ни слова. – Он достает из кармана брюк три черных браслета и протягивает их Лоренцо, Петроски и мне. – Наденьте.

– Ни за что, – говорит Лоренцо. – Ни за что, черт побери!

Петроски бледнеет и молча качает головой.

– Они пластмассовые, – говорит По. – Просто наденьте их, и все. Сержант Петроски вывести вас отсюда не сможет. А я смогу. Но только в том случае, если вы будете делать то, что я вам скажу.

Я защелкиваю браслет на запястье, и дверь лифта с шипением закрывается. Мужчины делают то же самое.

Я вопросительно смотрю на По.

– Ну, давайте, – кивает он, явно разрешая мне задать вопрос, который вертится у меня на языке.

– Что происходит? – говорю я и внутренне сжимаюсь, готовясь к знакомому болевому шоку.

Но боли нет.

– Доверьтесь мне, – говорит По. – А теперь опустите голову пониже и не поднимайте, пока мы не минуем пункт охраны. А еще – ну, не знаю, – постарайтесь выглядеть ужасно усталыми.

Никто из тех, кто находится в лифте – включая меня, замечаю я, увидев собственное отражение в полированной стальной стене, – не

нуждается в том, чтобы ему советовали *казаться* усталым. Наручные часы Лоренцо показывают два часа ночи, но у меня такое ощущение, словно и год вполне мог уже пройти с тех пор, как Морган вчера днем вернул нас в здание лаборатории.

По нажимает на кнопку и предупреждает:

– Когда будем выходить, старайтесь по-прежнему идти строем и побыстрее забирайтесь в пикап через заднюю дверь.

Мне кажется, что лифт ползет вверх целый час.

– Приехали, – говорит По. – Первыми дамы.

Мы вереницей выходим из лифта, Лин, Изабель, Джеки и последней я. И в тот же миг я чувствую, как что-то прижимается к моей спине, и в течение нескольких кратких, совершенно иррациональных, мгновений я уверена, что это Петроски со своим пистолетом 45-го калибра; потом до меня доходит, что меня касается не холодная сталь, а нечто теплое, ободряющее. Рука Лоренцо.

– Я здесь, Джианна, – слышу я его шепот.

Однако там, где раньше дежурила всего пара солдат, я, глядя в землю, насчитываю десять пар начищенных ботинок. Одна пара тут же направляется к нам, и я слышу, как кто-то говорит:

– Мы не можем позволить им выйти, сэр. Приказ доктора ЛеБрона.

У меня просто язык чешется, так мне хочется сказать, что доктор ЛеБрон никогда и никому больше никаких приказов отдавать не будет – ни в ближайшем будущем, ни в отдаленном; возможно, впрочем, у него все-таки будет одно, последнее, требование: изрядная порция льда, чтобы не так мучительно было гореть в аду. Я чувствую, что невольно улыбаюсь, и прикусываю себе щеку изнутри.

По, остановившийся прямо передо мной, вытаскивает некий конверт и машет им перед носом у охранника; конверт выглядит как-то очень знакомо: в правом верхнем углу президентская печать, а в левом, где обычно пишут обратный адрес, виднеется выпуклая серебристая буква «И».

– Сообщите ему, – и По подает охраннику конверт.

Тревожно шуршит бумага – это вскрывают конверт и читают некое вложенное в него письмо.

– Ага, Форт Мид, – говорит солдат. – Ну, ясно. Что ж, вы и сами прекрасно знаете, как туда добраться. – И куда более грубым тоном приказывает своим подручным: – Отойдите в сторону, ребята. Пропустите их.

Вокруг меня слышится шепот: «Разве это не та самая? Ну, та самая,

что сыворотку изобрела?» «Эге... а ведь этого парнишку вчера вечером по телевизору показывали». «И эту, по-моему, я откуда-то знаю...» «Вот черт, сегодня целых семеро!»

Цитата из Берка снова вспоминается мне – причем в том самом виде, в каком ее перефразировал Стивен, когда уводили Джулию Кинг. «Для победы зла необходимо лишь одно: чтобы добрые люди бездействовали».

Мы проходим между рядами начищенных солдатских ботинок, я слышу, как охранники перешептываются, и не могу решить, какое чувство во мне сильнее – отвращение или жалость.

Скорее, это смесь того и другого.

Лоренцо забирается в пикап последним и садится рядом со мной. Затем По закрывает дверцы, но я успеваю отметить неприятное отсутствие окон, а также ручки на внутренней стороне дверей. Панический ужас заползает мне под кожу, когда я слышу урчание двигателя, и в голову приходит страшная мысль: а что, если меня – всех нас! – попросту переиграли?

– Все уселись? – спрашивает кто-то, и этот голос, мужской, мягкий, негромкий, кажется мне на редкость знакомым, но я никак не могу вспомнить, кому же он принадлежит. – А теперь включите свет, Кристофер.

Этот голос... Откуда же, черт побери, я так хорошо его знаю?

И когда наконец вспыхивает неяркий свет, высвечивая не семь, а девять лиц, я понимаю, почему этот голос мне знаком. В дальнем углу пикапа сидят Дэл и Шэрон. Я бросаюсь к Шэрон и стискиваю ее руку. Она отвечает столь же горячим рукопожатием, и я с трудом удерживаюсь, чтобы не броситься ей на шею, хотя мы с ней, по сути дела, едва знакомы.

– Все остальное потом. Время у нас еще будет, – говорит мне Шэрон.

– Дорогая, ты бы занялась их браслетами, – просит ее Дэл, указывая на запястья Джеки, Лин и Изабель. – Ты еще не забыла, как это делается?

Шэрон возмущенно округляет глаза.

– Наших-то девочек я сумела от этого избавить, верно? – И, глядя на меня, она презрительно поясняет: – Ох уж эти мужчины! Вечно считают себя единственными специалистами во всем на свете. – Она смачно целует мужа прямо в губы и обещает: – Не беспокойся, дорогой, я тебя и таким люблю и буду любить до самой твоей смерти. А может, и еще чуточку после.

Она с той же спокойной уверенностью трудится над счетчиком Джеки, с какой Лин делала шимпанзе трепанацию черепа.

– У тебя может немного погудит, девочка, но не говори ни слова, если не хочешь, чтобы мы обе получили изрядный пинок в задницу. Дэл,

конечно, молодец, только его ключ не совсем такой, как у тех паршивцев, которые это на тебя надели. Поняла меня? Готова?

Джеки кивает, потом смотрит прямо на меня.

– Все! – В голосе Шэрон явственно звучат победные нотки, и она переходит к Лин.

А Джеки произносит свои первые слова – точно такие, каких я и ожидала:

– Вот ведь хренотень! Это дерьмо куда хуже той гребаной безмолвной медитации, которой я так увлекалась лет двадцать назад!

«Моя прежняя Джеко», – с удовольствием думаю я, и мы с ней начинаем разговор – настоящий разговор впервые за два десятка лет.

Глава семьдесят шестая

К тому времени, как пикап сворачивает на грязную проселочную дорогу, притворяющуюся подъездной дорожкой, ведущей к ферме, Дэл и Шэрон успевают вкратце набросать нам картину происходящего: все это связано с успешными действиями По, который, работая под прикрытием, сумел инсценировать арест Дэла и выволить Стивена.

– Последнее как раз оказалось не так уж сложно, – поясняет Шэрон. – Мальчик находился в здании лаборатории, всего на один этаж ниже вас, и там вместе с ним сидели еще несколько армейских ребят, которым показалось, что они запросто сумеют захватить все здание. Конечно, ничего у них не вышло. Оно и понятно: у этих ребяташек куда больше мускулов, чем мозгов. – Она бросает насмешливый взгляд на Петроски, но тот тупо смотрит прямо перед собой куда-то в воздух. – Извини, солдат. Я не тебя имела в виду.

Между прочим, глаза у нее непроизвольно съезжают куда-то вверх и чуть влево, и мне совершенно ясно, что она имела в виду, разумеется, и Петроски.

– Сержант вел себя просто отлично, Шэрон. – Мне хочется заступиться за парня, и в глазах Петроски вспыхивает благодарность.

По глушит мотор и обходит машину, чтобы выпустить нас. Когда он помогает Лин спуститься на землю, ее крошечная ручка целиком исчезает в его лапе. Вместе они вообще являют собой довольно забавную картинку, прямо кадр из фильма о Кинг-Конге. Лоренцо, выпрыгнув наружу, протягивает мне навстречу обе руки.

– Джин?

В застывшей ночной темноте голос Патрика звучит неожиданно резко, я вздрагиваю и, не удержавшись, падаю прямо в объятия Лоренцо. Впрочем, я тут же высвобождаюсь из этих объятий и бреду через дорогу к своему мужу, испытывая жуткое ощущение раздвоенности; две одинаковые силы словно тянут меня одновременно в разные стороны, и я вот-вот попросту разорвусь пополам.

– Слава богу, детка, – говорит Патрик, наклоняясь и крепко меня обнимая. А тут еще и Стивен появляется, и мы надолго застываем в тройном объятии, так что По приходится нас разъединять.

– Потом, потом, – приговаривает он. – Немного попозже. Кое-кому еще предстоит очень долгая ночь.

Моя долгая ночь, впрочем, начинается с беглого осмотра трех маленьких родных тел; все трое моих детей крепко спят на надувных матрасах в гостиной Шэрон. Минутку посмотрев на них, я тоже падаю ничком на матрас рядом с Соней и почти мгновенно погружаюсь в сон. Последнее, что я чувствую, это хрупкие ребрышки моей девочки, спокойно приподнимающиеся и опускающиеся в такт дыханию. А последнее, что я слышу, это голос По, излагающего на кухне план моего спасения.

Глава семьдесят седьмая

Вот как все происходит в тот последний день.

Патрик целует нас на прощанье, сперва близнецов, потом Соню, потом меня и, наконец, Стивена. Стивену он всегда уделял больше внимания, чем остальным детям. Наверное, думаю я, невозможно забыть рождение твоего первенца. И не то чтобы ты любил его сильнее других, просто связь с ним иная, первородная. Когда Патрик уезжает, увозя в портфеле ту самую пробирку, я радуюсь, что у нас больше нет собаки. Как-то раз мы ее завели – это была ужасно смешная помесь колли, бигля и овчарки, – и она с мрачным видом сидела на коврикe у двери весь день, поджидая Патрика. Сидела с той минуты, как за Патриком закрывалась дверь, и до того счастливого мгновения, когда он вечером возвращался. Не думаю, что сейчас мне было бы под силу смотреть на такую собаку, напряженно ждущую возвращения хозяина.

Мне и самой будет невыносимо тяжело ждать возвращения Патрика.

Все те минуты и часы, которые проходят после того, как машина Патрика растворяется в предрассветной мгле и перестает быть виден даже свет задних фонарей, кажутся мне неким фильмом, который я без конца прокручиваю в памяти, пока дети дерутся из-за последнего шоколадного печенья, испеченного Шэрон, а Соня весьма уверенно объясняет братьям, что ей *отлично известна* их привычка вечно пытаться смухлевать при игре в карты. И все это время полупустая кофейная кружка Патрика стоит на кухонной стойке в чужой кухне, и кофе постепенно испаряется, превращаясь в густую коричневую жижу. Мне по-прежнему кажется, что этот дешевый американский кофе пахнет дерьмом, но пью я его все-таки почти с наслаждением.

– Я на минутку прилягу, – говорю я Шэрон, которая готовит завтрак для дюжины голодных людей, и она машет мне рукой – мол, иди, иди, – и вид у нее серьезный и понимающий. Она предлагает мне устроиться в ее комнате, если хочу, и я ухожу туда, прихватив с собой кружку с недопитым кофе. В этой комнате мне все кажется незнакомым; жалюзи на окнах спущены, потолочный вентилятор монотонно мурлычет свою колыбельную, я ложусь и представляю себе, как Патрик останавливается у ворот, где стоит охрана, вытаскивает удостоверение личности и показывает его сотруднику безопасности, у которого в ухе просто белая «ракушка» телефона, хотя вполне могла бы быть и повязка на рукаве с вышитыми

буквами SS. Затем Патрик заезжает внутрь, паркуется и, как мне кажется, смотрит в небо, где на востоке уже видна светлая полоска и скоро солнечный свет пробьется сквозь ночную тьму.

Встреча в верхах – точнее, деловой завтрак – должна казаться Патрику чем-то вроде Последней Вечери, во время которой он, точно Иуда, поднесет отравленную чашу.

Мы планировали по возможности вылить *это* в воду. Или в кофе. Или в шампанское, которое наверняка торжественно откупорят и разольют по изящным хрустальным бокалам для двенадцати особо важных гостей, чтобы они, поздравляя друг друга, могли пригубить чудесный напиток.

Один из присутствующих – президент Майерс. Второй – его брат, Бобби Майерс, чудесным образом поправившийся после шестидневного путешествия в страну афазию. Мне, конечно, никогда не узнать, был ли его головной мозг на самом деле поврежден, или же вся история с его недугом умело сфабрикована, но если бы мне пришлось держать пари, я догадалась бы, где тут самое слабое звено. На завтраке, естественно, присутствуют и преподобный Карл, и этот его Томас Пугало, а также шесть членов Объединенного Совета Штабов, министр юстиции и председатель Верховного суда, оба последних – почетные члены Движения Истинных.

Патрик – гость номер тринадцать. Иуда Искарот Овального Зала.

Я представляю все это себе, лежа на кровати Шэрон и слушая неумолчное бормотание потолочного фена, и подобные религиозные аллюзии поражают меня своей смехотворностью. Господи! Вода, вино, тринадцать последователей... Преподобный Карл и его безумие. Говорят, Христос вполне мог быть либо безумцем, либо лжецом, либо богом. Есть даже поговорка «Псих, гад или бог». Но в то, что Карл Корбин – бог, я поверить уж никак не могу, даже если б верила во всю эту религиозную чушь. Может, богам и свойственно играть в кости, а может, и нет, но они, черт побери, никогда не стали бы начинять их ядом, способным сделать человека полубезумным.

Мой кофе совершенно остыл, но я все-таки его допиваю.

Ночью в воскресенье – неужели это было всего двенадцать часов назад? – Патрик решил, что для начала он добавит яд в воду и в кофе. А если в пробирке еще что-то останется, то это он прибережет для себя на самый крайний случай. Меня начинает трясти при мысли об этом «крайнем случае» – собственно, Иуда ведь тоже прибегнул к подобному выходу, – но По утверждает, что Патрик этот момент оговорил особо. Ибо даже отлично задуманные планы очень часто идут наперекосьяк.

И на этом мой «фильм» кончается. Возможно, в подобных

обстоятельствах у меня просто не хватает воображения. А может, и наоборот, мое воображение просто избыточно, ибо я все вижу отчетливо и ярко, точно отснятое на пленке «Technicolor» и предельно четкое. В конце концов, кому захочется в подробностях представлять себе сцену смерти собственного мужа – или, точнее, видеть об этом сон наяву?

Часы на прикроватном столике в спальне Шэрон показывают, что сейчас, возможно, именно это как раз и происходит.

Глава семьдесят восьмая

Я не сплю. Не могу. Вместо этого я иду вместе с детьми на конюшню и наблюдаю за тем, как Соня устраивает братьям настоящую экскурсию. Словами она теперь буквально фонтанирует – просто гейзер какой-то.

– Вот это, – тараторит она, одной рукой ласково охлопывая чалую кобылу, а второй поглаживая ее между глазами, – Аристотель. Это лошадка-девочка. Хотя настоящий Аристотель был дядя. А еще она моя любимица. Шэрон ее суперумницей называет.

Затем Соня раздает нам толстые куски моркови, наставляя мальчишек, как именно нужно держать руку – плоско и ладонью вверх, чтобы лошадь могла губами взять морковку, не прихватив пальцы, – а я вытаскиваю из кармана мобильный телефон, одолженный мне Шэрон, и набираю некий номер.

Секретарь отнюдь не в восторге от столь неожиданной перемены в моих планах.

– Но миссис Макклеллан... – говорит он, и голос у него такой же гнусавый и пронзительный, какой был у Моргана.

– Доктор Макклеллан, – поправляю я.

Он и не думает извиняться и продолжает сердито выговаривать мне:

– Мы ведь не просто так заранее составляем график проведения биопсии хориона. Между прочим, вам еще час назад полагалось бы здесь быть. И теперь я просто не знаю, куда вас вставить... – по телефону мне слышно, как он шуршит, перебирая какие-то бумаги. – Нет, теперь разве что на следующей неделе. И это еще самое раннее...

– Ничего страшного. Я передумала и не буду проходить этот тест, – быстро говорю я и отключаюсь.

– Ну что же ты, мамочка! – с упреком кричит Соня. – Иди! Сейчас твоя очередь кормить Аристотеля.

– Если Аристотель съест еще хоть одну морковку, – говорю я, – у мисс Шэрон, боюсь, будут большие неприятности. И догадайся, кого она тогда попросит вычистить стойло?

– «Убрать говно», мамочка! Это так называется! – радостно кричит Соня, и, похоже, она просто в восторге от перспективы полдня убирать лошадиный навоз. «Ну и прекрасно», – думаю я.

– А я смогу стать ветеринаром, когда вырасту? – спрашивает она.

– Может быть. Но для этого нужно много учиться. Готова ли ты к

таким подвигам?

– Ну, мам, ты же как-то этот «подвиг» совершила, – с упреком говорит Стивен.

У меня такое ощущение, словно сердце мое вот-вот разорвется на части, но я понимаю: только что я приняла правильное решение.

– Ладно, я пойду в дом, а вы, если хотите, оставайтесь, – говорю я и спешу удрать от них, на ходу вытирая мокрые щеки тыльными сторонами обеих рук. Ссадину на левой щеке от слез здорово пощипывает, хотя уже не так сильно: Лин здорово над ней поработала, наложив новую повязку. Но жжет все-таки прилично.

Лоренцо сидит на заднем бампере пикапа и смотрит вдаль, на дорогу: ждет.

– Ну, что скажешь? – спрашивает он, когда я к нему присоединяюсь.

– Я не смогу поехать без детей.

– По считает, что тебе в любом случае придется это сделать. Даже если... – он умолкает, словно ему не хочется произносить имя моего мужа, – даже если у Патрика все получится. Все равно за один день никаких особых перемен не произойдет. А имена наши им известны. И у них есть наши фотографии. Так что нам нужно поскорее из этой страны убираться.

– А где, между прочим, сам По? – спрашиваю я, меняя тему. Про себя я уже все решила – мне нужны шесть паспортов, а не один.

– Он уехал вместе с твоим мужем, – говорит Лоренцо. И вдруг резко вскидывает голову и вскакивает. – Помяни дьявола...

Прямо на нас мчится машина Патрика, похожая на сбжавшую электричку. Резко затормозив и подняв целую тучу пыли, она останавливается рядом с пикапом. Водительская дверца распаивается, и оттуда выскакивает По.

А вот пассажирская дверца почему-то остается закрытой.

– Где Патрик? – спрашиваю я. – Где он, черт побери?

В ответ По начинает орать на Лоренцо. Но я, как ни странно, понимаю лишь каждое второе слово: Поезжай. Лин. Прекрати. Кровотечение. Пытался. Помочь. Нет. Времени.

Мой мозг сам заполняет пробелы в этом странном тексте, и я рывком открываю заднюю дверцу, с силой стукнув ею по боковине пикапа. Но и этот удар я слышу как-то неясно, потому что внутри меня – один сплошной вопль, долгий прощальный вопль, который все-таки вырывается наружу и тут же резко смолкает, превращается в ничто.

– Что с ним случилось? – спрашиваю я, хотя спрашивать уже совсем

необязательно.

Глава семьдесят девятая

Я планировала похоронить Патрика тихо и незаметно, но сейчас, оглядывая толпу женщин и мужчин, собравшихся на маленькой ферме Дэла, я понимаю, что это была тщетная затея. Пришли даже те, о ком я думала, что им все равно, в том числе Оливия и Эван Кинг. И Джулия, конечно, тоже пришла. Когда они со Стивеном осторожно разговаривают друг с другом, то вид у них, как у перепуганных насмерть детей, и мне кажется, что именно такими они сейчас себя и чувствуют. С Западного побережья приехали несколько наших старых друзей – ехать пришлось на машинах, поскольку воздушное сообщение временно прекращено.

Страна пребывает в состоянии хаотичного перехода в некое иное состояние. И все это благодаря Патрику.

Во многих отношениях моя любовь к нему по-прежнему жива. Во многих отношениях мне очень жаль, что его больше нет.

Радиостанции и телевидение в первые дни помалкивали, а газеты публиковали только то, что и так уже было всем известно. Вашингтон, округ Колумбия, заперт наглухо, крепче банковского хранилища. Ураган всеобщего ужаса, может, уже и пролетел, но всем ясно, что буря еще до конца не утихла. И все понимают, что до спокойной безопасной жизни пока далеко.

Дэл и Шэрон, впрочем, уже решили остаться; Джеки тоже остается с ними на ферме и намерена помогать силам сопротивления очищать страну от всякого мусора и заниматься ее восстановлением.

– Я тоже останусь, – говорю я ей после похорон Патрика. – Я хочу здесь остаться.

Она обращается со мной все так же сурово и неласково, как и в те времена, когда мы обе были молодыми и глупыми. Или, точнее, когда я была глупой. Теперь я уверена, что Джеки вряд ли когда-либо была такой же глупой, как я.

– Нет, тебе нужно уехать, – возражает Джеки. – И немедленно, черт побери! – А когда я пытаюсь протестовать, она кладет руку на мой живот и мягко, но решительно говорит: – Ты же сама понимаешь, что это необходимо, Джини.

Джеки, разумеется, права. Кое в чем она всегда права. Она крепко меня обнимает – господи, какими же худыми и жилистыми стали от тяжелой работы ее руки! – и в этом объятии я чувствую все сразу: благодарность,

гордость, прощение. И то, что никакого пузыря она больше вокруг меня не видит.

– Поезжай, девочка. Твой мужчина ждет, – говорит она и размыкает объятия.

Мой мужчина.

Кажется, рановато мне думать сейчас о Лоренцо как о моем мужчине, как о моем любимом мужчине. Но я чувствую его руку у себя на пояснице, когда он ведет меня к фермерскому дому. Это такой простой и естественный жест, но в нем столько всего! И душа моя разрывается – одна ее часть стремится назад, к тому холмику свежей земли, под которым покоится Патрик. Но я не бегу назад. Я остаюсь с Лоренцо. А затем собираю детей и говорю им, чтобы они начинали паковать вещи, потому что мы уезжаем.

Возможно, впрочем, что некая часть моей души так навсегда и останется здесь, на этой ферме. Чтобы Патрик без меня не скучал.

Крис По только головой покачал в ответ на мои расспросы о том, что же все-таки случилось там, в самом сердце города. Но я настаивала. Приятно все-таки снова иметь возможность на чем-то настаивать, даже если ответ, на котором я настаивала, выслушать оказалось нелегко.

Жизнь вечно подбрасывает нам всякие мелкие неожиданности. Хотя то, что Морган ЛеБрон, эта бездарь, этот жалкий мерзавец, которого я собственными руками «оприходовала» всего несколько дней назад, послужил причиной смерти Патрика, вызвало у меня куда меньшее удивление, чем могло бы.

– Меня внутри не было, – рассказывал По, внимательно изучая какой-то комок глины, прилипший к ботинку. – И мистер... и Патрик... и он выбежал из боковой двери, точно дикий вепрь, почуявший свежую кровь... – Он умолк, и я кивнула, давая ему понять, что все в порядке и надо продолжать. – Да. – По с яростью растоптал этот несчастный комок глины, так что от него осталась только горстка пыли. – Он все кричал: «Закрывать доступ в здание! Закрывать немедленно!» и еще что-то насчет записей, оставшихся у Моргана. Ну, их-то там точно не было, уж я-то знаю. – Он растоптал еще один ком глины, но уже левым ботинком. – А потом я услышал выстрелы. Вы же знаете, что на крыше Белого дома всегда торчат эти парни? Те самые, которых никто никогда не видит?

– Знаю.

– Ну вот. Думаю, это они стреляли. Не знаю, что еще вам рассказать, доктор Макклеллан...

– Джин, – сказала я и взяла его за руку. – Джин – так меня и зовите.

Он кивнул и повернулся, намереваясь уйти – понурившись, засунув сжатые кулаки в карманы, – потом оглянулся и вдруг прибавил:

– Знаете, Джин, я вам еще одну вещь скажу. Когда их пуля настигла вашего мужа и он упал, то, клянусь вам, на лице его была улыбка.

– Спасибо, – сказала я. – А больше мне ничего знать и не нужно.

Мне и теперь ничего больше знать не нужно.

Глава восьмидесятая

В Канаде было тепло и в июне, и в июле, пока мы, барахтаясь в бюрократическом болоте, ждали, когда, наконец, наша заявка на шесть паспортов проползет сквозь все офисы Монреаля. Я, пожалуй, даже хотела бы там остаться, пусть только на летние месяцы. Меня утешал покой этих озер и рек, успокаивали тихие прохладные ночи, приходившие на смену дням, насквозь пропитанным жарой. Но меня ждали на родине, да и французский язык мне никогда особенно не давался. И самое главное – мне не терпелось поскорей увидеть маму.

Южное побережье Италии – особенно по контрасту с Канадой – это все, что угодно, только не покой и прохлада. Туристы уже буквально наводнили наш сонный город, а в августе их приедет и еще больше. И все же именно здесь мне больше всего хочется жить.

Мы приехали в понедельник, и всю неделю Лоренцо день и ночь работал над нашим проектом и уверял меня, что сыворотка будет готова к выходным, благодаря тем записям, которые По сумел выкрасть из кабинета Лоренцо еще там, в Вашингтоне. А после окончания работы Лоренцо обещал взять ребят и поехать автостопом на Капри. По-моему, у них складываются отличные отношения, и даже Стивен, который поначалу смотрел на Лоренцо косо, постепенно оттаял и сейчас относится к нему как к старшему брату.

Меня это совершенно устроит.

Мы постоянно следили за новостями – и сразу, едва успев пересечь границу штата Мэн и Канады, и потом, когда перелетели через Атлантический океан и добрались до Италии.

Радиостанции и телевидение снова ожили; снова стали выходить газеты. Женщины устраивали безмолвные марши, пока их запястья и их голоса вновь не обрели свободу. Джеки, похоже, возглавляла каждое из этих выступлений. Мне она пишет и обещает в ближайшем времени, как только будет готова, навестить нас.

Думаю, в Штаты мы вряд ли вернемся, хотя сейчас, пожалуй, моя вторая родина уже почти вернулась в то состояние, в котором ей следовало бы пребывать и в минувшем году, а новый президент, приняв ключи от страны, первым делом без обиняков заявил, что никогда больше не позволит американскому обществу повторить тот кошмар, в котором оно существовало более двенадцати месяцев. Инъекция нашей сыворотки уже

была сделана первым одиннадцати пациентам в порядке очереди, и теперь, похоже, проблема избавления от афазии Вернике окончательно решена, а занимается всем этим новый министр здравоохранения. Смешно думать, но именно эту должность мог бы занять Патрик.

Джеки также вызвалась быть волонтером по координации выборной кампании. Из ее письма, полученного на прошлой неделе, я узнала все о промежуточных выборах и о том, что Конгресс вновь возвращается в нормальное состояние – а вскоре, возможно, станет и лучше прежнего, – поскольку очень многие женщины стремятся на государственную службу. «Представляешь, Джини, – писала она, – двадцать пять процентов в Сенате и в Белом доме! Двадцать пять! Тебе бы следовало вернуться и тоже принять в этом участие».

«Возможно, на будущий год», – написала я в ответ. И действительно имела это в виду.

А пока что я оказываю Джеки финансовую и моральную поддержку. Но идти в политику я совершенно не готова, пока что нет. Мальчики обожают солнце и воздух Италии, у Сони итальянский язык быстро становится столь же выразительным, что и английский, и все мы с нетерпением ждем появления на свет нового малыша.

А еще я наслаждаюсь, глядя на здешних женщин. Господи, как же свободно они разговаривают и с помощью языка, и с помощью рук, и с помощью тела, и с помощью души! А еще они любят петь.

notes

СНОСКИ

1

Роман Стивена Кинга, в русском переводе называется «Жребий» (1975). – *Здесь и далее прим. перев.*

2

На американском школьном сленге «three R's» (reading, 'riting, 'rithmetic) означают «чтение, письмо, счет», то есть основу школьных знаний.

3

Хелкайя Крук (Helkiah Crooke) (1576–1648) – придворный врач английского короля Якова I. Его наиболее известная книга «Mikrokosmographia, a Description of the Body of Man» (1605).

4

Advanced Placement – экзамен, позволяющий перейти из колледжа в вуз; программа для поступающих в вузы.

5

Тряпичная кукла, созданная американским писателем Джонни Груэллом, 1880–1938, в качестве иллюстрации для серии его книг «История тряпичной Энни».

6

Жирный вторник (*фр.*) – празднуется за день до начала Великого поста; часто отмечается карнавалом.

Афазия – расстройство речи при сохранности органов речи и слуха, обусловленное поражением коры больших полушарий головного мозга; при моторной афазии утрачивается способность говорить, но сохраняется понимание речи; при сенсорной афазии нарушается понимание речи, а способность произносить слова и фразы часто сохраняется. Далее речь будет идти именно о сенсорной афазии, афазии Вернике.

Карл Вернике, 1848–1905 – немецкий ученый-невролог; зона Вернике – зона коры головного мозга, участвующая в работе с информацией, связанной с речью; расположена в заднем отделе верхней височной извилины доминантного полушария мозга; сенсорная речевая зона.

8

Базальтовая плита с параллельным текстом 196 г. до н. э. на греческом и древнеегипетском. С расшифровки Ф. Шампольоном, 1790–1832, иероглифического текста началось изучение древнеегипетских иероглифов.

9

Квартал на северо-западе Вашингтона в полутора милях от Белого дома, славится смесью различных культур и ночной жизнью (молодежными клубами и т. п.).

10

Reserve Officers Training Corps – мужские студенческие подготовительные подразделения в некоторых колледжах и университетах, готовящие студентов к службе в ВС.

11

1-е послание к коринфянам, 11-3.

12

Ливий Тит (59 до н. э. – 17 н. э.) – римский историк, автор «Римской истории от основания города».

Джеки Кеннеди-Онассис – вдова президента Джона Кеннеди, затем ставшая супругой греческого миллионера Онассиса.

14

Тетради или блокноты с синей обложкой, используемые в США при приеме экзаменов в колледже.

15

Американская актриса (1921–1986), лауреат премии «Оскар» 1953 года.

Гора Рашмор находится в горном массиве Блэк-хиллз в Южной Дакоте. В ее граните высечен гигантский барельеф высотой 18,6 м с четырьмя президентами США: Дж. Вашингтоном, Т. Джефферсоном, Т. Рузвельтом и Авраамом Линкольном.

Sport Utility Vehicle (спортивно-утилитарный автомобиль) – специфический северо-американский тип автомобиля, официально классифицируемый как легкий грузовик, так называемый «семейный автомобиль».

Отсылка к выражению «Хьюстон, у нас проблемы». Первоисточником выражения является фраза «Хьюстон, у нас проблема» («Houston, we've had a problem») командира американского космического корабля «Аполлон-13» Джеймса Лоуэлла, произнесенная им во время экспедиции на Луну в 1970 году.

19

Бейсбольная лига, в командах которой играют дети до 12 лет.

Известные неаполитанские песни «Вернись в Сорренто» и «Неблагодарное сердце», которые исполнял Энрико Карузо (1873–1921).

Отсылка к шпионской комедии «Дети шпионов» (2001).

Medal of Honour – высшая военная награда США.

Английский учебник по анатомии человека, автор Генри Грей (Gray).
Телесериал посвящен жизни и приключениям молодого врача по фамилии Грей (Grey).

Или цитокин, медиатор воспаления и иммунитета.

P-значение – вероятность ошибки при отклонении нулевой гипотезы.

26

Маленькая смерть (*фр.*).

ТМС – аппарат и метод, позволяющий неинвазивно стимулировать кору головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов.

ТКМП – неинвазивное избирательное воздействие на головной мозг постоянным электрическим током силой от 1,5 до 2 миллиампер.

29

Все хорошо, мамочка? (*итал.*)

Эрта Китт (1927–2008) – американская певица, звезда кабаре, знаменитая своим особым стилем, прозванным «мурлыканье».

Macalella (*um.*) – название знаменитого пляжа на острове Менорка произносится также и как Макарелла.

«Rosie the Riveter» («Клепальщица Роза»), фильм Джозефа Сэнтли (1944), ставший культурной иконой Второй мировой войны и посвященный женщинам, работавшим на заводах и верфях, изготавливая снаряды и военное снаряжение.

Форма пренатального диагностирования с целью определения хромосомных или генетических нарушений в организме плода.

Наука, изучающая уродства и пороки развития у растений, животных и человека.

Печально известный медицинский эксперимент, длившийся с 1932 по 1972 год в г. Таскиджи, Алабама, после которого было подвергнуто сомнению само понятие «врачебная этика»; во время этого эксперимента большая группа афроамериканских заключенных была заражена сифилисом и другими венерическими заболеваниями, но затем заболевших людей оставили без лечения и лишь наблюдали за развитием у них этих болезней.

Эдмунд Бёрк (1729–1797) – ирландский государственный деятель, философ и писатель.

American Medical Association – Ассоциация американских медиков.

Главный герой романа Дж. Оруэлла «1984».

Диаграмма (график) Гатта – специальный вид горизонтальной гистограммы, очень распространенный в области руководства проектами; грубо говоря, это план работ по проекту и их очередности.

Имеется в виду героиня романа У.Стайрона «Софи делает выбор»(1979), который он писал 12 лет. Роман получил Национальную книжную премию, и по нему был снят фильм с тем же названием. Повествуя о трагической жизни польки Софи Завистовской в аду Освенцима, писатель ведет прямую полемику с современными националистическими доктринами.

41

Американский автогонщик, именем которого названа компьютерная игра.

«Ось и союзники» – компьютерная игра в реальном времени, посвященная событиям Второй мировой войны.

Здесь: вывод, не соответствующий посылкам; нелогичное заключение.
Букв.: «не следовать» (*лат.*).

Любовь, жизнь (*итал.*).

Стойхиометрия – расчет необходимых для той или иной реакции элементов или веществ.

46

Жесткошерстный флоридский кролик (*лат.*).

«**Little House on the Prairie**» – серия книг американской писательницы Лоры Инглз Уайлдер (1867–1957), о первопроходцах Дикого Запада; по этим книгам создан телесериал, повествующий о жизни на ферме в Миннесоте в 1870–1880 гг.

Чарла Неш – американка из Коннектикута, в 2009 году была изуродована в доме у своей подруги в результате нападения шимпанзе.

Британский антрополог; 45 лет изучала социальную жизнь и интеллект шимпанзе; основательница Международного института Джейн Гудолл.

Первые мячи для американского футбола делались в том числе и из свиного мочевого пузыря.

51

На своем месте (*лат.*).

Table of Contents

[Кристина Далчер Голос](#)

[Слова благодарности](#)

[Глава первая](#)

[Глава вторая](#)

[Глава третья](#)

[Глава четвертая](#)

[Глава пятая](#)

[Глава шестая](#)

[Глава седьмая](#)

[Глава восьмая](#)

[Глава девятая](#)

[Глава десятая](#)

[Глава одиннадцатая](#)

[Глава двенадцатая](#)

[Глава тринадцатая](#)

[Глава четырнадцатая](#)

[Глава пятнадцатая](#)

[Глава шестнадцатая](#)

[Глава семнадцатая](#)

[Глава восемнадцатая](#)

[Глава девятнадцатая](#)

[Глава двадцатая](#)

[Глава двадцать первая](#)

[Глава двадцать вторая](#)

[Глава двадцать третья](#)

[Глава двадцать четвертая](#)

[Глава двадцать пятая](#)

[Глава двадцать шестая](#)

[Глава двадцать седьмая](#)

[Глава двадцать восьмая](#)

[Глава двадцать девятая](#)

[Глава тридцатая](#)

[Глава тридцать первая](#)

[Глава тридцать вторая](#)

[Глава тридцать третья](#)

[Глава тридцать четвертая](#)

[Глава тридцать пятая](#)

[Глава тридцать шестая](#)

[Глава тридцать седьмая](#)

[Глава тридцать восьмая](#)

[Глава тридцать девятая](#)

[Глава сороковая](#)

[Глава сорок первая](#)

[Глава сорок вторая](#)

[Глава сорок третья](#)

[Глава сорок четвертая](#)

[Глава сорок пятая](#)

[Глава сорок шестая](#)

[Глава сорок седьмая](#)

[Глава сорок восьмая](#)

[Глава сорок девятая](#)

[Глава пятидесятая](#)

[Глава пятьдесят первая](#)

[Глава пятьдесят вторая](#)

[Глава пятьдесят третья](#)

[Глава пятьдесят четвертая](#)

[Глава пятьдесят пятая](#)

[Глава пятьдесят шестая](#)

[Глава пятьдесят седьмая](#)

[Глава пятьдесят восьмая](#)

[Глава пятьдесят девятая](#)

[Глава шестидесятая](#)

[Глава шестьдесят первая](#)

[Глава шестьдесят вторая](#)

[Глава шестьдесят третья](#)

[Глава шестьдесят четвертая](#)

[Глава шестьдесят пятая](#)

[Глава шестьдесят шестая](#)

[Глава шестьдесят седьмая](#)

[Глава шестьдесят восьмая](#)

[Глава шестьдесят девятая](#)

[Глава семидесятая](#)

[Глава семьдесят первая](#)

[Глава семьдесят вторая](#)

[Глава семьдесят третья](#)

[Глава семьдесят четвертая](#)

[Глава семьдесят пятая](#)

[Глава семьдесят шестая](#)

[Глава семьдесят седьмая](#)

[Глава семьдесят восьмая](#)

[Глава семьдесят девятая](#)

[Глава восьмидесятая](#)

[Сноски](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[23](#)

[24](#)

[25](#)

[26](#)

[27](#)

[28](#)

[29](#)

[30](#)

[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)